

Annotation

Творческое наследие швейцарского ученого, основателя аналитической психологии Карла Густава Юнга вызывает в нашей стране все возрастающий интерес. Данный однотомник сочинений этого автора издательство «Ренессанс» выпустило в серии «Страницы мировой философии». Эту книгу мы рассматриваем как пролог Собрания сочинений К. Г. Юнга, к работе над которым наше издательство уже приступило. Предполагается опубликовать 12 томов, куда войдут все основные произведения Юнга, его программные статьи, публицистика. Первые два тома выйдут в 1992 году.

Мы выражаем искреннюю благодарность за помощь и содействие в подготовке столь серьезного издания президенту Международной ассоциации аналитической психологии г-ну Т. Киршу, семье К. Г. Юнга, а также переводчику, тонкому знатоку творчества Юнга В. В. Зеленскому, активное участие которого сделало возможным реализацию настоящего проекта.

В. Савенков, директор издательства «Ренессанс»

- [Карл Густав Юнг](#)
 - [Жизнь и воззрения К. Г. Юнга](#)
 - [Подход к бессознательному](#)
 - [Значение снов](#)
 - [Прошлое и будущее в бессознательном](#)
 - [Функция снов](#)
 - [Анализ снов](#)
 - [Проблема типов](#)
 - [Архетип в символизме сна](#)
 - [Душа человека](#)
 - [Роль символов](#)
 - [Лечение расщепления](#)
 - [Об архетипах коллективного бессознательного](#)
 - [Психология и религия](#)
 - [I. Автономность бессознательного](#)
 - [II. Догматы и естественные символы](#)
 - [III. История и психология естественного символа](#)

- [Проблема души современного человека](#)
- [Йога и Запад](#)
- [Введение в религиозно—психологическую проблематику алхимии](#)
- [Об отношении аналитической психологии к поэтико—художественному творчеству](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)

- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [15](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)

- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)

- [111](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
 - [118](#)
 - [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
-

Карл Густав Юнг
Архетип и символ

Жизнь и воззрения К. Г. Юнга

Карл Густав Юнг родился 26 июля 1875 г. в швейцарском местечке Кесвиль в семье священника евангелически—реформатской церкви. Семья Юнгов происходила из Германии: прадед К. Юнга руководил военным госпиталем во времена наполеоновских войн, брат прадеда некоторое время занимал пост канцлера Баварии (был женат на сестре Ф. Шлейермахера). Дед — профессор медицины — переехал в Швейцарию с рекомендацией А. фон Гумбольдта и слухами, будто он внебрачный сын Гёте. Отец К.Юнга помимо теологического образования получил степень доктора филологии, но, разуверившись в силах человеческого разума, оставил занятия восточными языками и какими бы то ни было науками вообще, полностью отдавшись вере. Мать Карла Густава происходила из семьи местных бюргеров, которые на протяжении многих поколений становились протестантскими пасторами. Религия и медицина, таким образом, соединились в этой семье задолго до рождения Карла Густава.

Семья принадлежала к «хорошему» обществу, но едва сводила концы с концами. Детство и особенно юность Юнга прошли в бедности. Он получит возможность учиться в лучшей гимназии Базеля, куда переехала семья, только благодаря помощи родственников и сохранившимся связям отца. Необщительный, замкнутый подросток, он так и не приобрел себе друзей (от вытекающих отсюда неприятных последствий его избавляли высокий рост и изрядная физическая сила). К внешней среде приспособлялся с трудом, нередко сталкивался с непониманием окружающих, предпочитая общению погружение в мир собственных мыслей. Словом, представлял классический случай того, что сам он назвал впоследствии «интроверсией». Если у экстраверта психическая энергия направлена преимущественно на внешний мир, то у интроверта она перемещается к субъективному полюсу, к образам собственного сознания. Свои мемуары Юнг не зря назвал «Воспоминания, сновидения, размышления» — сновидения играли огромную роль в духовной жизни Юнга с раннего детства, и на анализе сновидений позже строилась вся его психотерапевтическая практика.

Еще в отрочестве Карл Густав пришел к отрицанию религиозных представлений своего окружения. Догматизм, ханжеское морализаторство, превращение Иисуса Христа в проповедника викторианской морали вызывали у него искреннее возмущение: в церкви «бесстыдно толковали о

Боге, его стремлениях и действиях», профанируя все священное «избитыми сентиментальностями». В протестантских религиозных церемониях он не видел и следа божественного присутствия; по его мнению, если Бог некогда и жил в протестантизме, то давно покинул эти храмы. Знакомство с догматическими трудами привело к мысли, что они являются «образцом редкостной глупости, единственная цель которых — сокрытие истины»; католическая схоластика оставляла впечатление «безжизненной пустыни» [1]. Живой религиозный опыт стоит выше всех догматов, считал молодой Юнг, а потому «Фауст» Гёте и «Так говорил Заратустра» Ницше оказались для него ближе к истинной религии, чем весь либеральный протестантизм. «Мне вспоминается подготовка к конфирмации, которую проводил мой собственный отец, — писал Юнг спустя несколько десятилетий. — Катехизис был невыразимо скучен. Я перелистал как-то эту книжечку, чтобы найти хоть что-то интересное, и мой взгляд упал на параграфы о троичности. Это заинтересовало меня, и я с нетерпением стал дожидаться, когда мы дойдем на уроках до этого раздела. Когда же пришел этот долгожданный час, мой отец сказал: «Данный раздел мы пропустим, я тут сам ничего не понимаю». Так была похоронена моя последняя надежда. Хотя я удивился честности моего отца, это не помешало мне с той поры смертельно скучать, слушая все толки о религии» [2].

Живой опыт божественного был явлен многочисленными сновидениями: во сне являлись чудовищные, страшные, но величественные образы. Под влиянием нескольких постоянно повторявшихся сновидений сомнения в догматах христианства усилились. Среди прочих рассуждений Юнга—гимназиста о Боге (а им он методично предавался по два часа в день по дороге в гимназию и обратно) главное место теперь занимает очевидная «ересь»: Бог не всеблаг, у него имеется темная, страшная ипостась.

В сновидениях Юнга той поры важен еще один мотив: он наблюдал образ наделенного магической силой старца, который был как бы его alter ego. В повседневных заботах жил замкнутый, робкий юноша — личность номер один, а в снах являлась другая ипостась его «Я» — личность номер два, обладающая даже собственным именем (Филемон). Уже завершая свое обучение в гимназии, Юнг прочитал «Так говорил Заратустра» и даже испугался: у Ницше тоже была «личность №2» по имени Заратустра; она вытеснила личность философа (отсюда безумие Ницше — так Юнг считал и в дальнейшем, вопреки более достоверному медицинскому диагнозу). Страх перед подобными последствиями «сновидчества» способствовал

решительному повороту к реальности. Да и необходимость одновременно учиться в университете, работать, зная, что рассчитывать придется лишь на свои силы, уводила от волшебного мира сновидений. Но позже, в учении о двух типах мышления найдет отражение и личный сновидческий опыт Юнга. Главной целью юнговской психотерапии станет единение «внешнего» и «внутреннего» человека у пациентов, а размышления зрелого Юнга на темы религии в какой-то степени будут лишь развитием того, что было испытано им в детстве.

При выяснении источников того или иного учения нередко злоупотребляют словом «влияние». Очевидно, что влияние не есть однозначная детерминация: «повлиять» в истинном смысле слова, когда речь идет о великих философских или богословских учениях, можно только на того, кто сам собою что-то представляет. Юнг в своем развитии отталкивался от протестантской теологии, усваивая одновременно духовную атмосферу своего времени. Он принадлежал к немецкой культуре, которой издавна был свойственен интерес к «ночной стороне» существования. В начале прошлого века романтики обратились к народным сказаниям, мифологии, «рейнской мистике» Экхарта и Таулера, к алхимической теологии Бёме. Врачи—шеллингианцы (Карус) уже пытались применять учение о бессознательном психическом в лечении больных. Пантеизм Гете сочетался у Юнга с «мировой волей» Шопенгауэра, с модной «философией жизни», с трудами биологов—виталистов. На глазах Юнга происходила ломка патриархального уклада жизни в Швейцарии и Германии: уходил мир деревень, замков, небольших городков, в самой атмосфере которых оставалось, как писал Т. Манн, «нечто от духовного склада людей, живших, скажем, в последние десятилетия пятнадцатого века, — истеричность уходящего средневековья, нечто вроде скрытой душевной эпидемии», с подспудной душевной предрасположенностью к фанатизму и безумию [3].

В учении Юнга сталкиваются духовная традиция прошлого и современность, алхимия XV-XVI вв. и естествознание, гностицизм и научный скепсис. Интерес к далекому прошлому как к чему-то постоянно сопровождающему нас сегодня, сохранившемуся и действующему на нас из глубин, был характерен для Юнга еще в юности. Любопытно, что в университете ему более всего хотелось учиться на археолога. «Глубинная психология» своим методом чем-то напоминает археологию. Известно, что Фрейд неоднократно сравнивал психоанализ с этой наукой и сожалел, что название «археология» закрепилось за поисками памятников культуры, а не за «раскопками души». «Архее» — первоначало, и «глубинная

психология», снимая слой за слоем, движется к самым основаниям сознания.

Однако в Базеле археология не преподавалась, а в другом университете Юнг учиться не мог — скромную стипендию ему могли выплачивать лишь в родном городе. Сегодня спрос на выпускников естественнонаучных и гуманитарных факультетов университета велик, но в конце прошлого века ситуация была иной. Профессионально заниматься наукой могли лишь материально обеспеченные люди, кусок хлеба гарантировали теологический, юридический и медицинский факультеты. Юриспруденция была Юнгу совершенно чужда, протестантская теология вызывала отвращение, тогда как медицинский факультет наряду с профессией, позволявшей выбраться из нищеты, давал и сносное естественнонаучное образование.

Как и в гимназии, Юнг отлично учился в университете, вызывая удивление своих сокурсников тем, что помимо учебных дисциплин он отдавал много времени изучению философии. До последнего года обучения он специализировался по внутренним болезням, ему уже было обеспечено место в престижной мюнхенской клинике. В последнем семестре нужно было сдавать психиатрию, он открыл учебник и прочитал на первой странице, что психиатрия есть «наука о личности». «Мое сердце неожиданно резко забилося, — вспоминал Юнг в старости. — Возбуждение было необычайным, потому что мне стало ясно, как при вспышке просветления, что единственно возможной целью для меня может быть психиатрия. Только в ней сливались воедино два потока моих интересов. Здесь было эмпирическое поле, общее для биологических и духовных фактов, которое я искал повсюду и нигде не находил. Здесь же коллизия природы и духа стала реальностью» ^[4]. Человеческая психика является местом встречи науки и религии, конфликт между ними преодолим на пути подлинного самопознания. Тут же было принято решение, которое удивило всех — психиатрия считалась самым непрестижным для медика занятием, хотя бы потому, что все успехи медицины в XIX в. не привели к заметным результатам в лечении психических заболеваний.

После окончания университета Юнг переезжает в Цюрих, начинает работать в клинике Бургхёльци, руководимой видным психиатром Э.Блейлером. Базель и Цюрих имели для Юнга символическое значение как два полюса европейской духовной жизни. Базель — живая память европейской культуры. В университете не забывали о преподававшем в нем Эразме и учившемся Гольбейне, на филологическом факультете

преподавали профессора, лично знавшие Ницше. Интерес Юнга к философии мог вызвать недоумение у медиков, но философия считалась в Базеле необходимой стороной культуры. В Цюрихе же она, наоборот, считалась непрактичным «излишеством». Кому нужны все эти ветхие книжные знания? Наука тут рассматривалась как полезное орудие, ценилась по своим приложениям, эффективному применению в индустрии, строительстве, торговле, медицине. Базель уходил корнями в далекое прошлое, в то время как Цюрих устремлялся в столь же далекое будущее. Юнг видел в этом «раскол» европейской души: рассудочная индустриально — техническая цивилизация предаёт забвению свои корни. И это закономерно, ибо душа окостенела в догматическом богословии. Наука и религия вступили в противоречие именно потому, полагал Юнг, что религия оторвалась от жизненного опыта, тогда как наука уходит от важнейших проблем, она держится плотского эмпиризма и прагматизма. «Мы стали богатыми в познаниях, но бедными в мудрости», — напишет он вскоре. В созданной наукой картине мира человек есть лишь механизм среди других механизмов, его жизнь утрачивает всякий смысл. Необходимо найти ту область, где религия и наука не опровергают друг друга, а наоборот, сливаются в поисках первоисточка всех смыслов. Психология сделалась для Юнга наукой наук — именно она, с его точки зрения, должна дать современному человеку целостное мировоззрение.

В своих поисках «внутреннего человека» Юнг не был одинок. У многих мыслителей конца XIX — начала XX вв. мы обнаруживаем то же негативное отношение и к мертвому космосу естествознания, и к церкви, и к религии. Одни из них, например Толстой, Унамуно, Бердяев, обращаются к христианству и дают ему самое неортодоксальное толкование. Другие, испытав душевный кризис, создают философские учения, которые иногда не без основания называют «иррационалистическими», — так появляются прагматизм Джеймса или интуитивизм Бергсона. Ни эволюцию живой природы, ни поведение самого примитивного организма, ни тем более мир человеческих переживаний не объяснить законами механики и физиологии. Жизнь есть вечное становление, гераклитовский поток, «порыв», не признающий закона тождества. И вечный сон материи, круговорот веществ в природе, и вершины духовной жизни суть лишь два полюса этого неудержимого потока.

Кроме «философии жизни» Юнга задела и мода на оккультизм. На протяжении двух лет он принимал участие в спиритических сеансах, познакомился с обширной литературой по астрологии, нумерологии и другим «тайным» наукам. Эти увлечения студенческих лет во многом

определили характер позднейших исследований Юнга. От наивной веры в то, что медиумы общаются с духами умерших, он скоро отошел. Сам факт общения с духами, кстати сказать, отрицают и серьезные оккультисты. Астральные тела не принимают участия в земной жизни, медиумы вступают в контакт лишь со своеобразными «раковинами», «психическими оболочками», сохраняющими отдельные черты населявшей их личности, которая к этому времени уже покинула астральный мир и перешла в более высокое измерение. Эти оболочки обладают лишь видимостью жизни, они оживляются психической энергией впавшего в транс медиума (или, во время столоверчения, энергией его участников). Поэтому в произвольном письме, в речах медиума могут проявиться какие-то реплики умерших, но о подлинном общении с духами не может быть и речи, поскольку материализуются лишь какие-то осколки этой «раковины», соединившиеся к тому же с идеями и впечатлениями медиума.

Медиумом была дальняя родственница Юнга, полуграмотная девушка, не склонная к актерству и надувательству. Состояния транса были неподдельными; об этом свидетельствовало хотя бы то, что не окончившая гимназии девушка, будучи в трансе, переходила на литературный немецкий язык, которым в обычном состоянии не владела (швейцарский диалект сильно отличается от литературного верхненемецкого). Как и большая часть сообщений «духов», это не выходило за пределы того, что было доступно сознанию медиума: на бессознательном уровне она могла владеть литературным немецким. «Духами» оказывались как бы «отколовшиеся» части ее личности, лежавшие за пределами сознания. Однако имелось одно важное исключение. Малограмотная девушка явно ничего не знала о космологии гностиков—валентиниан II в. н.э., не могла она придумать столь сложную систему, но в сообщении одного из «духов» эта система была изложена детальным образом.

Эти наблюдения легли в основу докторской диссертации К.Г. Юнга «О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов» (1902). Данная работа до сих пор сохранила определенное научное значение — Юнг дает в ней психологический и психиатрический анализ медиумического транса, сопоставляет его с галлюцинациями, помраченными состояниями ума. Он отмечает, что у пророков, поэтов, мистиков, основателей сект и религиозных движений наблюдаются те же состояния, которые психиатр встречает у больных, слишком близко подошедших к священному «огню» — так, что психика не выдержала, произошел раскол личности. У пророков и поэтов к их собственному голосу часто примешивается идущий из глубин голос как бы другой

личности, но их сознанию удастся овладеть этим содержанием и придать ему художественную или религиозную форму. Всякого рода отклонения встречаются и у них, но зато имеется интуиция, «далеко превосходящая сознательный ум»; они улавливают некие «праформы». Впоследствии Юнг назвал эти праформы архетипами коллективного бессознательного. Они в разное время появляются в сознании людей, как бы всплывают независимо от воли человека; праформы автономны, они не определяются сознанием, но способны воздействовать на него. Единство рационального и иррационального, снятие субъект–объектного отношения в интуитивном прозрении отличают транс от нормального сознания и сближают его с мифологическим мышлением. Каждому человеку мир праформ открывается в сновидениях, которые оказываются основным источником информации о психическом бессознательном.

Таким образом, к главным положениям собственного учения о коллективном бессознательном Юнг пришел еще до встречи с Фрейдом, произошедшей в 1907 г. К тому времени у Юнга уже было имя — известность ему принес прежде всего словесно—ассоциативный тест, позволивший экспериментально выявлять структуру бессознательного. В лаборатории экспериментальной психопатологии, созданной Юнгом в Бургхёльци, испытуемому предлагался список слов, на которые тот должен был тут же реагировать первым пришедшим на ум словом. Время реакции фиксировалось с помощью секундомера. Затем тест был усложнен — с помощью различных приборов замечались физиологические реакции испытуемого на различные слова—стимулы. Главное, что удалось обнаружить, — это наличие слов, на которые испытуемые не могли быстро найти отклик, либо удлинялось время подбора слова—реакции; иногда они надолго замолкали, «отключались», заикались, отвечали не одним словом, а целой речью и т.д. При этом они не осознавали, что ответ на одно слово—стимул, например, занимал у них в несколько раз больше времени, чем на другое. Из этого Юнг сделал вывод о том, что такие нарушения в реагировании связаны с наличием заряженных психической энергией «комплексов» — стоило слову—стимулу «дотронуться» до такого комплекса, как у испытуемого появлялись следы легкого эмоционального расстройства. В дальнейшем этот тест способствовал появлению многочисленных «проективных тестов», широко используемых и в медицине, и при подборе кадров, а также появлению столь далекого от чистой науки прибора, как «детектор лжи». Юнг считал, что этот тест выявляет в психике испытуемого некие фрагментарные личности, расположенные за пределами сознания. У шизофреников диссоциация

личности значительно более выражена, чем у нормальных людей, что в конечном счете ведет к разрушению сознания, распаду личности, на месте которой остается ряд «комплексов». Впоследствии Юнг разграничивал комплексы личного бессознательного и архетипы коллективного бессознательного. Именно последние напоминают отдельные личности. Если раньше безумие объяснялось «одержимостью бесами», которые приходили в душу извне, то у Юнга оказывалось, что весь их легион уже содержится в душе, и при определенных обстоятельствах они могут одержать верх над «Я» — одним из элементов психики. Душа всякого человека содержит в себе множество личностей, и у каждой из них имеется свое «Я»; время от времени они заявляют о себе, выходят на поверхность сознания. Древнее речение: «У нежити своего облика нет, она ходит в личинах» можно было бы применить к юнговскому пониманию психики — с той оговоркой, что сама психическая жизнь, а не «нежить», обретает разного рода маски.

Конечно, эти идеи Юнга были связаны не только с психиатрией и психологическими экспериментами. Они «носились в воздухе». К. Ясперс с тревогой писал об эстетизации разного рода психических отклонений — так выражал себя «дух времени». В творчестве многих писателей нарастал интерес к «легионам бесов», населяющим темные глубины души, к двойникам, к «внутреннему человеку», радикально отличному от внешней оболочки. Часто этот интерес, как и у Юнга, сливался с религиозными учениями. Достаточно упомянуть австрийского писателя Г. Майринка, на романы которого иногда ссылался Юнг («Голем», «Ангел в западном окне», «Белый доминиканец» и др.). В книгах Майринка оккультизм, теософия, восточные учения служили как бы системой отсчета для противопоставления метафизически—чудесной реальности миру обыденного здравого смысла, для которого эта реальность «безумна». Конечно, такое противопоставление было известно и Платону, и апостолу Павлу («Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?»); оно присутствовало и в европейской литературе во времена Шекспира, Сервантеса, Кальдерона, было характерным для всего немецкого романтизма, произведений Гоголя и Достоевского, многих писателей нашего века. Однако здесь изменилась перспектива видения, была перевернута система координат: божественное, священное стали искать в бездне бессознательного, во тьме. Юнг писал в своих воспоминаниях, что в «Фаусте» его привлекал не образ главного героя, но, во-первых, знаменитые «Матери» из второй части, а во-вторых, Мефистофель, заявлявший, что он часть той силы, которая всегда «творит добро, всему

желая зла». Отличие Юнга от всякого рода декадентства, воспевающего зло, не вызывает сомнений: синтез витализма и спиритуализма, Шопенгауэра и алхимии, научной психологии и «тайных» наук не мог быть устойчивым.

Встречу с психоанализом нельзя назвать случайной, как и позднейший разрыв с Фрейдом. Хотя Юнг был очень многим обязан именно Фрейду, его трактовка бессознательного с самого начала отличалась от фрейдовской. Своими учителями он считал Э. Блэйлсра и П. Жане. Блейлер писал о случаях раздвоения личности, об «аутическом мышлении», которому противопоставлялось «реалистическое», ввел в психиатрию термин «шизофрения» (т.е. расщепление, раскол личности). От Жане он унаследовал энергетическую концепцию психики: реальность окружающего мира требует определенного количества психической энергии и вместе с ослаблением ее притока происходит «понижение уровня сознания» (*abaissements du niveau mental*). В сновидениях, галлюцинациях, видениях присутствует тот же материал, который наполняет и бред психотика. Жане писал также о диссоциации личности (на две и более), причем лишь одна из них является носителем сознания («Я»), другие считались выражением бессознательных сил. Однако, пока речь шла о методах психотерапевтического лечения, воздействие Фрейда было определяющим: хотя Юнг был и остается первым «еретиком» с точки зрения ортодоксального психоанализа, его техника лечения пациентов отличалась от фрейдовской незначительно. А имевшиеся все же отличия в психотерапии являлись следствием значительных расхождений взглядов как в области психологии, так и в философском видении человека. У создателя психоанализа на первом месте стоял конфликт сознания с вытесненными в бессознательное влечениями, имевшими преимущественно сексуальный характер. Отход Юнга от «пансексуализма» («десексуализация либидо») был связан не с пуританским ханжеством, как это представляли фрейдисты, а с отказом от натурализма и детерминизма XIX в. Позитивизм и физиологический материализм оказались непригодными в качестве фундамента психотерапии.

>Обращение Юнга к мифологии, религии, искусству не было прихотью. Одним из первых Юнг приходит к мысли о том, что для понимания человеческой личности — здоровой или больной — необходимо выйти за пределы формул естествознания. Не только медицинские учебники, но и вся история человеческой культуры должна стать открытой книгой для психиатра. К биохимическим и физиологическим нарушениям можно отнести лишь незначительную часть психических заболеваний.

Болеет личность, которую, в отличие от организма, можно понять лишь через рассмотрение ее социально—культурного окружения, сформировавшего ценности, вкусы, идеалы, установки. Индивидуальная история вливается в жизнь того или иного сообщества, а затем и всего человечества. Понимая это, Юнг был против сведения всех затруднений взрослого человека к его ранней предыстории, детству. Семья является первой инстанцией приобщения ребенка к человеческому миру, и от нее зависит многое, в том числе и психическое здоровье. Но для понимания нормы и патологии необходимо выйти на макропроцессы культуры, духовной истории человечества, в которую включается и которую интериоризует индивид. К сожалению, эту историю Юнг понимал в духе витализма; культурные по своей сути черты оказались биологически наследуемыми. К тому же из всего социального мира Юнг избрал область религиозно—мифологических представлений, обособив их от других сторон человеческой истории.

Отличие от Фрейда заключалось и в общефилософском понимании «жизни». Если у Фрейда психика и жизнь в целом представляют собой поле борьбы непримиримых противоположностей, то у Юнга речь идет скорее об утраченном первоначальном единстве. Сознание и бессознательное взаимно дополняют друг друга — китайские символы Инь и Ян, Андрогин алхимиков постоянно выступают как иллюстрации к психологическим работам Юнга.

Центральное понятие Юнга — это «коллективное бессознательное». Он отличает его от «личностного бессознательного», куда входят прежде всего вытесненные из сознания представления; там скапливается все то, что было подавлено или позабыто. Этот темный двойник нашего «Я» (его Тень) был принят Фрейдом за бессознательное как таковое. Поэтому Фрейд и обращал все внимание на раннее детство индивида, в то время как Юнг считал, что «глубинная психология» должна обратиться к гораздо более отдаленным временам. «Коллективное бессознательное» является итогом жизни рода, оно присуще всем людям, передается по наследству и является тем основанием, на котором вырастает индивидуальная психика. Подобно тому, как наше тело есть итог всей эволюции человека, его психика содержит в себе и общие всему живому инстинкты, и специфически человеческие бессознательные реакции на постоянно возобновляющиеся на протяжении жизни рода феномены внешнего и внутреннего миров.

Психология, как и любая другая наука, изучает универсальное в индивидуальном, т.е. общие закономерности. Это общее не лежит на поверхности, его следует искать в глубинах. Так мы обнаруживаем систему

установок и типичных реакций, которые незаметно определяют жизнь индивида («тем более эффективно, что незаметно»). Под влиянием врожденных программ, универсальных образцов находятся не только элементарные поведенческие реакции вроде безусловных рефлексов, но также наше восприятие, мышление, воображение. Архетипы «коллективного бессознательного» являются своеобразными когнитивными образцами, тогда как инстинкты — это их корреляты; интуитивное схватывание архетипа предшествует действию, «спускает курок» инстинктивного поведения.

Юнг сравнивал архетипы с системой осей кристалла, которая преформирует кристалл в растворе, будучи неким невещественным полем, распределяющим частицы вещества. В психике таким «веществом» является внешний и внутренний опыт, организуемый согласно врожденным образцам. В чистом виде архетип поэтому не входит в сознание, он всегда соединяется с какими-то представлениями опыта и подвергается сознательной обработке. Ближе всего к самому архетипу эти образы сознания («архетипические образы») стоят в опыте сновидений, галлюцинаций, мистических видений, когда сознательная обработка минимальна. Это спутанные, темные образы, воспринимаемые как что-то жуткое, чуждое, но в то же время переживаемые как нечто бесконечно превосходящее человека, божественное.

В работах по психологии религии для характеристики архетипических образов Юнг использует термин «нуминозное» (от латин. «божество»), введенный немецким теологом Р. Отто в книге «Священное» (1917). Отто называл нуминозным опыт чего-то переполняющего страхом и трепетом, всемогущественного, подавляющего своей властью, перед которым человек лишь «персть смертная»; но в то же самое время это опыт величественного, дающего полноту бытия. Иначе говоря, у Отто речь идет о восприятии сверхъестественного в различных религиях, прежде всего в иудео—христианской традиции, причем в специфически лютеровском понимании «страха господня». Отто специально подчеркивал, что нуминозный опыт есть опыт «совсем иного», трансцендентного. Юнг придерживается скептицизма, о трансцендентном Боге мы ничего не знаем и знать не можем. «В конечном счете понятие Бога есть необходимая психологическая функция, иррациональная по своей природе: с вопросом о существовании Бога она вообще не имеет ничего общего. Ибо на этот последний вопрос человеческий интеллект никогда не будет в состоянии дать ответ; в еще меньшей мере эта функция может служить каким бы то ни было доказательством бытия Бога» ^[5]. Идея Бога является архетипической, она

неизбежно присутствует в психике каждого человека, но отсюда невозможен вывод о существовании божества за пределами нашей души. Поэтому трактовка нуминозного у Юнга куда больше напоминает страницы Ницше, когда тот пишет о дионисийском начале, или Шпенглера, когда тот говорит о судьбе, но с одним существенным отличием — психологически идея Бога абсолютно достоверна и универсальна, и в этом психологическая правда всех религий.

Архетипические образы всегда сопровождали человека, они являются источником мифологии, религии, искусства. В этих культурных образованиях происходит постепенная шлифовка спутанных и жутких образов, они превращаются в символы, все более прекрасные по форме и всеобщие по содержанию. Мифология была изначальным способом обработки архетипических образов. Человек первобытного общества лишь в незначительной мере отделяет себя от «матери—природы», от жизни племени. Он уже переживает последствия отрыва сознания от животной бессознательности, возникновения субъект—объектного отношения — этот разрыв на языке религии осмысляется как «грехопадение» («станете как боги», «знание добра и зла»). Гармония восстанавливается с помощью магии, ритуалов, мифов. С развитием сознания пропасть между ним и бессознательным углубляется, растет напряжение. Перед человеком возникает проблема приспособления к собственному внутреннему миру. Если мифология едва различает внешнее и внутреннее, то с появлением науки такое разделение становится свершившимся фактом. Адаптацию к образам бессознательного берут на себя все более сложные религиозные учения, по-прежнему покоящиеся на интуитивном опыте нуминозного, но вводящие абстрактные догматы.

По Юнгу, есть два типа мышления — логическое и интуитивное. Для логического мышления характерна направленность на внешний мир, это обеспечивает приспособление к реальности. Такое мышление протекает в суждениях и умозаключениях, оно всегда словесно, требует усилий воли и утомляет. Эта направленность на внешний мир требует образования, воспитания — логическое мышление есть порождение и инструмент культуры. С ним прежде всего связаны наука, техника, индустрия, являющиеся орудиями контроля над реальностью. Логическое мышление также связано с опытом архетипов, но это связь опосредованная. Религиозные символы сначала становятся пластичными философскими понятиями древних греков, затем платоновские «эйдосы» делаются схоластическими понятиями, картезианскими «врожденными идеями», кантовскими априорными категориями, пока, наконец, не превращаются в

инструментальные термины современного естествознания. Юнг высказывает гипотезу, согласно которой средневековая схоластика была своего рода «тренингом» для европейского ума — игра абстрактными сущностями готовила категориальный аппарат науки.

В традиционных обществах логическое мышление развито значительно слабее. Даже в Индии, стране с долгой традицией философского мышления, оно не является, по мнению Юнга, вполне логическим. Индийский мыслитель «скорее воспринимает мысль, в этом отношении он похож на дикаря. Я не говорю, что он — дикарь, но что процесс его мышления напоминает способ мыслепорождения, присущий дикарю. Рассуждение дикаря представляет собой в основном бессознательную функцию, он лишь воспринимает результат ее работы. Следует ожидать того же от любой цивилизации, которая имела традицию, почти не прерывавшуюся с первобытных времен» [6]. Европа шла по пути развития экстравертивного логического мышления, все силы были обращены на покорение внешнего мира; Индия является классической цивилизацией интровертивного мышления, обращенного внутрь, ориентированного на приспособление к коллективному бессознательному.

Такое мышление протекает не в суждениях, оно предстает как поток образов и не утомляет. Стоит нам расслабиться, и мы теряем нить рассуждения, переходя к естественной для человека игре воображения. Подобное мышление непродуктивно для приспособления к внешнему миру, поскольку оно уходит от реальности в царство фантазии, мечты, сновидчества. Зато оно необходимо для художественного творчества, мифологии и религии. «Все те творческие силы, которые современный человек вкладывает в науку и технику, человек древности посвящал своим мифам» [7]. Интровертивное мышление устанавливает равновесие с силами бессознательного.

Человеческая психика представляет собой целостность бессознательных и сознательных процессов, это саморегулирующаяся система, в которой происходит постоянный обмен энергией между элементами. Обособление сознания ведет к утрате равновесия, и бессознательное стремится «компенсировать» односторонность сознания. Люди древних цивилизаций ценили опыт сновидений, галлюцинаций как милость божию, поскольку именно в них мы вступаем в прямой контакт с коллективным бессознательным. Если сознание уже не принимает во внимание опыт архетипов, если символическая передача невозможна, то архетипические образы могут вторгнуться в сознание в самых

примитивных формах.

«Вторжения» коллективного бессознательного ведут не только к индивидуальным, но и к коллективным психозам, всевозможным лжепророчествам, массовым движениям, войнам. Сам Юнг пережил подобные состояния, которые он интерпретировал как такое «вторжение». В 1912 г., после выхода книги «Метаморфозы и символы либидо» и разрыва с Фрейдом, начинается длительный психический кризис. По признанию самого Юнга, он был близок к безумию, его сознание буквально захлестывали кошмарные образы. Вот один из них: вся Европа залита кровью, потоки которой подступают к Альпам, поднимаются по склонам гор, в крови плавают обрубки человеческих тел, весь мир залит кровью. Кошмарные видения прекратились в августе 1914 г., когда кровавый бред стал явью. Юнг увидел в этом подтверждение теории коллективного бессознательного: его сознание было лишь медиумом глубинных сил, таившихся в психике всех европейцев. Демоны вышли на поверхность, материализовались, и вместе с началом всемирной пляски смерти кончился его психический кризис.

Основные психологические труды Юнга были написаны между двумя мировыми войнами. Классификация психологических типов и функций, разработка теории коллективного бессознательного, проблемы психотерапии и возрастной психологии, однако, составляют лишь незначительную часть корпуса сочинений Юнга. Теория коллективного бессознательного распространяется на все более широкий круг явлений, учение Юнга все в большей мере приобретает черты философской доктрины. Он ищет подтверждения своих гипотез уже не только в опыте психотерапевтической практики, вся культура становится предметом аналитической психологии. С точки зрения Юнга, все в человеческом мире подвластно законам психологии, «душа народа есть лишь несколько более сложная структура, нежели душа индивида». Социально—политический кризис 20-30-х гг. объясняется вторжением архетипов. Расовая мифология нацистов, коммунистический миф о реализации «золотого века» — все это детски наивно с точки зрения разума, однако эти идеи захватывают миллионы людей. Факельные шествия, массовый экстаз и горячечные речи всякого рода «вождей», использование архаичней символики (та же свастика) свидетельствуют о вторжении сил, которые намного превосходят человеческий разум.

И все это коллективное безумие является закономерным следствием европейской истории, ее несравненного прогресса в овладении миром с помощью науки и техники. История Европы — это история упадка

символического знания. Техническая цивилизация представляет собой итог не последних десятилетий, а многих столетий «расколдования» мира. Чем прекраснее, грандиознее передаваемый традицией образ, тем дальше он от индивидуального опыта нуминозного. Символы открывают человеку священное и одновременно предохраняют его от непосредственного соприкосновения с колоссальной психической энергией архетипов. В церкви символы приобретают догматический характер: догматы приносят священное в человеческий мир, организуют его, придают форму внутреннему опыту. Догматический опыт Юнг ставит выше мистического. Мистика приобретает широкое распространение именно в кризисные эпохи, когда догматы окостеневают, когда с их помощью уже трудно передать нуминозный опыт, когда поколеблена твердыня церкви. Мистик утратил упорядоченный божественный космос, он испытывает хаотические видения, за космическим порядком обнаруживается бездна. Средневековая католическая мистика формулировала опыт видений с помощью догматов, а потому она не имела трагического и жуткого характера мистики XV-XVI вв. Юнг чрезвычайно высоко ставил «католическую форму жизни» — церковные ритуалы пронизывают всю человеческую деятельность, многие символы и ритуалы католицизма восходят к седой древности, воспроизводят древние мистерии.

Сегодня, отмечает Юнг, подобная «форма жизни» совершенно чужда большинству образованных европейцев, они разрушают традиционные общества по всему миру. Однако начало этому разрушению было положено не современной наукой или писаниями атеистов. Человечество на протяжении всей истории возводило защитную стену символов «против жуткой жизненности, таящейся в глубинах души». Эта стена стала разрушаться протестантизмом. Авторитет церкви был подорван, она превратилась в дом с рухнувшими стенами, в который «ворвались все беды и невзгоды мира». История протестантизма — это хроника штурма священных стен. На место церкви протестантизм поставил авторитет Писания, но предоставил каждому возможность интерпретировать Библию на свой лад. Филологическая и историческая критика, усилия герменевтики требовались для установления точного смысла Откровения, этот критицизм способствовал дальнейшему оскудению символического универсума, расколу протестантизма на сотни деноминаций.

Протестантизм стал причиной бурного развития капиталистической индустрии и техники. Психическая энергия, уходившая ранее на строительство защитных стен, «освободилась и двинулась по старым каналам любознательности и стяжательства, а потому Европа стала

матерью демонов, пожравших большую часть Земли» [8]. За Реформацией последовало Просвещение, а за ними — материализм естествознания. Разложенный на формулы символический космос сделался чуждым человеку, превратившемся в одну из физических сил. В образовавшийся вакуум хлынули абсурдные политические и социальные доктрины, начались катастрофические войны.

Современную ему Европу Юнг сравнивал с поздней античностью. После того как был услышан крик: «Великий бог Пан умер!», античная религия утратила всякую значимость. Божественное открывалось греку в пластически—чувственной форме; космос для него управлялся мерой, гармонией. На закате античности порядок мира воспринимался уже как демоническая сила. Человек оказывался во власти безличного рока — его символом стало звездное небо, вызывавшее восторженное почитание несколькими столетиями ранее в качестве символа гармонии мира. «Хотя столь же могущественные, но так же не близкие ему звезды сделались тиранами, — их боятся, но в то же время презирают, ибо они ниже человека» [9]. Плотин писал о гностиках, что душу даже самого ничтожного человека они считают бессмертной, но отказывают в этом звездному небу и даже самой мировой душе.

Греки и римляне обратились к ближневосточным религиям, пытаясь восполнить утрату священных символов. Результатом борьбы ряда восточных религий была победа христианства, которое многое позаимствовало у своих соперников и восстановило охранительную стену символов. Сегодня, когда Европа переживает крушение христианства, нынешние поиски символов и религий на Востоке кажутся оправданными. Однако сокровища восточной мудрости оказываются совершенно непригодными для европейцев: они настолько пропитаны «чужой кровью», что не могут войти в символический универсум европейца и даже способны принести ему вред. Европейец не может облечься в них как в готовое чужое платье — Юнг сравнивал теософов с нищими, вырядившимися в княжеские одежды. Заимствуя тщательно разработанные системы идей и практики медитации, европейец только усугубляет свои противоречия. Для индуса йога является прекрасным средством психической саморегуляции, у европейца она оказывается дополнительным инструментом для подавления сил коллективного бессознательного. С точки зрения Юнга в западном варианте восточные учения либо приобретают черты примитивных религиозных движений, либо становятся «психотехникой», «гимнастикой». Никакие заимствования с Востока

европейцам не помогут, им необходимо вспомнить о собственной религиозной традиции.

Собственную аналитическую психологию Юнг называл то «западной йогой», то «алхимией XX века». В сновидениях своих пациентов Юнг постоянно сталкивался с символами, которые были непонятны не только пациентам, не имевшим соответствующей исторической подготовки, но вызывавшие удивление и у Юнга, потратившего многие годы на изучение религиозно—мифологических представлений. По непонятной причине в сновидениях вновь и вновь воспроизводились образы, характерные для эллинистических религий, герметизма, гностицизма. Так как Юнг полагал, что онтогенез повторяет филогенез, то выход на поверхность сознания символов прошлой эпохи означал для него возвращение бессознательного к этому моменту развития коллективной души.

Помощь Юнгу в исследованиях оказало знакомство с алхимией – в 30-е годы он начинает штудировать труды европейских алхимиков, и с тех пор именно алхимия находится в центре его внимания. Алхимия выступает для Юнга как некая натурфилософия гностицизма, она является мостом между гностицизмом и современностью. В символике Св. Грааля и в алхимических поисках «философского камня» мы имеем дело с традицией, которая на протяжении столетий существовала в тени христианства, истребившего гностиков, потом катаров, но не уничтожившего эту ересь до конца. Всякая религия «есть спонтанное выражение определенных господствующих психических состояний», христианство «сформулировало то состояние, которое господствовало в начале нашей эры и было значимым на протяжении многих последующих столетий» [\[10\]](#). Но христианство выразило лишь одно — доминировавшее тогда — состояние, все остальные подверглись подавлению и вытеснению. Стоило ослабеть влиянию христианства — и начался выход на поверхность иных психических сил.

Бессознательное живет своей жизнью, в нем продолжается работа, начавшаяся много лет тому назад. Исторические корни современных символов обнаруживаются в гностицизме. Юнг имеет при этом в виду не столько сложную космологию Валентина и Василида, сколько идеи Симона — мага и Карпократа о женском начале, обожении человеческой плоти. В бессознательном нынешних европейцев происходит замена Троицы четверицей. Земное, темное, женское начало – четвертый элемент — был исключен из символа веры христиан и низвергнут «во тьму внешнюю». Сейчас он возвращается, возникает новое религиозное состояние. Католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии, принятый

церковью в 1854 г., догмат о ее телесном вознесении 1950 г., постоянные явления ее верующим на протяжении нашего века — все это, по Юнгу, знаки обожения земного начала. Эти идеи были затем развиты Юнгом в законченную теологическую доктрину, в которой алхимические и астрологические представления играют значительную роль.

Учение Юнга о мифологии и религии неоднократно подвергалось критике, поскольку эти духовные образования буквально растворяются им в индивидуальной и коллективной психологии; они становятся выражением то биологически наследуемых архетипов, то некоего «мирового духа». Но интерес к учению Юнга у многих серьезных исследователей мифологии и религии все же не случаен. На обвинения в мистицизме и иррационализме Юнг обычно отвечал так: «Полнота жизни закономерна и не закономерна, рациональна и иррациональна... Психология, удовлетворяющая один лишь интеллект, никогда не является практичной; ибо целостность души никогда не улавливается одним лишь интеллектом» ^[11]. Если архетипы понимать как бессознательно воспроизводимые схемы, проявляющиеся в мифах и галлюцинациях, сказках и произведениях искусства, то в таком их понимании нет ничего мистического. Человеческая психика — не «чистая доска», и в задачи психолога вполне может входить изучение априорных предпосылок опыта. В каком соотношении находятся унаследованные генетически образцы поведения, восприятия, воображения и наследуемые посредством культурно—исторической памяти — это вопрос, к которому с различных сторон подходят этнологи, лингвисты, психологи, этнографы, историки. Принимая учение Юнга об архетипах, мы можем не соглашаться ни с его алхимическими и астрологическими спекуляциями, ни со многими конкретными интерпретациями феноменов культуры.

Юнг продолжал активно работать и в глубокой старости. В восемьдесят лет ему удалось завершить книгу по алхимии, над которой он работал более тридцати лет (он умер в своем имении Кюснахт 6 июня 1961 г. после продолжительной болезни).

В данном томе собраны те произведения, в которых проблемы мифологии и религии ставятся в самом общем виде, в связи с теми или иными положениями аналитической психологии Юнга. Они дают представление о той культурологии (или историософии), которая была развита швейцарским ученым на основе его теории коллективного бессознательного.

А. М. Руткевич.

Подход к бессознательному

«Подход к бессознательному» — последнее произведение К.Г. Юнга, которое он закончил незадолго до своей смерти в 1961 г. Данная работа открывает книгу «Человек и его символы», остальные главы книги написаны наиболее известными учениками Карла Юнга. Вышедшая в 1964 г., т.е. уже после его смерти, эта книга представляет собой популярное введение в созданную им аналитическую психологию. Перевод выполнен В. В. Зеленским.

Значение снов

Человек пользуется устным или письменным словом для того, чтобы выразить смысл, который он хотел бы передать. Наш язык полон символов, но мы также пользуемся знаками и образами не строго описательными. Некоторые являются простыми аббревиатурами, т.е. рядом заглавных букв, таких, например, как ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, другие — торговые марки, названия лекарств, нашивки, эмблемы, знаки различия. Сами по себе бессмысленные, они приобретают узнаваемость в результате общего употребления или преднамеренным образом. Это не символы. Это — знаки, и они лишь обозначают объекты, к которым относятся.

То, что мы называем символом, — это термин, имя или изображение, которые могут быть известны в повседневной жизни, но обладают специфическим добавочным значением к своему обычному смыслу. Это подразумевает нечто смутное, неизвестное или скрытое от нас. Например, многие критские памятники отмечены знаком двойной секиры. Это предмет, который мы узнаем, но его символический смысл нам неизвестен. Или представьте себе индуса, который, вернувшись из Англии, рассказывает друзьям, что англичане поклоняются животным, поскольку в старых английских церквях он обнаружил изображения орлов, львов, быков. Он не знал (как и многие христиане), что эти животные — символы евангелистов, восходящие к видению пророка Иезекииля, а видение, в свою очередь, имеет предшествующую аналогию в египетском боге солнца Горе и его четырех сыновьях. Существуют такие примеры, как колесо и крест, известные повсеместно, хотя и они при определенных условиях имеют символическое значение. То, что они символизируют, — все еще предмет противоречивых суждений.

Таким образом, слово или изображение символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их очевидное и непосредственное значение. Они имеют более широкий «бессознательный» аспект, который всякий раз точно не определен или объяснить его нельзя. И надеяться определить или объяснить его нельзя. Когда мы исследуем символ, он ведет нас в области, лежащие за пределами здравого рассудка. Колесо может привести наши мысли к концепции «божественного солнца», но здесь рассудок должен допустить свою некомпетентность: человек не способен определить «божественное» бытие. Когда со всей нашей интеллектуальной ограниченностью мы называем что-либо «божественным», мы всего лишь

даем ему имя, которое основывается на вере, но никак не на фактическом свидетельстве.

Так как существует бесчисленное множество вещей за пределами человеческого понимания, то мы постоянно пользуемся символической терминологией, чтобы представить понятия, которые мы не можем определить или полностью понять. Это одна из причин, по которой все религии пользуются символическим языком или образами. Но подобное сознательное использование символов — лишь один аспект психологического факта большого значения: человек также продуцирует символы спонтанно и бессознательно в форме снов.

Это не так легко понять. Но понять необходимо, если мы хотим узнавать больше о том, как работает человеческое сознание. Человек, если мы внимательно поразмыслим, никогда ничего полностью не воспринимает и никогда ничего полностью не понимает. Он может видеть, слышать, осязать, воспринимать вкус, но насколько далеко он видит, как хорошо он слышит, что говорят ему осязание и вкус, зависит от количества и качества его ощущений. Они ограничивают восприятие окружающего его мира. Пользуясь научной аппаратурой, человек может частично компенсировать недостатки своих органов чувств. Например, он может увеличить пределы зрения с помощью бинокля, а чувствительность слуха с помощью электронного усиления. Но большинство разработанных приборов не могут сделать что-нибудь большее, нежели приблизить отдаленные и маленькие объекты к его глазам или сделать слабые звуки более слышимыми. Неважно, какими инструментами он пользуется, в некоторой точке все равно наступает предел уверенности, за который осознанное знание переступить не может.

Более того, существуют бессознательные аспекты нашего восприятия реальности. Когда наши органы чувств реагируют на реальные явления, скажем, изображения или звуки, они переводят их из области реального в область разума, — это очевидный факт. Здесь они становятся психическими явлениями, конечная природа которых непознаваема (психика не может познать свою собственную психическую сущность). Поэтому любой опыт содержит бесконечное множество неизвестных факторов, не говоря уже о том, что каждый конкретный объект всегда неизвестен в определенных отношениях, поскольку мы не можем знать конечной природы самой материи.

Кроме того, существуют некоторые события, которые мы не отмечаем в сознании; они остаются, так сказать, за порогом сознания. Эти события имели место, но были восприняты подпорогово, без участия нашего

сознания. Мы можем узнать о таких событиях только интуитивно или в процессе глубокого размышления, который ведет к последующему осознанию того, что они должны были произойти; и хотя первоначально мы игнорировали их эмоциональное и жизненное значение, оно все же проступило из бессознательного в виде послемысли. Подобные события могут проявиться, например, в форме снов. Как общее правило, бессознательный аспект любого явления открывается нам в снах, в которых он возникает не как рациональная мысль, а в виде символического образа.

Исторически, именно изучение снов подвигнуло психологов на изучение бессознательного аспекта сознательных психических явлений. Именно на основе таких свидетельств психологи предположили факт существования бессознательной психики, хотя многие ученые и философы отрицают ее существование. Они наивно полагают, что подобное предположение ведет к допущению существования двух «субъектов», или (говоря обычным языком) двух личностей, внутри одного индивида. В действительности же так оно и есть. И одно из проклятий современного человека заключается в том, что он страдает от расщепления собственной личности. И это ни в коем случае не патологический симптом, а нормальный факт (нормальное явление), который можно наблюдать везде и в любое время. Не только у невротиков правая рука не знает, что делает левая. Это неприятное положение является симптомом общей бессознательности, бесспорного общего наследия всего человечества.

Человек развивал свое сознание медленно и трудно. Потребовались бесчисленные века, чтобы достичь цивилизованного состояния (которое произвольно датируется со времени изобретения письменности около 4000 лет до н.э.). Эта эволюция и сейчас далека от завершения, поскольку значительные области человеческого разума погружены в темноту. То, что мы называем «психическим», «душой», ни в какой мере не идентично с нашим сознанием и его содержанием.

Тот, кто отрицает существование бессознательного, фактически предполагает, что наше нынешнее знание психики является полным. Но эта вера с очевидностью ложна, так же как ложно и предположение, что мы знаем все, что можно знать о вселенной. Наша психика лишь часть природы, и тайна ее безгранична, поэтому мы не можем дать полное определение ни психическому, ни природе. Мы можем лишь заявлять, что верим в их существование и описываем, как умеем, — лучшее из того, что мы можем, — каким образом они действуют. Помимо свидетельств, собранных в медицинских исследованиях, существуют сильные логические основания, чтобы отвергнуть заявления типа «бессознательное не

существует». Утверждающие это лишь выражают древний «мизонеизм» — страх перед новым и неизвестным.

Разумеется, есть исторические основания для противостояния идее существования неведомой области в человеческой психике. Сознание — относительно недавнее приобретение природы, и оно все еще пребывает в стадии «эксперимента». Оно хрупко, подвержено опасностям и легко ранимо. Как заметили антропологи, одним из наиболее общих проявлений умственного расстройств, встречающегося у первобытных племен, оказывается то, что последние сами называют «потерей души», что означает, как указывает само название, заметное разрушение (точнее, диссоциацию) сознания.

Среди людей, чье сознание находится на уровне развития, отличающемся от нашего, «душа» (психика) не ощущается как нечто единое. Многие первобытные племена считают, что человек имеет помимо собственной еще и «лесную душу». И что эта душа лесная воплощена в диком животном или в дереве (друиды), с которыми тот или иной человек имеет некоторую психическую идентичность. Именно это известный французский этнолог Леви-Брюль назвал «мистическим участием» [\[12\]](#). Правда, позже под давлением критики он отказался от этого термина, но я полагаю, что его оппоненты были неправы. Хорошо известно психологическое состояние, когда человек может находиться в состоянии психической идентичности с другим человеком или предметом.

Подобная идентичность среди первобытных племен принимает самые разнообразные формы. Если лесная душа принадлежит животному, само животное считается человеку как бы братом. Предполагается, что человек, чей брат крокодил, находится в безопасности, когда плавает в реке, кишасей крокодилами. Если его душа — дерево, то считается, что дерево имеет по отношению к нему нечто вроде родительской власти. В обоих случаях тот или иной ущерб, нанесенный лесной душе, истолковывается как повреждение самому человеку.

В ряде племен полагают, что человек имеет сразу несколько душ; такая вера отражает некоторые первобытные представления о том, что каждый человек состоит из нескольких связанных между собой, но различающихся отдельностей. Это означает, что человеческая психика далека от полного синтеза, напротив, она слишком легко готова распасться под напором неконтролируемых эмоций.

Хотя описанная ситуация известна нам по работам антропологов, ею не следует пренебрегать и в нашей развитой цивилизации. Мы тоже можем оказаться диссоциированными и утратить собственную идентичность. На

нас влияют различные настроения, мы можем становиться неразумными, порой мы не можем вспомнить самые важные факты о самих себе или других, так, что люди даже удивляются: «Что за черт в тебя вселился?». Мы говорим о способности «контролировать» себя, но самоконтроль — весьма редкое и замечательное качество. Мы можем думать, что полностью контролируем себя; однако друг может без труда рассказать нам о нас такое, о чем мы не имеем ни малейшего представления.

Вне всякого сомнения, даже на так называемом высоком уровне цивилизации человеческое сознание еще не достигло приемлемой степени целостности. Оно все так же уязвимо и подвержено фрагментации. Сама способность изолировать часть сознания — безусловно ценная характеристика. Она позволяет нам сконцентрироваться над чем-то одним, исключив все остальное, что может отвлечь наше внимание. Но существует огромная разница между сознательным решением отделить и временно подавить часть психики и ситуацией, когда это возникает спонтанно, без знания или согласия на это, и даже вопреки собственному намерению. Первое — достижение цивилизации, второе — примитивная (первобытная) «потеря души», или патологический случай невроза.

Таким образом, в наши дни единство сознания — дело все еще сомнительное, слишком легко оно может быть разрушено. Способность же контролировать эмоции, весьма желательная с одной стороны, с другой оказывается сомнительным достижением, так как лишает человеческие отношения разнообразия, тепла и эмоциональной окраски.

Именно на этом фоне мы и должны рассмотреть важность снов — этих легких, ненадежных, изменчивых, смутных и неопределенных фантазий. Чтобы объяснить свою точку зрения, я бы хотел описать, как она развивалась с годами и как я пришел к выводу, что сны — это наиболее частный и универсальный доступный источник для исследования способности человека к символизации.

Зачинателем этого дела в практическом исследовании бессознательного фона сознания был Зигмунд Фрейд. Общим положением в его работе было то, что сны не являются делом случая, а связаны с сознательными проблемами и мыслями. Такое предположение никоим образом не было произвольным. Оно основывалось на выводах известных неврологов (например, Пьера Жане), что невротические симптомы связаны с определенным сознательным опытом. Эти симптомы оказываются даже некими отщепленными областями сознательного разума, областями, которые в другое время и при других обстоятельствах были бы сознательными.

В конце прошлого века Фрейд и Иосиф Брейер выяснили, что невротические симптомы — истерия, некоторые виды боли и ненормальное поведение — несут в себе символическое значение. Это один из путей, по которым бессознательная психика проявляет себя, равным образом как и в снах, и оба пути оказываются одинаково символичны.

У пациента, который, к примеру, столкнулся с непереносимой ситуацией, может развиться спазм при глотании: «он не может это проглотить». В сходных условиях психологического стресса другой пациент получает приступ астмы: он «не может дышать атмосферой дома». Третий страдает от паралича ног: «он не может ходить», т.е. «не может больше идти». Четвертый, которого рвет во время еды, «не может переварить» какой-то неприятный факт. Можно процитировать много примеров подобного рода, но такие физические реакции лишь одна из форм, в которой выражаются проблемы, нас бессознательно волнующие. Чаще же они находят воплощение в снах.

Любой психолог, которому довелось выслушивать людей, описывающих свои сны, знает, что символика сна намного разнообразнее, чем физические симптомы неврозов. Она часто состоит из детально разработанных и живописных фантазий. Но если аналитик при работе с материалом этих снов будет использовать разработанную Фрейдом технику «свободных ассоциаций», он в конце концов обнаружит, что сны могут быть сведены к нескольким основным типам. Эта техника сыграла важную роль в развитии психоанализа, так как она позволила Фрейду использовать сны как исходную точку для исследования бессознательных проблем пациента.

Фрейд сделал простое, но глубокое наблюдение, — если поощрить видевшего сон продолжать рассказывать о своем сновидении и мыслях, на которые оно наводит, то пациент пойдет достаточно далеко и откроет бессознательный фон своего недуга: как тем, что он скажет сам, так и тем, о чем он бессознательно умолчит. Идеи сновидца могут казаться иррациональными и несущественными, но через некоторое время легко замечаемым оказывается то, чего он старается избежать, какие неприятные мысли или переживания он в себе подавляет. Неважно, каким путем он стремится замаскировать это; все, что он говорит, указывает на суть его проблемы. Врач вообще-то достаточно часто сталкивается с темными сторонами жизни людей, что позволяет ему редко ошибаться при интерпретации намеков, которые пациент выдает за знаки его встревоженной совести. То, что открывается в конце концов, к сожалению, обычно подтверждает его предположения. В этой области трудно что-либо

возразить против фрейдовской теории вытеснения и осуществления желаний как очевидной причины символизма снов.

Фрейд придавал особое значение снам как отправной точке процесса «свободных ассоциаций». Но спустя время я стал чувствовать, что использование богатых фантазий, которые бессознательное продуцировало во время сна, было неадекватным и порой вводящим в заблуждение. Мои сомнения начались, когда однажды коллега рассказал мне о своих переживаниях во время долгого железнодорожного путешествия по России. Хотя он не знал языка и не мог даже разобрать написание кириллического алфавита, по дороге он размышлял над странными буквами, которыми были выполнены железнодорожные надписи, и фантазировал, придумывая для них разные значения.

Одна мысль порождала другую, и в неспешном расслабленном состоянии он обнаружил, что «свободные ассоциации» всколыхнули много старых воспоминаний. Среди них досадно обнаружились некоторые давно утраченные и неприятные темы, которые он не хотел держать в памяти и сознательно забыл. Фактически этот человек оказался перед тем, что психологи назвали бы его «комплексами» [\[13\]](#), т.е. подавленным эмоциональным содержанием, которое могло вызывать постоянное психологическое раздражение или в некоторых случаях даже симптом невроза.

Этот эпизод навел меня на ту мысль, что нет необходимости рассматривать сны как исходную точку процесса «свободных ассоциаций» в том случае, если хочешь определить комплексы пациента. Описанный случай продемонстрировал мне, что можно достичь центра непосредственно с любой точки окружности. Можно начать с букв кириллицы, с медитации перед хрустальным шаром, с молитвенного колеса или современной живописной картины, или даже со случайного разговора по поводу пустякового события. В этом отношении сон столь же эффективен, как и любое другое отправное событие. И тем не менее сны имеют особое значение даже тогда, когда они возникают в результате эмоционального расстройств, в которое вовлечены присутствующие тому или иному лицу комплексы.

Здесь, однако, до меня дошло (если до того я был прав), что сами сны имеют свою собственную, отдельную, имеющую смысл функцию. Очень часто сны имеют определенную, с очевидностью целеполагающую структуру, указывающую на подспудную идею или намерение, хотя, как правило, последние столь быстро не воспринимаются как таковые. Поэтому я стал размышлять, нужно ли уделять больше внимания

актуальной форме и содержанию сна, или же позволить «свободной ассоциации» вести по цепи мыслей к комплексам, которые могут быть легко обнаружены и другими способами. Эта новая мысль и была поворотным моментом в развитии моей психологии. Постепенно я оставил ассоциативный путь, который уводил от содержания самого сна. Я предпочел сконцентрироваться на ассоциациях непосредственно самого сна, полагая, что последний выражает нечто специфическое, что пытается выразить бессознательное.

Изменение моего отношения к снам повлекло изменение и самого метода; новый метод принимал во внимание все широкое разнообразие области сновидений. История, рассказанная сознательным разумом, имеет свое начало, развитие и конец, но во сне все обстоит иначе. Координаты времени и пространства здесь совершенно другие, и, чтобы это понять, необходимо исследовать сон со всех сторон, точно так же, как можно взять в руки неизвестный предмет и поворачивать его до тех пор, пока не выявятся все особенности его формы.

Возможно, я уже достаточно полно показал, как постепенно пришел к разногласию со «свободной ассоциацией» Фрейда; я стремился держаться как можно ближе к самому сну и исключать все малозначительные идеи и ассоциации, которые он вызывал. И хотя они на самом деле могли привести к комплексам у пациента, у меня имелась другая, более далеко идущая цель, чем выявление комплексов, вызывающих невротические расстройства. Существует много иных способов, посредством которых их можно обнаружить, например, психолог может получить все нужные указания с помощью тестов словесных ассоциаций (спросив пациента, с чем он связывает данный набор слов, и изучив его ответы). Но чтобы узнать и понять психическую жизнь целостной отдельной личности, важно осознать, что сны человека и их символические образы играют более значительную роль.

Почти каждый, например, знает, что существует бесчисленное множество образов, которые могут символизировать половой акт (или, можно сказать, представленных в форме аллегории). Любой из этих образов путем ассоциации может привести к идее полового акта и к специфическим комплексам, которые проявляются у индивида в отношении собственных сексуальных установок. Но точно так же можно выявить эти комплексы путем фантазирования над незнакомыми русскими буквами. Отсюда я пришел к предположению о том, что сон может нести в себе и иное послание, чем сексуальная аллегория, и что это происходит по определенным причинам. Попробую это проиллюстрировать.

Человеку может присниться, что он вставляет ключ в замок, машет тяжелой палкой или пробивает дверь таранящим предметом. Все эти действия можно рассматривать как сексуальную аллегорю. Но фактически само бессознательное выбирает один из этих специфических образов: это может быть и ключ, и палка, или таран, — и это обстоятельство само по себе также значимо. Всякий раз задача заключается в том, чтобы понять, почему ключ был предпочтен палке или тарану. И иногда в результате оказывается, что содержание сна означает вовсе не сексуальный акт, а имеет другую психологическую интерпретацию.

Рассуждая таким образом, я пришел к выводу, что в интерпретации сна должен принимать участие лишь тот материал, который составляет ясную и видимую его часть. Сон имеет свои собственные границы. Его специфическая форма говорит нам, что относится ко сну, а что уводит от него. В то время как «свободная ассоциация» уводит от материала по некой зигзагообразной линии, метод, разработанный мной, больше похож на кружение, центром которого является картина сна. Я все время вращаюсь вокруг картины сна и отвергаю любую попытку видевого сна уйти от него. Снова и снова в своей профессиональной работе я вынужден повторять: «Вернемся к вашему сну. Что этот сон говорит?».

Например, моему пациенту приснилась пьяная, растрепанная вульгарная женщина. Ему казалось, что эта женщина — его жена, хотя на самом деле его жена была совсем иной. Внешне сон представляется абсолютной бессмыслицей, и пациент отвергает его, считая полной ерундой. Если бы я, как врач, позволил ему начать процесс ассоциаций, он неизбежно попытался бы уйти как можно дальше от неприятного намека своего сна. В этом случае он закончил бы одним из своих ведущих комплексов — комплексом, который, возможно, не имел ничего общего с женой, и тогда мы ничего бы не узнали о значении этого сна.

Что же тогда пыталось передать его бессознательное с помощью своего с очевидностью ложного заявления? Ясно, что оно как-то выражало идею дегенерировавшей женщины, тесно связанной с жизнью пациента, но так как проекция этого образа на его жену была неоправданной и фактически неверной, я должен был поискать в другом месте, дабы обнаружить, что же собой представлял этот отталкивающий образ.

Еще в средние века, задолго до того, как физиологи выяснили, что в каждом человеке наличествуют мужские и женские гормональные элементы, говорилось, что «каждый мужчина несет в себе женщину». Этот женский элемент в каждом мужчине я назвал «Анима». Женский аспект представляет определенный подчиненный уровень связи с окружающим

миром и, в частности, с женщинами, уровень, который тщательно скрывается от других и от себя. Другими словами, хотя видимая личность человека может казаться совершенно нормальной, он может скрывать от других — и даже от самого себя — плачевное положение «женщины внутри».

Именно так и обстояло дело с моим конкретным пациентом: его женская сторона пребывала не в лучшей форме. Его сон фактически сообщал ему: «Ты в известном смысле ведешь себя, как падшая женщина», и тем самым давал ему необходимый шок. (Этот пример, конечно, не должен быть понят как доказательство того, что бессознательное озабочено «моральными» нарушениями. Сон не говорил пациенту: «Веди себя лучше», — а просто пытался уравновесить перекошенную природу его сознательного разума, который поддерживал фикцию, что пациент — совершенный джентльмен.)

Легко понять, почему сновидцы склонны игнорировать и даже отрицать послания своих снов. Сознание естественно сопротивляется всему бессознательному и неизвестному. Я уже указывал на существование среди первобытных племен того, что антропологи называют «мизонеизм», — глубокого и суеверного страха нового.

Примитивные люди проявляют совершенно животные реакции на непредвиденные события. Но и «цивилизованный человек» реагирует на новые идеи зачастую так же: воздвигая психологические барьеры, дабы защитить себя от шока встречи с новым. Это легко наблюдать в любой индивидуальной реакции на собственный сон, когда оказывается необходимым допустить некую неожиданную мысль. Многие пионеры в философии, науке и даже в литературе были жертвами врожденного консерватизма своих современников. Психология — весьма молодая наука, и, поскольку она пытается иметь дело с бессознательным, она неизбежно встречает мизонеизм в его крайнем проявлении.

Прошлое и будущее в бессознательном

Итак, я обрисовал некоторые из принципов, на которых зарождается мое отношение к проблеме снов, и поскольку мы хотим исследовать способность человека к продуцированию символов, сны оказываются самым главным и доступным материалом для этой цели. Два основных положения, которые необходимо учитывать при работе со снами, суть следующие: первое — сон следует рассматривать как факт, относительно которого нельзя делать никаких предварительных утверждений, кроме того, что сон имеет некоторый смысл; и второе — сон есть специфическое выражение бессознательного.

Вряд ли можно сформулировать данные положения более скромно. Неважно, сколь незначительным, по чьему-либо мнению, может быть бессознательное, в любом случае следует признать, что оно достойно исследования, сродни вши, которая, при всем к ней отвращении, все же вызывает живой интерес энтомолога. Если кто-нибудь с малым опытом и знанием снов полагает, что сон — это хаотическое, бессмысленное событие, то он, конечно, волен полагать и так. Но если допустить, что сны являются нормальными событиями (каковыми они и являются на самом деле), то необходимо признать, что сны имеют рациональное основание для своего возникновения, или же целенаправленны, или же и то и другое вместе.

Посмотрим теперь более внимательно на те пути, которыми связаны в мозгу сознательное и бессознательное. Возьмем общеизвестный пример. Внезапно вы обнаруживаете, что не можете вспомнить нечто, что только что хотели сказать, хотя перед тем ваша мысль была совершенно ясна и определена. Или, скажем, вы хотите представить своего друга, а его имя выпало из головы в момент, когда вы собирались его произнести. Вы объясняете это тем, что не можете вспомнить, фактически же мысль стала бессознательной или даже отделилась от сознания. Мы обнаруживаем подобные явления и в связи с нашими органами чувств. Достаточно слушать непрерывную ноту на границе слышимости — и звук то возобновляется, то периодически прекращается. Эти колебания обусловлены периодическими уменьшениями и повышениями нашего внимания, а отнюдь не изменениями звука. Но, когда нечто ускользает из сознания, то перестает существовать не в большой степени, чем автомобиль, свернувший за угол. Последний просто выпал из поля зрения,

и так же как мы можем увидеть его позже вновь, так вспоминается и временно забытая мысль.

Таким образом, часть бессознательного состоит из множества временно затемненных мыслей, впечатлений, образов, которые, невзирая на утрату, продолжают влиять на наше сознание. Отвлеченный чем-либо, с «отсутствующим сознанием», человек может за чем-либо отправиться по комнате. Внезапно он останавливается озадаченный, — он забыл, что ему нужно. Его руки шарят по столу как во сне: человек забыл свое первоначальное намерение, хотя бессознательно руководим, управляем им. И вот он вспоминает, чего, собственно, хотел. Бессознательное вновь вернуло ему утраченную цель поиска.

Если вы наблюдаете поведение невротика, то можете видеть его совершающим некоторые поступки по видимости сознательно и целенаправленно. Однако если вы спросите его о них, то обнаружите, что он или не осознает их, или имеет в виду нечто совсем другое. Он слушает и не слышит, он смотрит и не видит, он знает, однако не осознает. Подобные примеры столь часты, что специалист понимает, что бессознательное содержание разума ведет себя так, как если бы оно было сознательным. В таких случаях никогда нельзя быть уверенным в том, сознательны ли мысль, слова или действия, или нет.

Именно подобный тип поведения заставляет многих врачей игнорировать заявления их истерических пациентов как полную ложь. Эти люди, действительно, рассказывают «больше» неправд, чем многие из нас, но все же «ложь» вряд ли здесь окажется правильным словом. Фактически их умственное состояние вызывает неопределенность поведения, поскольку их сознание подвержено непредсказуемым затмениям при вмешательстве бессознательного. Подобным же колебаниям подвержена и их кожная чувствительность. В какой-то момент истерическая личность может почувствовать укол иглой, а последующий, может стать, окажется незамеченным. Если внимание невротика сфокусировано на определенной точке, его тело может быть полностью анестезировано до тех пор, пока напряжение, вызывающее отключение болевых «приемников», не спадет. После этого чувствительность восстанавливается. Все это время, однако, он бессознательно следит за всем, что происходит вокруг.

Врач ясно представляет данное обстоятельство, когда гипнотизирует такого пациента. Кстати, не трудно показать, что последний в курсе всех деталей. Укол в руку или замечание, сделанные во время отключения сознания, могут быть вспомнены столь же точно и отчетливо, как и в случае отсутствия анестезии или «забывчивости». В связи с этим

вспоминаю женщину, которая однажды была привезена в клинику в состоянии полного ступора. Когда на следующий день она пришла в себя, то сознавала, кто она, но не представляла, ни где находится, ни почему она здесь, ни даже какое сегодня число. Однако, когда я загипнотизировал ее, она рассказала мне, почему она заболела, как попала в клинику, кто ее принимал. Все эти детали легко проверялись. Она даже назвала время своего привоза, потому что видела часы в приемном покое. Под гипнозом ее память была столь же ясна, как если бы она была все время в сознании.

Когда мы обсуждаем подобные темы, то часто должны привлекать свидетельства из клинической практики. По этой причине многие критики полагают, что бессознательное и его тонкие проявления принадлежат всецело к сфере психопатологии. Они считают любое проявление бессознательного чем-то невротическим или психотическим, не имеющим отношения к нормальному состоянию. Но невротические явления ни в коем случае не являются продуктами исключительно болезни. Фактически они не более чем патологические преувеличенности нормальных событий; и лишь потому, что они оказываются преувеличенными, они более бросаются в глаза, чем соответствующие нормальные события. Истерические симптомы можно наблюдать у всех нормальных людей, но они столь легки, что обычно проходят незамеченными.

К примеру, забывчивость есть совершенно нормальный процесс, обусловленный тем, что некоторые сознательные мысли теряют свою специфическую энергию из-за отвлечения внимания. Когда наш интерес перемещается, он оставляет в тени те вещи, которыми мы до этого были заняты; точно так же луч прожектора освещает новую область, оставляя предыдущую в темноте. Это и неизбежно, так как сознание может одновременно держать в полной ясности лишь несколько образов, и даже такая ясность неустойчива.

Но забытые мысли не перестают существовать. Хотя они не могут быть воспроизведены по заказу, они присутствуют в сублимированном состоянии, — как раз за порогом воспоминания, — откуда могут спонтанно появиться в любое время, часто через много лет полного забвения.

Я говорю о вещах, которые мы сознательно видели или слышали, а затем уже забыли. Но все мы видим, слышим, обоняем множество вещей, даже не замечая их, и все это потому, что наше внимание или отвлечено, или воздействие этих вещей на наши чувства слишком мало, чтобы оставить сознательное впечатление. Бессознательное, однако, замечает их и, собственно, такие неосознаваемые восприятия могут играть большую роль в нашей повседневной жизни. Мы даже не сознаем, как они влияют на

наши реакции на людей или события.

Как наиболее, с моей точки зрения, впечатляющий пример, приведу случай с профессором, который прогуливался за городом со своим учеником и был погружен в серьезный разговор. Внезапно он заметил, что его мысли прервались неожиданным потоком воспоминаний раннего детства. Он не мог понять причины этого отвлечения. Ничего из того, что говорилось, казалось, не имело ни малейшего отношения к этим воспоминаниям. Оглянувшись, наш профессор догадался, что первые воспоминания детства пришли ему в голову в тот момент, когда они проходили мимо фермы. Он предложил своему ученику вернуться к тому месту, где ему впервые бросились в сознание образы детства. Оказавшись там, он ощутил запах гусей и тотчас же понял, что именно этот запах вызвал поток воспоминаний.

В молодые годы он жил на ферме, где держали гусей, и их характерный запах оставил прочное, хотя и позабытое впечатление. Когда он проходил мимо фермы, то ощутил этот запах подсознательно, и это невольное (непроизвольное) впечатление вызвало к жизни давно забытые переживания детства. Восприятие оказалось неосознанным, поскольку внимание было направлено на другое, а стимул не слишком велик, чтобы отвлечь его и достичь сознания напрямую. Но он вызывал «забытые» воспоминания.

Такое действие «намека», или «спускового крючка», может объяснить развитие не только положительных воспоминаний, но и вполне невротических симптомов в случаях, когда вид, запах или звук вызывают воспоминания прошлого. Девушка может работать у себя в конторе, пребывая в отличном состоянии здоровья и настроения. И вдруг у нее развивается страшная головная боль и другие признаки переживаний. Оказывается, она непроизвольно услышала гудок далекого корабля, и это бессознательно напомнило ей несчастное расставание с любимым, которого она пыталась забыть.

Кроме обычного забывания Фрейд описал несколько случаев, когда происходит «забывание» неприятных моментов, которые человек охотно старается забыть. Как заметил Ницше, когда гордость достаточно настойчива, память предпочитает уступить. Поэтому среди забытых воспоминаний мы встречаем немало таких, которые обязаны своему пребыванию в подпороговом состоянии (следовательно, и невозможностью воспроизведения по желанию) собственной несоответствующей и несовместимой природе. Психологи называют их подавленным содержанием.

Примером может послужить секретарша, которая ревнует одного из сотрудников своего босса. Обычно она забывает приглашать этого человека на совещания, хотя его имя ясно значится в списке. Если ее спросить об этом, она скажет, что «забыла» или что ее в это время «отвлекли». И никогда не признается даже себе в истинной причине своего забывания.

Многие люди ошибочно переоценивают роль воли и полагают, что ничто не может произойти в их собственном разуме без их решения и намерения. Но следует хорошо различать намеренное и ненамеренное содержание сознания. Первое проистекает из личностного Эго; второе, однако, — из источника, который с Эго не идентичен, а представляет его «другую сторону». Именно эта «другая сторона» и заставила секретаршу забывать о приглашениях.

Существует множество причин, по которым мы забываем вещи, которые отметили или пережили, и точно так же существует множество путей, по которым они могут прийти на ум. Интересный пример представляет криптомнезия, или «скрытое воспоминание». Автор может писать произведение по заранее составленному плану, развивая свою мысль или линию повествования, как вдруг он внезапно сбивается в сторону. Возможно, ему на ум пришла свежая идея, или иной образ, или другой сюжет. Если вы спросите его, что же вызвало такое изменение, он будет не в силах вам ответить. Он даже может и не заметить отклонения, хотя и начал создавать нечто совершенно новое и, очевидно, ранее ему не знакомое. Иногда то, что он пишет, поразительно похоже на работу другого автора — и это можно убедительно продемонстрировать, — работу, которую, как полагает первый автор, он никогда не читал.

Я обнаружил показательный пример подобного рода в книге Ф.Ницше «Так говорил Заратустра», в которой автор почти дословно воспроизводит инцидент из судового журнала 1686 г. По чистой случайности я вычитал этот морской случай в книге, опубликованной в 1835 г. (за полвека до того, как писал Ницше), и когда я обнаружил подобный пассаж в «Так говорил Заратустра», то был поражен его особым стилем, так отличным от привычного языка Ницше. Я был убежден, что Ницше тоже видел эту старую книгу, хотя и не делал на нее ссылок. Я написал его сестре, которая была еще жива, и та подтвердила, что она и ее брат действительно читали вместе эту книгу, когда ему было 11 лет. Исходя из контекста, я полагаю совершенно невероятным, чтобы Ницше сознавал, что совершает плагиат. Я считаю, что через пятьдесят лет эта история неожиданно скользнула в фокус его сознания.

В этом случае имеет место подлинное, хотя и неосознанное,

воспоминание. Подобного рода вещи могут произойти с музыкантом, который слышал в детстве крестьянскую мелодию или популярную песню, и внезапно встречает ее как тему в симфонии, которую он сочиняет уже будучи взрослым. Идея или образ вернулись из бессознательного в сознающий разум.

Все, что я рассказал о бессознательном, лишь поверхностный очерк о природе и действии этой сложной составляющей человеческой психики. Необходимо еще указать на виды подпорогового материала, из которого спонтанно могут производиться символы наших снов. Подпороговый материал состоит из всего набора нужд, импульсов, намерений; всех восприятий и догадок; всех рациональных и иррациональных мыслей, выводов, индукций, дедукций, посылок; из всего разнообразия чувств. Любое из них, или все они вместе, могут принимать форму частичного, временного или постоянного бессознательного.

Данный материал большей частью становится бессознательным потому, что, как говорится, для него не оказывается места в сознании. Некоторые мысли теряют свою эмоциональную энергию и становятся подпороговыми (т.е. они больше не привлекают сознательного внимания), потому что стали казаться неинтересными и несущественными или потому, что существуют причины, по которым мы желаем убрать их из поля зрения. Фактически же для нас «забывать» подобным образом нормально и необходимо для того, чтобы освободить место в нашем сознании для новых впечатлений и идей. Если этого не будет происходить, то все, что мы переживаем, будет оставаться выше порога сознания и наш разум окажется до невозможности переполненным. Это явление так широко известно сегодня, что большинство людей, которые хоть что-то знают о психологии, принимают его как само собой разумеющееся.

Но точно так же, как сознательное содержание может исчезать в бессознательном, новое содержание, которое до того прежде никогда не осознавалось, может возникать из него. Оно вспыхивает как некий намек, слабое подозрение: «что-то висит в воздухе» или «пахнет крысой». Открытие, что бессознательное — это не простой склад прошлого, но что оно полно зародышей будущих психических ситуаций и идей, привело меня к новым подходам в психологии. Большое количество дискуссий развернулось вокруг этого положения. Но остается фактом то, что, помимо воспоминаний из давнего осознанного прошлого, из бессознательного также могут возникать совершенно новые мысли и творческие идеи; мысли и идеи, которые до этого никогда не осознавались. Они возникают из темноты из глубин разума, как лотос, и формируют наиболее важную часть

подпороговой психики.

Подобные вещи мы обнаруживаем в каждодневной жизни, когда задачи порой решаются совершенно новыми способами; многие художники, философы и даже ученые обязаны своими лучшими идеями вдохновению, которое внезапно появилось из бессознательного. Способность достичь богатого источника такого материала и эффективно перевести его в философию, литературу, музыку или научное открытие — одно из свойств тех, кого называют гениями.

Ясные доказательства такого факта мы можем найти в истории самой науки. Например, французский математик Пуанкаре и химик Кекуле обязаны своим важным научным открытием (что признают они сами) внезапным «откровениям» из бессознательного. Так называемый «мистический» опыт французского философа Декарта включил в себя подобное внезапное откровение, во вспышке которого он увидел «порядок всех наук». Английский писатель Роберт Льюис Стивенсон потратил годы в поисках истории, которая иллюстрировала бы его «сильное чувство двойственности человеческого бытия», когда вдруг во сне ему открылся сюжет «Доктора Джекиля и мистера Хайда».

Позже я детально опишу, каким образом подобный материал возникает из бессознательного, и исследую формы, в которых это бессознательное выражается. Сейчас же я просто хочу отметить, что способность человеческой психики продуцировать новый материал особенно значительна, когда имеешь дело с символами сна; в своей профессиональной практике я постоянно обнаруживал, что образы и идеи, содержащиеся в снах, не могут быть объясненными лишь в терминах памяти. Они выражают новые мысли, которые еще никогда не достигали порога сознания.

Функция снов

Обсуждение некоторых подробностей происхождения наших снов диктовалось тем, что эта почва, из которой произрастает большинство символов. К сожалению, они трудны для понимания. Как я уже указывал, сон совершенно не похож на историю из жизни сознательного разума. В обыденной ситуации мы думаем над тем, что хотим сказать, выбираем наиболее выразительный способ передачи мысли и пытаемся сделать наш рассказ логически связанным. Например, грамотный человек будет избегать слишком сложных метафор, дабы не создавать путаницы в понимании. Но сны имеют иное строение. Образы, кажущиеся противоречивыми, смешно толпящимися в спящем мозгу, утраченное чувство нормального времени, даже самые обычные вещи во сне могут принять загадочный и угрожающий вид.

Может показаться странным, что бессознательное располагает свой материал столь отлично от принятых норм, которые мы, бодрствуя, накладываем на наши мысли. Каждый, кто помедлит минутку, чтобы вспомнить сон, признает эту разницу главной причиной, по которой сны считаются такими трудными для понимания. Они не имеют смысла в терминах состояния бодрствования, и потому мы склонны или не принимать их во внимание, или считать «баламутящими воду».

Возможно, в этом будет легче разобраться, если вначале мы осознаем, что идеи, с которыми мы имеем дело в нашей, по всей видимости, дисциплинированной жизни, совсем не так ясны, как нам хотелось бы в это верить. Напротив, их смысл (и эмоциональное значение для нас) становится тем менее точным, чем ближе мы их рассматриваем. Причина же кроется в том, что все, что мы слышали или пережили, может становиться подпороговым, т.е. может погружаться в бессознательное. И даже то, что мы удерживаем в сознании и можем воспроизвести их по собственному желанию, приобретает бессознательные оттенки, окрашивающие ту или иную мысль всякий раз, как мы ее воспроизводим. Наше сознательное впечатление быстро усваивает элемент бессознательного смысла, который фактически значим для нас, хотя сознательно мы не признаем существования этого подпорогового смысла или того, что сознательное и бессознательное смешиваются и результируют являющийся нам смысл.

Конечно, такие психические оттенки различны у разных людей.

Каждый из нас воспринимает абстрактные и общие положения индивидуально, в контексте собственного разума. Когда в разговоре я использую такие понятия как «государство», «деньги», «здоровье» или «общество», я допускаю, что мои слушатели понимают под ними примерно то же, что и я. Но слово «примерно» здесь важно. Ведь любое слово для одного человека слегка отлично по смыслу, чем для другого, даже среди людей одинаковой культуры. Причиной такого колебания (непостоянства смысла) является то, что общее понятие воспринимается в индивидуальном контексте и поэтому понимается и используется индивидуально. И разница в смыслах, естественно, оказывается наиболее значительной для людей с разным социальным, политическим, религиозным или психологическим опытом.

Пока понятия формулируются только словами, вариации почти незаметны и не играют практической роли. Но когда требуется точное определение или подробное объяснение, можно внезапно обнаружить поразительную разницу не только в чисто интеллектуальном понимании термина, но особенно в его эмоциональном тоне и приложении. Как правило, эти различия подпороговы и потому никогда не осознаются.

Обычно этими различиями пренебрегают, считая их избыточными нюансами смысла, имеющими мало отношения к практическим повседневным нуждам. Но тот факт, что они существуют, показывает, что даже самое практическое содержание сознания содержит вокруг себя полумглу неопределенности. Даже наиболее тщательно сформулированные философские или математические понятия (определения), которые, как мы полагаем, не содержат в себе ничего кроме того, что мы в них вложили, тем не менее представляют большее, чем мы полагаем. Они оказываются порождением психики и, как таковое, частично непознаваемы. Простые числа, которыми мы пользуемся при счете, значат больше, чем мы думаем. Одновременно они являют собой мифологический элемент (для пифагорейцев числа представлялись священными), но, разумеется, мы этого не учитываем, когда пользуемся ими в бытовых целях.

Каждое понятие в нашем сознающем разуме имеет свои психические связи, ассоциации. Так как такие связи могут различаться по интенсивности (в соответствии с важностью того или иного понятия для нашей целостной личности или в отношении к другим понятиям, идеям и даже комплексам, с которыми оно ассоциируется в нашем бессознательном), то они способны менять «нормальный» характер понятия. Последнее может приобрести совершенно отличный смысл, если сместится ниже уровня сознания.

Эти подпороговые составляющие всего с нами происходящего могут играть незначительную роль в нашей повседневной жизни. Но при анализе снов, когда психолог имеет дело с проявлениями бессознательного, они очень существенны, так как являются корнями, хотя и почти незаметными, наших сознательных мыслей. Поэтому обычные предметы и идеи во сне могут приобретать столь мощное психическое значение, что мы можем проснуться в страшной тревоге, хотя, казалось бы, во сне мы не увидели ничего дурного — лишь запертую комнату или пропущенный поезд.

Образы, являющиеся в снах, намного более жизненны и живописны, чем соответствующие им понятия и переживания в яви. Одна из причин этого заключается в том, что во сне понятия могут выражать свое бессознательное значение. В своих результатах сознательных мыслей мы ограничиваем себя пределами рациональных утверждений — утверждений, которые значительно бледнее, так как мы снимаем с них большую часть психических связей.

Я вспоминаю свой собственный сон, который мне трудно было осмыслить. В этом сне некий человек пытался подойти ко мне сзади и запрыгнуть мне на спину. Я ничего о нем не знал кроме того, что однажды он подхватил мою реплику и лихо спародировал ее. И я никак не мог увидеть связи между этим фактом и его попыткой во сне прыгнуть на меня. В моей профессиональной жизни часто случалось так, что кто-нибудь искажал мысль, которую я высказывал, но едва ли мне пришло бы в голову рассердиться по этому поводу. Есть известная ценность в сохранении сознательного контроля над эмоциональными реакциями, и вскорости я добрался до сути этого сна. В нем использовалось австрийское ходячее выражение, переведенное в зрительный образ. Эта фраза, довольно распространенная в быту, — «ты можешь залезть мне на спину», означает следующее: «мне все равно, что ты говоришь обо мне». Американским эквивалентом подобного сна было бы: «иди, прыгни в озеро».

Можно было бы сказать, что сон представлялся символическим, поскольку он не выражал ситуацию непосредственно, но косвенно, с помощью метафоры, которую я сначала не мог понять. Когда подобное случается (а такое бывает часто), то это не преднамеренный «обман» сна, но всего лишь отражение недостатка в нашем понимании эмоционально нагруженного образного языка. В своем каждодневном опыте нам необходимо определять вещи как можно точнее, и поэтому мы научились отвергать издержки декоративной фантазии языка и мыслей, теряя таким образом качества, столь характерные для первобытного сознания. Большинство из нас склонно приписывать бессознательному те нереальные

психические ассоциации, которые вызывают тот или иной объект или идея. Первобытные же представители, со своей стороны, по-прежнему признают существование психических качеств за предметами внешнего мира; они наделяют животных, растения или камни силами, которые мы считаем неестественными и неприемлемыми.

Обитатель африканских джунглей воспринимает ночное видение в лице знахаря, который временно принял его очертания. Или он принимает его за лесную душу, или духа предка своего племени. Дерево может играть жизненно важную роль в судьбе дикаря, очевидно, передавая ему свою собственную душу и голос, и со своей стороны сам человек сопряжен с чувством, что он разделяет его судьбу, судьбу дерева. В Южной Америке есть индейцы, убежденные, что они попугаи красный арапа, хотя и знают, что у них нет перьев, крыльев и клюва. Для дикаря предметы не имеют столь отчетливых границ, какие они приобретают в наших «рациональных обществах».

То, что психологи называют психической идентичностью или «мистическим участием», устранено из нашего предметного мира. А это как раз и есть тот нимб, тот ореол бессознательных ассоциаций, который придает такой красочный и фантастический смысл первобытному миру. Мы утратили его до такой степени, что при встрече совершенно не узнаем. В нас самих подобные вещи умещаются ниже порога восприятия; когда же они случайно выходят на поверхность сознания, мы считаем, что здесь уже не все в порядке.

Неоднократно мне приходилось консультировать высокообразованных и интеллигентных людей, которые видели глубоко потрясшие их сны, сталкивались с фантазиями или видениями. Они считали, что никто в здравом уме и трезвой памяти ничего подобного испытывать не может, а тот, кто все же сталкивается с подобным, явно не в своем уме. Один богослов однажды сказал мне, что видения Иезекииля не что иное как болезненные симптомы, и что когда Моисей и другие пророки слышали «голоса», они страдали от галлюцинаций. Можете себе представить весь его ужас, когда нечто подобное «неожиданно» произошло с ним. Мы настолько привыкли к «очевидно» рациональной природе нашего мира, что уже не можем представить себе ничего выходящего за рамки здравого смысла. Дикарь, сталкиваясь с шокирующими явлениями, не сомневается в собственной психической полноценности; он размышляет о фетишах, духах или богах.

Однако наши эмоции, в сущности, те же. Ужасы, порождаемые нашей рафинированной цивилизацией, могут оказаться еще более угрожающими,

чем те, которые дикари приписывают демонам. Порой положение современного цивилизованного человека напоминает мне одного психического больного из моей клиники, который сам некогда был врачом. Однажды утром я спросил его, как дела. Он ответил, что провел изумительную ночь, дезинфицируя небо сулемой, но в ходе такой санитарной обработки Бога ему обнаружить не удалось. Здесь мы имеем налицо невроз или нечто похуже. Вместо Бога или «страха Бога» оказывается невроз беспокойства или фобия. Эмоция осталась по сути той же, но ее объект переменяет к худшему и название и смысл.

Вспоминается профессор философии, который однажды консультировался у меня по поводу раковой фобии. Он был убежден, что у него злокачественная опухоль, хотя десятки рентгеновских снимков ничего подобного не подтверждали. «Я знаю, что ничего нет, — сказал он, — но ведь могло бы быть». Откуда могла возникнуть подобная мысль? Очевидно, она появилась вследствие страха, внушенного явно неосознанным размышлением. Болезненная мысль овладела им и держала под своим собственным контролем.

Образованный человек, допустить подобное ему было труднее, чем дикарю пожаловаться, что досаждают духи. Злобное влияние злых духов — в первобытной культуре, по крайней мере, допустимое предположение, но цивилизованному человеку нужно весьма глубоко переживать, чтобы согласиться, что его неприятности — всего лишь дурацкая игра воображения. Первобытное явление «наваждения» не растворилось в цивилизации, оно осталось таким же. Лишь толкуется иным, менее привлекательным, образом.

Я произвел несколько сравнений между современным человеком и дикарем. Подобные сравнения, как я покажу ниже, существенны для понимания символических склонностей человека и той роли, которую играют сны, выражающие их. Обнаружилось, что многие сны представляют образы и ассоциации, аналогичные первобытным идеям, мифам и ритуалам. Это сновидческие образы были названы Фрейдом «архаическими пережитками», само выражение предполагает, что они являются психическими элементами, «выжившими» в человеческом мозгу в течении многих веков. Эта точка зрения характерна для тех, кто рассматривает бессознательное лишь как придаток к сознанию (или, более образно, как свалку, куда сбрасывают все, от чего отказалось сознание). Дальнейшее исследование показало, что такое отношение несостоятельно, и должно быть отвергнуто. Я обнаружил, что ассоциации и образы подобного рода являются интегральной частью бессознательного и могут

возникать везде — вне зависимости от образованности и степени ума человека. И эти ассоциации и образы ни в кое мере не безжизненные или бессмысленные «пережитки». Они до сих пор живут и действуют, оказываясь особенно ценными в силу своей «исторической» природы. Они образуют мост между теми способами, которыми мы сознательно выражаем свои мысли, и более примитивной, красочной и живописной формой выражения. Но эта форма обращена непосредственно к чувству и эмоциям. Эти «исторические» ассоциации и есть звено, связывающее рациональное сознание с миром инстинкта.

Я уже обсуждал любопытный контраст между «контролируемыми» мыслями в состоянии бодрствования и богатством воображения во снах. Здесь можно увидеть еще одну причину подобной разницы. Поскольку в своей цивилизованной жизни мы лишили множество идей эмоциональной энергии, то больше на них не реагируем. Мы пользуемся ими в речи и в общем-то реагируем, когда их используют другие люди, но они не производят на нас значимого впечатления. Требуется нечто большее, чтобы воздействовать на нас более эффективно с целью заставить нас изменить свои установки и свое поведение. Но это как раз то, что и делает «язык снов», он несет столько психической энергии, что вынуждает нас обращать на него внимание.

Была у меня, например, дама, известная своим глупыми предрассудками и упорным сопротивлением каким-либо разумным выводам. С ней можно было спорить хоть весь вечер безо всякого результата, — она ничего не принимала во внимание. Однако ее сны приняли совсем другое направление. Однажды ей приснился сон, в котором она была приглашена в гости по очень важному общественному поводу. Ее приветствовала хозяйка со словами: «Как мило, что вы пришли. Все ваши друзья здесь и ждут вас». Хозяйка подвела ее к двери и открыла ее, сновидица шагнула вперед и попала — в коровник! Язык сна был в данном случае достаточно прост и понятен даже самому несведущему. Женщина поначалу не хотела принять во внимание содержание своего сна, который попросту поразил ее самомнение и в конце концов достиг своей цели. Спустя некоторое время она все же признала его смысл, но так и не смогла понять причину собственной самоиздевки.

Такие послания из бессознательного имеют большее значение, чем это осознает большинство людей. В своей сознательной жизни мы подвержены самым различным видам воздействий. Окружающие нас люди стимулируют или подавляют нас, события на службе или в общественной жизни отвлекают от собственной жизни. Вместе и порознь они сбивают нас

с пути, свойственного нашей индивидуальности. В любом случае, признаем ли мы или нет то или иное действие, которое они оказывают на наше сознание, оно уже растревожено и в известной степени подчинено этим событиям. Особенно сильно это проявляется у лиц с ярко выраженной экстравертивной установкой или у тех, кто вынашивает чувство неполноценности и сомнения в своей личной значимости.

Чем дольше сознание пребывает под влиянием предрассудков, ошибок, фантазий и инфантильных желаний, тем больше будет возрастать уже существующая роль невротической диссоциации и вести в итоге к более или менее неестественной жизни, далекой от здоровых инстинктов, природного естества и простоты. Общая функция снов заключается в попытке восстановить наш психический баланс посредством производства сновидческого материала, который восстанавливает — весьма деликатным образом — целостное психическое равновесие. Я назвал бы это дополнительной (или компенсаторной) ролью снов в нашей психической жизни. Этим объясняется, почему люди с нереальными целями, или слишком высоким мнением о себе, или строящие грандиозные планы, не соответствующие их реальным возможностям, видят во сне полеты и падения. Сон компенсирует личностные недостатки и в то же время предупреждает об опасности неадекватного пути. Если же предупредительные знаки сновидения игнорируются, то может произойти реальный несчастный случай. Жертва может упасть с лестницы или попасть в автомобильную катастрофу.

Вспоминается случай с человеком, запутавшимся в большом количестве сомнительных афер. У него развилась почти болезненная страсть к альпинизму, в виде компенсации. Он все время искал, куда бы «забраться повыше себя». Однажды ночью во сне он увидел себя шагающим с вершины высокой горы в пустоту. Когда он рассказал свой сон, я сразу же увидел опасность и попытался предупредить ее, убеждая его ограничить свои восхождения. Я даже сказал, что сон предвещает его смерть в горах. Но все было напрасно. Через шесть месяцев он таки шагнул «в пустоту». Горный проводник наблюдал за тем, как он и его друг спускались по веревке в одном трудном месте. Друг обнаружил временную опору для ноги на карнизе, и сновидец последовал за ним вниз. Вдруг он ослабил веревку и, по словам гида, «словно прыгнул в воздух». Он упал на своего друга, оба полетели вниз и разбились.

Другой типичный случай произошел с одной дамой, чрезмерно высококонрастной. Днем она пребывала в надменности и высокомерии, зато по ночам ей виделись сны, наполненные самыми разнообразными

непристойностями. Когда я заподозрил их наличие, дама с возмущением отказалась это признать. Но сны меж тем продолжались, и их содержание стало более угрожающим и отсылающим к прогулкам, которые эта женщина привыкла совершать по лесу и во время которых она предавалась своим фантазиям. Я усмотрел в этом опасность, но она не прислушалась к моим предостережениям. Вскорости в лесу на нее напал сексуальный маньяк, и только вмешательство людей, услышавших ее крики о помощи, спасло ее от неминуемого убийства. Никакой магии в этом нет. Сами сны указывали на то, что эта женщина испытывала тайную страсть к такого рода приключениям, — точно так же, как и альпинист искал выхода из своих трудностей. Разумеется, никто из них не рассчитывал заплатить столь высокую цену: у нее оказались сломанными несколько костей, а он и вовсе расстался с жизнью.

Таким образом, сны могут иногда оповещать о некоторых ситуациях задолго до того, как те произойдут в действительности. И это вовсе не чудо или мистическое предсказание. Многие кризисы в нашей жизни имеют долгую бессознательную историю. Мы проходим ее шаг за шагом, не сознавая опасности, которая накапливается. Но то, что мы сознательно стараемся не замечать, часто улавливается нашим бессознательным, которое передает информацию в виде снов. Сны часто предупреждают нас подобным образом, хотя далеко не всегда. Наивным было бы поэтому считать, что существует благодетельная «рука», которая нас всегда и все время останавливает. Выражаясь определеннее, служба добродетели иногда работает, а иногда и нет. Таинственная рука может даже указать дорогу к гибели, иногда сны кажутся ловушками, каковыми и оказываются на самом деле. Порой они ведут себя как дельфийский оракул, который предвещал царю то, что, перейдя реку Халис, он разрушит огромное царство. Только после того, как он был полностью побежден в битве, выяснилось, что это царство было его собственное.

Имея дело со снами, не следует становиться наивным. Они зарождаются в духе, который носит не вполне человеческий характер, а является скорее дыханием природы — дух прекрасного и благородного, равно как и жестокого божества. Чтобы охарактеризовать этот дух, следует скорее приблизиться к миру древних мифологий или к сказкам первобытного леса, чем к сознанию современного человека. Я вовсе не отрицаю великих достижений, происшедших в результате эволюции общества. Но эти достижения были достигнуты ценой больших потерь, степень которых мы только сейчас начинаем осознавать и оценивать. Отчасти целью моих сравнений между первобытным и цивилизованным

состоянием человека является показ баланса этих потерь и приобретений.

Первобытный человек управлялся главным образом своими инстинктами, в отличие от его «рационализированных» современных потомков, научившихся себя «контролировать». В процессе цивилизации мы все более отделяли наше сознание от глубинных инстинктивных слоев психического и, в конечном счете, от соматической основы психических явлений. К счастью, мы не утратили эти основные инстинктивные слои; они остались частью бессознательного, хотя и могут выражать себя лишь в форме образов сна. Эти инстинктивные явления — их, между прочим, не всегда можно признать за таковые, поскольку они носят символический характер, — играют жизненно важную роль в том, что я назвал компенсаторной ролью снов.

Для сохранения постоянства разума и, если угодно, физиологического здоровья, бессознательное и сознание должны быть связаны самым тесным образом, двигаться параллельными путями. Если же они расщеплены или «диссоциированы», наступает психологическая нестабильность. В этом отношении символы сна — важные посланники от инстинктивной к рациональной составляющей человеческого разума, и их интерпретация обогащает нищету сознания, так как она учит его снова понимать забытый язык инстинктов.

Конечно, люди склонны сомневаться в подобной функции снов, поскольку символы зачастую проходят незамеченными или непонятыми. В обычной жизни понимание снов рассматривается как ненужное занятие. Это можно проиллюстрировать моими исследованиями первобытного племени в Восточной Африке. К моему удивлению, туземцы отрицали, что видят какие-либо сны. Но постепенно, в результате терпеливых ненастойчивых бесед с ними я убедился, что они так же, как и все, видят сны, но что они убеждены, что их сны никакого смысла не имеют. «Сны обычного человека ничего не значат», — говорили они. Они считали, что только сны вождей и знахарей могут что-то означать; от этих людей зависит благосостояние племени, соответственно и их сны получали определенный смысл. Правда, и здесь возникла трудность, — вождь и знахарь заявили, что в настоящее время у них осмысленных снов нет. Дату их утраты они относили ко времени, когда англичане пришли в их страну. Теперь миссию «великих снов» взял на себя окружной комиссар, английский чиновник, ведающий их делами, — его «сны и направляют» поведение племени.

Когда туземцы все же признали, что видят сны, но считают их ничего не значащими, они напоминали вполне современного человека, который убежден, что сон — полная глупость, поскольку в нем он ничего не понял.

Но даже и цивилизованный человек может заметить, что сон (который он может даже забыть) способен изменить его поведение в лучшую или худшую сторону. Сон в таком случае был «воспринят», но только лишь подсознательным образом. И так обычно и происходит. Только в очень редких случаях, когда сон особенно впечатляющ или повторяется через регулярные интервалы, большинство считает его разгадку необходимой.

Здесь следует сделать предупреждение относительно невежественного или некомпетентного анализа снов. Существуют люди, чье психическое состояние настолько нестабильно, что расшифровка их снов может оказаться крайне рискованной; в таких случаях слишком одностороннее сознание отрезано от соответствующего иррационального или «безумного» бессознательного, и этих обоих не должно сводить вместе без соответствующей подготовки.

В более широком смысле было бы большой глупостью допустить, что существует готовый систематический истолкователь снов, который достаточно лишь купить и найти в нем соответствующий символ. Ни один символ сна не может быть взят отдельно от человека, этот сон видевшего, как нет и единой и однозначной интерпретации любого сна. Каждый человек настолько отличается в выборе путей, которыми его бессознательное дополняет или компенсирует сознание, что совершенно невозможно быть уверенным, что сны и их символика могут быть хоть как-то классифицированы.

Правда, есть сны и отдельные символы (я бы предпочел назвать их «мотивами») достаточно типичные и часто встречающиеся. Среди таких мотивов наиболее часты падения, полет, преследование хищными зверями или врагами, появление в публичных местах в голом или полуголом виде или в нелепой одежде, состояние спешки или потерянности в неорганизованной толпе, сражение в безоружном состоянии или с негодным оружием, изматывающее убегание в никуда. Типичным инфантильным мотивом является сон с вырастанием до неопределенно больших размеров или уменьшением до неопределенно малых, или переходом одного в другое, — что мы встречаем, к примеру, у Льюиса Кэрролла в «Алисе в стране чудес». Но следует подчеркнуть, что эти мотивы необходимо рассматривать в контексте всего сна, а не в качестве самообъясняющих шифров.

Повторяющийся сон — явление особое. Есть случаи, когда люди видят один и тот же сон с раннего детства до глубокой старости. Сон такого рода является попыткой компенсировать какой-либо отдельный дефект в отношении сновидца к жизни; или же он может совершаться в следствие

травматического момента, который оставил по себе определенную предвзятость, предубеждение, нанес какой-то вред. Иногда такой сон может предупредить о каком-то важном событии в будущем.

Несколько лет подряд я сам видел во сне мотив, в котором я «открывал» в своем доме жилые пространства, о существовании которых и не подозревал. Иногда это были комнаты, в которых жили мои давно умершие родители, в которых мой отец, к моему удивлению, оборудовал лаборатории и изучал там сравнительную анатомию рыб, а мать держала отель для посетителей—призраков. Как правило, это неведомое мне доселе гостевое крыло представляло древнюю историческую постройку, давно забытую, и, однако, унаследованную мною собственность. Внутри находилась интересная античная мебель, и ближе к концу этой серии снов я находил старую библиотеку с неизвестными книгами. В конце концов, в последнем сне, я раскрыл одну из книг и обнаружил там изобилие прекрасно выполненных символических рисунков. Я проснулся с бьющимся от возбуждения сердцем.

Несколько раньше, до того как я увидел этот заключительный сон из серии, я заказал букинисту одну из классических компиляций средневековых алхимиков. Просматривая литературу, я обнаружил цитату, имевшую, как я думал, связь с ранней византийской алхимией, и пожелал проверить ее. Спустя несколько недель после того как я увидел во сне неизвестную книгу, пришел пакет от книготорговца. В нем находился пергаментный том, датированный XVI в. Он был иллюстрирован очаровательными символическими рисунками, которые сразу же напомнили мне те рисунки, которые я видел во сне.

В смысле переоткрытия принципов алхимии, входящих составной частью в переосмысливаемую мной психологию, мотив повторяющегося сна достаточно ясен. Сам дом являл символ моей личности и область ее сознательных интересов, а неизвестная пристройка представляла собой предвосхищение новой области интересов и поисков, о которых сознание в тот момент ничего не ведало. Больше этого сна — а прошло свыше 30 лет — я никогда не видел.

Анализ снов

Я начал эту работу, отметив разницу между знаком и символом. Знак всегда меньше, нежели понятие, которое он представляет, в то время как символ всегда больше, чем его непосредственный очевидный смысл. Символы к тому же имеют естественное и спонтанное происхождение. Ни один гений не садился с пером или кистью в руке, приговаривая: «Вот сейчас я изобрету символ». Невозможно рационализировать мысль, достигая ее логически или намеренно, и лишь затем придавать ей «символическую» форму. Неважно, какую фантастическую оснастку можно нацепить на идею, она все равно остается знаком, связанным с сознательной мыслью, стоящей за ним, но не символом, намекающим на нечто еще неизвестное. В снах символы возникают спонтанно, поскольку сны случаются, а не изобретаются; следовательно, они являются главным источником нашего знания о символизме.

Но следует отметить, что символы проявляются не только в снах. Они возникают в самых разнообразных психических проявлениях. Существуют символические мысли и чувства, символические поступки и ситуации. Порой кажется, что даже неодушевленные предметы сотрудничают с бессознательным по части образования символических образов. Таковы многочисленные, хорошо засвидетельствованные случаи остановки часов в момент смерти их владельца. В качестве примера можно указать на случай маятниковых часов Фридриха Великого в Сан-Суси, которые остановились, когда император умер. Другие распространенные случаи — зеркала, дающие трещину, картины, падающие в момент смерти, или маленькие необъяснимые поломки в доме, в котором у кого-то наступил эмоциональный шок или кризис. Даже если скептики отказываются верить таким сообщениям, истории подобного рода все равно возникают и множатся, и уже одно это должно послужить доказательством их психологической значимости.

Существует много символов, являющихся по своей природе и происхождению не индивидуальными, а коллективными. Главным образом это религиозные образы. Верующий полагает, что они божественного происхождения, что они даны человеку в откровении. Атеист или скептик заявит, что они попросту изобретены, придуманы, но оба окажутся не правы. Верно то, как полагает скептик, что религиозные символы и понятия являлись предметами самой тщательной и вполне сознательной

разработки в течение веков. Равно истинно — так считает верующий — что их происхождение столь глубоко погребено в тайнах прошлого, что кажется очевидным их внечеловеческое происхождение. Фактически же они суть «коллективные представления», идущие из первобытных снов и творческих фантазий. Как таковые эти образы представляют спонтанные проявления и уж никоим образом не преднамеренные изобретения.

Как я постараюсь показать ниже, это обстоятельство имеет прямое и важное отношение к толкованию снов. Если вы считаете сон символическим, то очевидно, вы будете интерпретировать его иначе, чем человек верящий, что энергия мысли или эмоции известна заранее и лишь «переодета» сном. В таком случае толкование сна почти не имеет смысла, поскольку вы обнаруживаете лишь то, что заранее было известно.

По этой причине я всегда повторял ученикам: «Выучите все, что можно, о символизме, но забудьте все, когда интерпретируете сон». Этот совет важен практически, и время от времени я напоминаю себе, что никогда не смогу достаточно хорошо понять чей-нибудь сон и истолковать его правильно. Я делаю это, чтобы проверить поток своих собственных ассоциаций и реакций, которые могут начать преобладать над неясной смутой и колебаниями пациента. Поскольку аналитику наиболее важно воспринять как можно более точно специфический смысл сна (т.е. вклад, который бессознательное привносит в сознание), ему необходимо исследовать сон весьма тщательно.

Когда я работал с Фрейдом, мне приснился сон, который может это проиллюстрировать. Снилось мне, что я «дома», на втором этаже в уютной гостиной, меблированной в стиле XVIII в. Я удивлен, потому что раньше никогда этой комнаты не видел, и мне интересно, на что похож первый этаж. Я спускаюсь вниз и обнаруживаю, что там довольно-таки темно, а само помещение содержит стенные панели и мебель, датированную XVI в., а возможно, и более раннюю. Мои удивление и любопытство нарастают. Я хочу увидеть, как устроен весь дом. Спускаюсь в подвал, нахожу дверь, за ней каменную лестницу, ведущую в большую подвальную комнату. Пол выстлан большими каменными плитами, стены выглядят совсем древними. Я исследую известковый раствор и нахожу, что он смешан с битым кирпичом. Очевидно, что стены относятся к эпохе Римской империи. Мое возбуждение нарастает. В углу в каменной плите я вижу железное кольцо. Вытягиваю плиту вверх — передо мной еще один узкий марш лестницы, ведущей вниз, в какую-то пещеру, кажущуюся доисторической могилой. На дне ее лежат два черепа, несколько костей и немного битой керамики. Тут я просыпаюсь.

Если бы Фрейд при анализе этого сна следовал моему методу изучения его специфических ассоциаций и контекста, то услышал бы очень длинную историю. Но боюсь, что отверг бы ее как попытку уйти от проблемы, которая в действительности была его собственной. Фактически сон представлял резюме моей жизни и более специфично – моего ума. Я вырос в доме, возраст которого составлял 200 лет, мебель была трехсотлетней давности, и к тому моменту моим важным духовным достижением было изучение философии Канта и Шопенгауэра. Величайшей новостью являлись труды Чарлза Дарвина. Незадолго до этого я все еще жил со средневековыми представлениями своих родителей, у которых мир и люди управлялись божественным всемогуществом и провидением. Теперь же этот взгляд ушел в прошлое. Мое христианство сделалось весьма относительным после встречи с восточными религиями и греческой философией. По этой причине на первом этаже все выглядело таким темным, тихим и ненаселенным.

Тогдашние мои исторические интересы развились на основе первоначальных занятий сравнительной анатомией и палеонтологией во время работы ассистентом в Анатомическом институте. Меня увлекли находки ископаемых людей, в частности, много обсуждавшегося Неандертальца, а также весьма сомнительного черепа Питекантропа Дюбуа [\[14\]](#). Фактически это и были мои реальные ассоциации во сне, но я не осмелился упомянуть о черепахах, скелетах и костях Фрейду, потому что знал, что эту тему лучше не затрагивать. У него жила подспудная идея, что я предчувствую его раннюю смерть. Он сделал этот вывод из того, что я высказал явный интерес к мумифицированным трупам, обнаруженным в так называемом местечке Блейкеллер [\[15\]](#), в Бремене, который мы вместе посетили в 1909 г., по пути на корабль, отправлявшийся в Америку. Поэтому я и не хотел возникать со своими собственными идеями.

Слишком сильное впечатление произвел тот недавний опыт, показавший почти непреодолимую пропасть между нашими взглядами. Я не хотел терять его расположение и дружбу, открывая свой собственный мир, который, я полагал, был бы ему странен. Чувствуя себя весьма неуверенно, я почти автоматически солгал ему насчет моих «свободных ассоциаций», чтобы избежать невыполнимой задачи знакомства с моим очень личным и совершенно отличным внутренним устройством.

Следует извиниться за этот довольно длинный рассказ о щекотливом положении, в которое я попал, рассказав Фрейду свой сон. Но это хороший пример тех трудностей, с которыми сталкивается всякий, кто занимается

реальным анализом снов. Многое зависит от разницы в типе личности аналитика и анализируемого.

Вскоре я понял, что Фрейд ищет во мне какое-нибудь несовместимое желание. Для пробы я предположил, что черепа, которые я видел, могли относиться к некоторым членам моей семьи, чьей смерти по каким-то причинам я мог желать. Это было встречено с одобрением, но я не удовлетворился этим по сути ложным ходом. Когда же я попытался найти подходящие ответы на вопрос Фрейда, то был внезапно ошарашен мыслью о той роли, которую субъективный фактор играет в психологическом понимании. Мое прозрение было столь ошеломляющим, что я подумал лишь о том, как бы выбраться из этой трудной ситуации, и не нашел ничего лучшего, как попросту солгать. Моральные соображения уступили перед угрозой крупной ссоры с Фрейдом, чего я совершенно не желал по множеству причин.

Суть прозрения же состояла из понимания, что мой сон вносит смысл в меня самого, в мою жизнь и в мой мир, вопреки теоретическим построениям иного внешнего разума, сконструированного согласно собственным целям и задачам. Это был сон не Фрейда, а мой, и я, словно при вспышке света, понял его значение. Приведенный пример иллюстрирует главное в анализе снов. Сам анализ это не столько техника, которую можно выучить, а затем применять согласно правилам, сколько диалектический многосоставной обмен между двумя личностями. Если его проводить механически, то индивидуальная психическая личность теряется, и терапевтическая проблема сводится к простому вопросу: чья воля будет доминировать — пациента или аналитика?

По этой же причине я прекратил практику гипноза, поскольку не желал навязывать свою волю другим. Мне хотелось, чтобы исцеление исходило из личности самого пациента, а не путем моих внушений, которые могли иметь лишь преходящее значение. Я стремился защитить и сохранить достоинство и свободу своих пациентов, так, чтобы они могли жить в соответствии с собственными желаниями. В эпизоде с Фрейдом мне впервые стало ясно, что прежде чем строить общие теории о человеке и его душе, мы должны больше узнать о реальном человеческом устройстве, с которым имеем дело.

Индивид — это единственная реальность. Чем дальше мы уходим от него к абстрактным идеям относительно Хомо Сапиенса, тем чаще впадаем в ошибку. В наше время социальных переворотов и быстрых общественных изменений об отдельном человеке необходимо знать много больше, чем знаем мы, так как очень многое зависит от его умственных и моральных

качеств. Но если мы хотим видеть явления в правильной перспективе, нам необходимо понять прошлое человека так же, как и его настоящее. По этой причине понимание мифов и символов имеет существенное значение.

Проблема типов

Во всех прочих областях науки законно применение гипотез к безличным объектам. В психологии, однако, мы неизбежно сталкиваемся с живыми отношениями между индивидуумами, ни один из которых не может быть лишен своего личностного начала или как угодно деперсонализирован. Аналитик и пациент могут договориться обсуждать избранную проблему в безличной и объективной манере; но стоит им включиться в дело, их личности тотчас же выходят на сцену. И здесь всякий дальнейший прогресс возможен лишь в том случае, если достижимо взаимное согласие.

Возможно ли объективное суждение о конечном результате? Только если произойдет сравнение наших выводов со стандартами, принятыми в социальной среде, к которой принадлежат сами индивиды. Но даже и тогда мы должны принимать во внимание психическую уравновешенность (или здоровье) этих индивидов. Потому что результат не может быть полностью коллективным, нивелирующим в таком случае индивида, подверстывая его под «нормы» общества. Это равносильно совершенно ненормальным условиям. Здоровое и нормальное общество таково, что в нем люди очень редко соглашаются друг с другом, — общее согласие вообще довольно редкий случай за пределами инстинктивных человеческих качеств.

Несогласованность функций служит двигателем общественной жизни, но не это ее цель, — согласие в равной степени важно. Поскольку психология в основном зависит от баланса оппозиций, то никакое суждение не может быть сочтено окончательным, пока не принята во внимание его обратимость. Причина подобного факта заключена в том, что нет точки отсчета для суждения о том, что есть психика за рамками самой психологии.

Несмотря на то, что сны требуют индивидуального подхода, некоторые обобщения необходимы, чтобы помочь разяснить и классифицировать материал, который собирается психологом при изучении многих индивидов. Очевидно, невозможно сформулировать какую-либо психологическую теорию или обучить ей, описывая большое количество отдельных случаев без какой-либо попытки увидеть, что они имеют общего и в чем различны. В основу могут быть положены любые общие характеристики. Можно, например, довольно просто различать экстравертов и интровертов [\[16\]](#). Это только одно из многих обобщений, но

уже оно позволяет воочию увидеть трудности, которые возникают, если аналитик принадлежит одному типу, а пациент — другому.

Так как любой достаточно глубокий анализ снов ведет к конфронтации двух индивидов, то очевидно, что большое значение будет иметь принадлежность индивидов к определенному типу. Принадлежа к одному типу, они достаточно долго и счастливо могут плыть вместе. Но если один из них экстраверт, а другой — интроверт, их различные и противоречивые точки зрения могут столкнуться в любой момент, в особенности, если они пребывают в незнании относительно своего типа личности или убеждены, что их тип самый правильный (или единственно правильный). Экстраверт, например, будет выбирать точку зрения большинства, интроверт отвергнет ее, посчитав данью моде. Такое взаимонепонимание возникает весьма легко, поскольку ценности одного не являются таковыми для другого. Фрейд, например, рассматривал интровертность как болезненную обращенность индивида на себя. Но самонаблюдение и самопознание могут в равной степени быть ценнейшими и важными качествами личности.

Иметь в виду подобную разницу в типах личности жизненно необходимо при истолковании сновидений. Не следует полагать, что аналитик — некий супермен, обладающий истиной вне этих различий лишь потому, что он доктор, постигший психологическую науку и соответствующую технику исцеления. Он может лишь воображать себя высшим в той степени, в какой полагает абсолютно истинными свою науку и технику. Поскольку подобное более чем сомнительно, то никакой абсолютной уверенности здесь быть не может. Соответственно, у аналитика будут свои тайные сомнения, если он столкнет человеческую целостность своего пациента с теорией и техникой (которые, в сущности, являются гипотезой), а не со своей живой целостностью.

Целостная личность аналитика — единственный адекватный эквивалент личности его пациента. Психологический опыт и знание всего лишь некоторые преимущества на стороне аналитика, не более. Они не уберегут его от сражения, в котором он будет испытан так же, как и его пациент. Окажутся ли их личности конфликтными, гармоничными или взаимодополняющими, — вот что существенно в данном случае.

Экстраверсия и интроверсия — всего лишь две из многих особенностей человеческого поведения. Но именно они довольно часто узнаваемы и очевидны. Изучая индивидов—экстравертов, например, довольно скоро можно обнаружить, что они во многих отношениях отличаются друг от друга, и экстравертность оказывается слишком

поверхностной и общей характеристикой. Вот почему уже давно я пытаюсь найти некоторые другие основные характеристики, которые могли бы служить целям упорядочения явно безграничных колебаний человеческой индивидуальности.

Меня всегда впечатлял тот факт, что существует удивительное число людей, которые никогда не применяют свой мозг к делу, если этого можно избежать, и одинаковое с ними количество людей, которые непременно им воспользуются, но поразительно глупым образом. Столь же удивительным для меня было обнаружить достаточно много образованных и широко мыслящих людей, которые живут, словно не умея пользоваться своими органами чувств (насколько это можно заметить). Они не замечают вещей перед своими глазами, не слышат слов, звучащих у них в ушах, не замечают предметов, которые трогают или пробуют на вкус. Некоторые живут, не замечая, не осознавая своего собственного тела.

Есть и другие, которые, казалось бы, живут в странном режиме своего сознания, будто состояние, в котором они сегодня оказались, было окончательным, постоянным, без какой-либо возможности перемен. Словно мир и психика статичны и остаются таковыми вечно. Они, казалось бы, избегали любого вида воображения и всецело зависели от непосредственного восприятия. В их мире отсутствовал случай или возможность чего-нибудь, и в «сегодня» не было ни атома «завтра». Будущее оказывалось простым повторением прошлого.

Я пытаюсь дать здесь эскиз первых впечатлений, когда я начал изучать тех людей, которых встречал. Скоро, однако, мне стало ясно, что те, кто пользовался разумом, были теми, кто думал, т.е. применял свои интеллектуальные способности, пытаясь адаптировать себя к людям и обстоятельствам. Но равно интеллигентными оказались и те люди, которые не думали, а отыскивали и находили свой путь с помощью чувства.

«Чувство» — это слово, которое нуждается в некотором пояснении. К примеру, кто-то говорит о чувстве, имея в виду «переживание» (соответствует французскому «сентимент»). Но его также можно использовать и для выражения мнения; к примеру, сообщение из Белого Дома может начинаться: «Президент чувствует...». Это слово может использоваться и для выражения интуиции: «У меня такое чувство, что...».

Когда я пользуюсь словом «чувство» в противовес слову «мысль», то имею в виду суждение о ценности, например, приятно или неприятно, хорошо или плохо и т.д. Чувство, согласно этому определению, не является эмоцией (последнее, следуя этимологии э-мошон — движение, произвольно). Чувство, как я это понимаю (подобно мышлению),

рациональная (т.е. управляющая) функция, в то время как интуиция есть иррациональная (т.е. воспринимающая) функция. В той степени, в какой интуиция есть «предчувствие», она не является результатом намеренного действия, это скорее произвольное событие, зависящее от различных внутренних и внешних обстоятельств, но не акт суждения. Интуиция более схожа с ощущением, являющимся также иррациональным событием постольку, поскольку оно существенно зависит от объективного стимула, который обязан своим существованием физическим, а не умственным причинам.

Эти четыре функциональных типа соответствуют очевидным средствам, благодаря которым сознание получает свою ориентацию в опыте. Ощущение (т.е. восприятие органами чувств) говорит нам, что нечто существует; мышление говорит, что это такое; чувство отвечает, благоприятно это или нет, а интуиция оповещает нас, откуда это возникло и куда уйдет.

Читатель должен понять, что эти четыре типа человеческого поведения — просто четыре точки отсчета среди многих других, таких, как воля, темперамент, воображение, память и т.д. В отношении названных нет ничего догматического, раз и навсегда усвоенного, они рекомендуются лишь в качестве возможных критериев для классификации. Я считаю их особенно полезными, когда пытаюсь объяснить детям их родителей, женам — их мужей и наоборот. Они также полезны для понимания наших собственных предрассудков.

Так что, если вы хотите понять сон другого человека, вы должны пожертвовать своими пристрастиями и подавить свои предрассудки. Это не так легко или удобно, поскольку требует морального усилия, которое не каждому по вкусу. Но если аналитик не сделает определенного усилия и не подвергнет критике свою точку отсчета, признавая ее относительность, он никогда не соберет верной информации и не углубится достаточно полно в сознание пациента. Аналитик ожидает, по крайней мере, от пациента некоторого желания выслушать его мнение и принять его всерьез, но и пациенту должно быть гарантировано такое же право. Хотя подобные отношения обязательны для любого понимания и, следовательно, самоочевидны, приходится напоминать об этом всякий раз, — в терапии понимание пациента важнее теоретических ожиданий аналитика. Сопроотивление пациента толкованию аналитика не является с необходимостью неверным, это скорее верный признак того, что что-то не «стыкуется». Либо пациент еще не достиг точки понимания, либо не подходит интерпретация.

В наших усилиях понять символы сна другого человека мы почти неизменно наталкиваемся на нашу тенденцию заполнять неизбежные провалы нашего понимания проекцией, т.е. предположением, что то, что ощущает и думает аналитик, соответствует мысли и чувству пациента. Дабы преодолеть этот источник ошибок, я всегда настаивал на важности строгого ограничения контекстом самого сна и на исключении всех теоретических предположений относительно снов вообще, за исключением гипотезы, что сны содержат некий смысл.

Из всего того, что я сказал, должно быть ясно, что не существует общих правил для толкования сновидений. Когда ранее я предположил, что всеобщая функция снов заключается в компенсации недостатков и искажений сознания, то подразумевал при этом многообещающий подход к природе отдельных сновидений, открывающийся при подобного рода предположении. В некоторых случаях эта функция проявляется довольно отчетливо.

Один из моих пациентов был весьма высокого мнения о себе, не догадываясь при этом, что почти каждый, кто его знал, раздражался этим видом его морального превосходства. Он пришел ко мне со сновидением, в котором ему представлялся пьяный бродяга, валявшийся в канаве, — зрелище, побудившее его лишней раз произнести снисходительное замечание: «Страшно видеть, как низко может пасть человек».

Было очевидно, что неприятный сон отчасти и по крайней мере был попыткой компенсировать его преувеличенное мнение о своих собственных заслугах. Но было там и нечто большее. Оказалось, что у него был брат, опустившийся алкоголик. Сон обнаружил также, что возвышенная установка компенсировала наличие такого брата, как внешний, так и внутренний образ.

В другом случае я вспоминаю женщину, гордившуюся своим пониманием (знанием) психологии, которой периодически снилась другая женщина. Когда она встретила ее наяву в повседневной жизни, то та ей не понравилась, показалась суетной и нечестной интриганкой. Тем не менее в снах она появлялась дружественной и милой, почти как сестра. Моя пациентка не могла понять, почему во сне она видит в таком благоприятном виде человека, которого в жизни явно не любит. Но эти сны были способом провести мысль о том, что ей самой присущи некоторые «теневые» [\[17\]](#) бессознательные черты, схожие с той женщиной. Пациентке было трудно признать это, поскольку у нее имелись весьма четкие представления о своей личности, а здесь требовалось осознать, что сон рассказывает о ее собственном комплексе власти и скрытых мотивах — бессознательных

влечениях, не раз приводивших ее к неприятным ссорам с друзьями. Ссорам, в которых она винила всегда других, а не себя.

Но не только «теневую» сторону нашей личности мы не замечаем, игнорируем и подавляем. Мы проделываем то же самое и с нашими положительными качествами. В качестве примера вспоминается один весьма скромный, легко смущающийся молодой человек с приятными манерами. Он всегда казался довольствующимся второстепенной ролью, но непременно настаивал лишь на своем присутствии. Когда его просили что-нибудь сказать, он излагал продуманные суждения, но никогда не навязывал их. Иногда он, правда, намекал, что тот или иной вопрос можно было бы рассматривать и на другом, более высоком, уровне (хотя никогда не объяснял, как).

В своих снах, однако, он постоянно сталкивался с великими историческими фигурами, такими, как Наполеон или Александр Македонский. Эти сны явно компенсировали его комплекс неполноценности. Но они подразумевали и нечто другое. Кто же я таков, спрашивал сон, если у меня такие знаменитые гости? В этом смысле сон указывал на скрытую мегаломанию, компенсировавшую чувство неполноценности. Бессознательная идея величия изолировала его от реальности окружающих его людей и позволяла пребывать вне обязательств, неукоснительных для других. Он не ощущал необходимости доказывать — самому себе или другим, — что его высокое суждение зиждется на высоком достоинстве.

Бессознательно он играл в нездоровую игру, о чем его пытались поставить в известность его же сны, причем весьма двусмысленным образом. Панибратская компания с Наполеоном и беседы с Александром Македонским как раз относятся к числу фантазий, развивающихся при комплексе неполноценности. Но можно спросить, почему же сон не сделал это прямым образом и не высказал открыто то, что следовало сказать, а прибег к двусмысленности?

Мне часто задавали этот вопрос, об этом же спрашивал себя и я сам. Порой я поражался, каким мучительным способом сны стремятся избежать определенной информации или опустить решающий момент. Фрейд предположил наличие специальной психической функции, которую назвал «цензором». Цензор, считал он, искажает образы сна, делает их неузнаваемыми или вводящими в заблуждение с тем, чтобы обмануть спящее сознание относительно действительного содержания сна. Скрывая неприятную мысль от спящего, «цензор» защищает его сон от шока неблагоприятных реминисценций. Но я отношусь к этой идее

скептически, — сновидение вовсе не охраняет сон как процесс; сновидения равным образом могут нарушить сон.

Скорее это выглядит таким образом, что приближение к сознанию оказывает «стирающее» воздействие на подпороговое содержание психики. Подпороговое состояние удерживает идеи и образы на более низком уровне напряжения, чем они имеют его в сознании. В подпороговом состоянии они теряют четкость определенности, отношения между ними становятся менее последовательными, более неопределенно схожими, менее рациональными и, следовательно, более «неизъяснимыми». Во всех состояниях, близких ко сну, связанных с усталостью, болезнью или интоксикацией, можно увидеть то же самое. Но если происходит нечто, придающее этим образам большее напряжение, они делаются менее подпороговыми и по мере приближения к порогу сознания становятся более определенными.

Отсюда можно понять, почему сны зачастую выражают себя аналогиями, почему образы снов переходят один в другой и почему неприменимыми к ним становятся логика и временные масштабы повседневной жизни. Форма, которую принимают сны, естественна для бессознательного, потому что материал, из которого они сотканы, наличествует в подпороговом состоянии именно в таком виде. Сны не охраняют спящих от того, что Фрейд назвал «несовместимым желанием». То, что он считал «маскировкой», есть по существу форма, которую в бессознательном приобретают все импульсы. Поэтому сон не может продуцировать определенную мысль, если он начинает это делать, он перестает быть сном, поскольку при этом пересекается порог сознания. Вот почему сны упускают те самые моменты, которые наиболее важны для сознающего разума и скорее манифестируют «край сознания» аналогично слабому блеску звезд во время полного затмения солнца.

Мы должны понять, что символы сна являются по большей части проявлениями той сферы психического, которая находится вне контроля сознательного разума. Смысл и целенаправленность не есть прерогативы разума, они действуют во всяком живом организме. Нет принципиальной разницы между органическим и психическим развитием. Так же, как растение приносит цветы, психическое рождает свои символы. Любой сон свидетельствует об этом.

Таким образом, с помощью снов (наряду с интуицией, импульсами и другими спонтанными событиями) инстинктивные силы влияют на активность сознания. Благостно или дурно это влияние, зависит от наличия содержания бессознательного. Если оно содержит слишком много того, что в норме должно быть осознанно, то бессознательное искажается, делается

предвзятым, возникают мотивы, основанные не на инстинктах, но обязанные своему проявлению и психологическому значению тому факту, что оказались в бессознательном в результате вытеснения или недосмотра. Они накладываются на нормальную бессознательную психику и искажают ее естественную тенденцию выражать основные символы и мотивы. Поэтому для психоаналитика, интересующегося причинами душевного беспокойства, разумно начать с более или менее добровольной исповеди пациента, начать с осознания всего того, что пациент любит, а чего — нет, чего он боится. Эта процедура весьма схожа с церковной исповедью, во многих отношениях превосходящей современную психологическую технику, по крайней мере — ее общее правило. На практике, однако, порой приходится действовать и другим способом; непреодолимое чувство неполноценности или слабости могут сделать для пациента трудным и даже невозможным взглянуть в лицо новому свидетельству собственной неадекватности. Поэтому частенько я нахожу полезным начинать с ободряющих положительных интонаций в беседе с пациентом, это помогает обрести чувство уверенности, когда он приближается к более болезненным откровениям.

Возьмем в качестве примера сон с «личностной экзальтацией», в котором, скажем, некто пьет чай с английской королевой или оказывается в дружеских отношениях с римским папой. Если сновидец не шизофреник, практическое толкование символа во многом зависит от состояния его рассудка или положения Эго. Если сновидец переоценивает свою значимость, то легко показать (из материала произведенного ассоциацией идеи), насколько несоответственны и инфантильны намерения сновидца, а так же в какой степени они исходят из детских желаний быть равным или превзойти своих родителей. Но в случае неполноценности, когда всеподавляющее чувство собственной незначимости уже преодолело всякий положительный аспект личности сновидца, было бы совершенно неправильным подавлять его еще больше, показывая, насколько он инфантилен, смешон или даже извращен. Это безжалостно увеличит его неполноценность и окажется причиной недружелюбного и совершенно ненужного сопротивления при лечении.

Не существует терапевтической техники или теории для общего пользования, ибо каждый случай является индивидуальным и совершенно специфическим. Я помню пациента, которого я лечил свыше девяти лет. Каждый год я видел его лишь в течение нескольких недель, поскольку он жил за границей. С самого начала я знал его подлинную беду, но видел и то, что малейшая попытка приблизиться к проблеме встречала жесткое

сопротивление, угрожавшее полному разрыву наших отношений. Хотел я того или нет, но я был вынужден идти на все издержки, чтобы поддерживать наши отношения и следовать его линии поведения, которая диктовалась его снами и которая уводила наши обсуждения прочь от истоков его невроза. Мы отклонялись столь далеко, что я даже начинал винить себя в том, что ввожу его в заблуждение. И лишь то обстоятельство, что состояние его стало понемногу улучшаться, удержало меня от решительного шага по выяснению всей правды.

На 10-м году, однако, сам пациент заявил, что он вылечился и освободился от всех своих симптомов. Я удивился, потому что теоретически он был неизлечим. Заметив мое удивление, он улыбнулся и сказал (буквально) следующее: «И прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за неизменный такт и терпение, с которыми вы помогли мне обойти болезненную причину моего невроза. Теперь я готов рассказать вам все. Если бы я мог свободно говорить об этом тогда, то рассказал бы вам сразу же на первой консультации. Но это разрушило бы мой контакт с вами. И к чему бы это привело? Я бы морально обанкротился. В течение десяти лет я научился доверять вам, и поскольку мое доверие выросло, то и состояние улучшилось. Мне стало лучше, потому что этот медленный процесс восстановил веру в себя. Теперь я могу обсуждать проблему, которая так долго меня мучила». Затем он с поразительной искренностью поведал о всех своих терзаниях, которые объяснили и причины такого специфического хода лечения. Первоначальный шок оказался настолько сильным, что в одиночку ему невозможно было с ним справиться. Он нуждался в помощи другого, и собственно терапевтическая задача заключалась в неторопливом утверждении доверия более, чем в демонстрации клинической теории. Благодаря подобным случаям я научился применять свои методы к конкретным пациентам, а не пускаться в общие теоретические рассуждения, которые могли оказаться неприложимыми в каждом конкретном случае.

Знание человеческой природы, которое я накопил в течение 60 лет практики, научило меня рассматривать каждый случай как совершенно новый, требующий прежде всего поиска индивидуального подхода. Иногда без колебаний я погружаюсь в тщательное изучение событий и фантазий детства; в других случаях начинаю с верхнего этажа, даже если это значило бы парение в отвлеченных метафизических рассуждениях. Все зависит от постижения индивидуального языка пациента в процессе следования на ощупь за его бессознательным к свету. Одни случаи требуют одного пути, другие — иного. Это в особенности верно, когда пытаешься

интерпретировать символы. Два разных человека могут видеть почти одинаковый сон. (Это, как показывает клинический опыт, не такая уж необычная вещь, как принято думать.) Однако если один из сновидцев молод, а другой стар, проблема, беспокоившая их, соответственно разная, и было бы нелепо толковать оба сна одним и тем же образом.

Пример, который приходит в голову, демонстрирует сон, в котором группа молодых людей раскатывает верхом по широкому полю. Спящий возглавляет движение и прыгает через канаву, наполненную водой, тем самым оправдывая свое назначение. Остальные же падают в канаву. Молодой человек, который первым рассказал мне этот сон, принадлежал к интровертному, предусмотрительному типу людей. Весьма похожий сон я слышал также от пожилого человека отважного характера, ведущего активную предприимчивую жизнь. К моменту, когда он увидел этот сон, он был инвалидом, доставлявшим массу хлопот своему врачу и сестрам. Бедняга действительно вредил самому себе, не выполняя медицинские предписания.

Было ясно: сон рассказывал молодому человеку, что ему следует делать. Старику же он говорил, что в действительности он до сих пор делал. Сон ободрял колеблющегося молодого человека, старик же в таком ободрении вовсе не нуждался. Дух предприимчивости, который все еще мерцал в нем, фактически и был его главной бедой. Этот пример показывает, каким образом истолкование снов и символов во многом зависит от индивидуальных обстоятельств, человека—сновидца и состояния его разума.

Архетип в символизме сна

Я уже предположил, что сны служат целям компенсации. Это означает, что сон — нормальное психическое явление, передающее бессознательные реакции или спонтанные импульсы сознанию. Многие сны могут быть истолкованы с помощью самого сновидца, поскольку он может дать ассоциации к образам сна и их контекст, с помощью которых можно обозреть все аспекты сновидения.

Этот метод пригоден во всех обыденных случаях, когда родственник, приятель или пациент рассказывают вам свой сон в ходе обычного разговора. Но когда дело касается навязчивого сновидения или снов с повышенной эмоциональной окраской, то личных ассоциаций обычно бывает недостаточно для удовлетворительного толкования. В таких случаях мы должны принять во внимание тот факт (впервые наблюдавшийся и откомментированный Фрейдом), что часто наблюдаемые в снах элементы могут оказаться вовсе не индивидуальными, и невыводимыми из личного опыта сновидца. Эти элементы, как я уже упоминал ранее, Фрейд назвал «архаическими остатками» — ментальными формами, присутствие которых не объясняется собственной жизнью индивида, а следует из первобытных, врожденных и унаследованных источников человеческого разума.

Человеческое тело представляет собой целый музей органов, каждый из которых имеет «за плечами» длительную историю эволюции, — нечто подобное следует ожидать и от устройства разума. Он не может существовать без собственной истории, как и тело, в котором разум пребывает. Под «историей» я не разумею то, что разум создает себя путем сознательного обращения к прошлому посредством языковой и других культурных традиций. Я имею в виду биологическое, доисторическое и бессознательное развитие разума архаического человека, психика которого была еще так близка к животной.

Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума точно так же, как строение нашего тела восходит к общей анатомической структуре млекопитающих. Опытный взгляд анатома или биолога обнаруживает много следов этой исходной структуры в наших телах. Искушенный исследователь разума может сходным образом увидеть аналогии между образами сна современного человека и продуктами примитивного сознания, его «коллективными образами» и

мифологическими мотивами. И так же, как биолог нуждается в сравнительной анатомии, психолог не может обойтись без «сравнительной анатомии психического». На практике психолог должен иметь не только соответствующий опыт изучения снов и других продуктов активности бессознательного, но и быть знакомым с мифологией в самом широком смысле. Без этого знания практически невозможно уловить важные аналогии: к примеру, невозможно увидеть аналогию между случаем навязчивого невроза и классическим демоническим наваждением.

Мои взгляды на «архаические остатки», которые я назвал «архетипами», или «первобытными образами», постоянно критиковались людьми, которые не обладали достаточными знаниями психологии сновидений или мифологии. Термин «архетип» зачастую истолковывается неверно, как некоторый вполне определенный мифологический образ или мотив. Но последние являются не более чем сомнительными репрезентациями; было бы абсурдным утверждать, что такие переменные образы могли бы унаследоваться.

Архетип же является тенденцией к образованию таких представлений мотива, — представлении, которые могут значительно колебаться в деталях, не теряя при этом своей базовой схемы. Существует, например, множество представлений о враждебном существе, но сам по себе мотив всегда остается неизменным. Мои критики неверно полагают, что я имею дело с «унаследованными представлениями», и на этом основании отвергают идею архетипа как простое суеверие. Они не принимают во внимание тот факт, что если бы архетипы были представлениями, имеющими свое происхождение в нашем сознании (или были бы приобретены сознанием), мы бы с уверенностью их воспринимали, а не поражались и не удивлялись бы при их возникновении в сознании. В сущности, архетипы являются инстинктивным вектором, направленным трендом, точно таким же, как импульс у птиц вить гнезда, а у муравьев строить муравейники.

Здесь я должен пояснить разницу между архетипами и инстинктами. То, что мы называем инстинктами, является физиологическим побуждением и постигается органами чувств. Но в то же самое время инстинкты проявляют себя в фантазиях и часто обнаруживают свое присутствие только посредством символических образов. Эти проявления я и назвал архетипами. Они не имеют определенного происхождения; они воспроизводят себя в любое время и в любой части света, — даже там, где прямая передача или «перекрестное оплодотворение» посредством миграции полностью исключены.

Я припоминаю много случаев с людьми, которые консультировались у меня, поскольку были озадачены снами своими собственными или своих детей. Они были совершенно не способны уловить язык этих снов. Сон содержал образы, не связанные ни с чем, что можно было вспомнить самим или связать с жизнью детей. И это при том, что некоторые из пациентов были высокообразованными людьми, другие — даже психиатрами.

Я живо вспоминаю случай с профессором, у которого случилось внезапное видение, и он подумал, что нездоров. Он явился ко мне в состоянии полной паники. Мне пришлось взять с полки книгу четырехсотлетней давности и показать ему выгравированное изображение его видения. «Нет причин беспокоиться о своей нормальности, — сказал я ему. — Они знали о Вашем видении 400 лет назад». После этого он сел, уже окончательно сбитый с толку, но при этом вполне нормальный.

Показательный случай произошел с человеком, который сам был психиатром. Однажды он принес мне рукописный буклет, который получил в качестве рождественского подарка от десятилетней дочери. Там была записана целая серия снов, которые у нее были в возрасте восьми лет. Они представляли самую причудливую серию снов, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело, и я хорошо понимал, почему ее отец был ими озадачен. Хотя и детские, они представлялись жуткими и содержали образы, происхождение которых было совершенно непонятным для отца. Привожу основополагающие мотивы снов:

1. «Злое животное», змееподобное многоголовое чудовище, убивающее и пожирающее всех других животных. Но из четырех углов появляется Бог и в виде четырех отдельных богов воскрешает мертвых животных.
2. Вознесение на небеса, где совершаются языческие пляски, и спуск в ад, где ангелы творят добрые дела.
3. Стадо маленьких животных пугает спящую. Животные увеличиваются до чудовищных размеров, и одно из них пожирает спящую маленькую девочку.
4. Маленькая мышь изъедена червями, пронизана змеями, рыбами и людьми. Затем мышь становится человеком. Это иллюстрирует четыре стадии происхождения человечества.

5. Видна капля воды, причем так, как она представлена в микроскопе. Девочка видит в капле множество древесных ветвей. Это изображает происхождение мира.
6. Плохой мальчик держит ком земли и кусочки его кидает в прохожих. От этого все прохожие становятся плохими.
7. Пьяная женщина падает в воду и появляется оттуда трезвой и свежей.
8. Действие происходит в Америке. Много людей катят муравьиную кучу, подвергаясь нападкам муравьев. Спящая в панике падает в воду.
9. Лунная пустыня. Спящая погружается глубоко в грунт и достигает ада.
10. В этом сне девочка видит светящийся шар. Она трогает его. Из него исходят пары. Приходит мужчина и убивает ее.
11. Девочке снится, что она опасно больна. Внезапно из ее кожи вылетают птицы и полностью покрывают ее.
12. Комариная туча закрывает солнце, луну и все звезды, кроме одной. Эта звезда падает на девочку.

В полном немецком оригинале каждый сон начинается словами старой сказки: «Однажды...». Этими совами маленькая девочка как бы поясняет, что каждый свой сон она воспринимает в виде сказки, которую хочет рассказать своему отцу в виде рождественского подарка.

Отец пытался объяснить эти сны, исходя из позиции их семейного окружения (контекста). Но у него ничего не получилось, поскольку никаких личных индивидуальных ассоциаций не выявлялось. Возможность того, что эти сны были сознательно придуманы, исключалась теми, кто достаточно хорошо знал девочку, — все были абсолютно уверены в ее искренности. (Но даже если бы они оказались просто фантазиями, то и это озадачивало бы.) Отец также был убежден, что сны действительно имели место, да и у меня не было причин для сомнений. Я сам знал эту

маленькую девочку, но до того, как она подарила свои сны отцу, так что у меня не было возможности самому порасспросить ее об этом. Она жила за границей и умерла в результате инфекционного заболевания спустя год после указанного Рождества.

Ее сны имели определенно специфический характер. Их главные мысли содержали отчетливо философский оттенок. Первый, например, говорил о злом чудовище, убивавшем других животных, но Господь воскрешал их всех посредством священного Апокатастасиса [18], или восстановления, возмещения. На Западе эта идея известна в христианской традиции. Ее можно обнаружить в «Деяниях Апостолов» (111,21): «(Христос) Которого небо должно было принять до времен совершения всего» (англ. реституция = восстановление, возмещение). Ранние греческие отцы церкви (например, Ориген [19]) особенно настаивали на мысли, что в конце всех времен все будет восстановлено Спасителем в первоначальном и совершенном состоянии. Но согласно святому Матфею (XVII, 11), еще в старой иудейской традиции утверждалось, что «Илия должен придти прежде и устроить все». Первое Послание к Коринфянам (XV,22) передает эту же идею в следующих словах: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

Конечно, можно предположить, что ребенок усвоил эту мысль в процессе своего религиозного воспитания. Но у нее был очень незначительный религиозный багаж. Ее родители формально значились протестантами, но фактически они знали Библию только по слухам. И уж совершенно невероятно, что кто-то объяснил девочке малоизвестный образ Апокатастасиса. Скорее всего, ее отец никогда и не слышал об этой мифической идее.

Девять из двенадцати снов несут в себе тему разрушения и восстановления. И ни один из них не содержит каких-либо следов специфически христианского воспитания или влияния. Напротив, они гораздо ближе к примитивным мифам. Эта связь подтверждается и другим мотивом – «космогоническим мифом» (сотворение мира и человека), который возникает в четвертом и пятом снах. Ту же связь можно найти в Первом послании к Коринфянам (XV,22), цитату из которого я только что приводил. В этом отрывке Адам и Христос (смерть и воскресение) связаны вместе.

Идея Христа—Спасителя звучит в широко распространенном дохристианском мифе о герое и спасителе—освободителе, который, несмотря на то, что был пожран чудовищем, чудесным образом появляется

вновь, побеждая это проглотившее его чудовище. Никто не знает, когда и где возник этот мотив. Мы не знаем даже, как начать исследовать эту проблему. Очевидно лишь то, что каждое поколение знает этот мотив, как некую традицию, переданную от предшествовавших поколений и времен. Поэтому мы вполне можем предполагать, что он «происходит» со времени, когда человек еще не знал, что он имеет миф о герое, со времени, так сказать, когда он еще не осознавал того, что говорит. Фигура героя есть архетип, который существует с незапамятных времен.

Проявление архетипов у детей весьма знаменательно, поскольку можно быть вполне уверенным, что ребенок не имеет прямого доступа к культурной традиции. В нашем случае семья девочки имела весьма поверхностное знакомство с христианской традицией. Христианская тема, конечно, может быть представлена в таких понятиях, как Бог, ангелы, небо, ад или зло. Но образы, представленные девочкой, никак не свидетельствуют об их христианском происхождении.

Возьмем, скажем, первый сон, в котором Бог, состоящий из четырех богов, появляется из «четырех углов». Углов чего? Во сне никакая комната не упомянута. Да и никакая комната не соответствовала бы всей картине, изображавшей с очевидностью космическое событие, в котором совершалось Универсальное Бытие. Кватерность (элемент четверичности) [\[20\]](#) сама по себе идея необычная, но играющая значительную роль во многих философиях и религиях. В христианской традиции она была вытеснена Троицей, понятием, известным и ребенку. Но кто нынче в обычной семье мог знать о божественной четверичности? Эта идея, хорошо известная изучающим средневековую герменевтическую философию, к началу XVIII в. совершенно исчезла и, по крайней мере уже 200 лет, как вышла из употребления. Где же ее могла отыскать маленькая девочка? Из видений Иезекииля? Но христианского учения, которое идентифицировало бы серафима с Богом, не существует.

Тот же вопрос можно задать и о рогатой змее. Это правда, что в Библии встречается много рогатых животных, например, в Откровении Иоанна Богослова. Но все они четвероногие, хотя их предводитель — дракон, значение которого в греческом языке подразумевает также и змею. Рогатый змей появляется в латинской алхимии в XVI в. как четверорогий змей, символ Меркурия и враг христианской Троицы. Но это весьма слабый аргумент. Насколько мне известно, подобная ссылка есть только у одного автора, и ребенок знать этого не мог.

Во втором сне возникает совершенно нехристианский мотив, содержащий воспринятые ценности в перевернутом виде, — языческие

танцы людей на небесах и добрые дела ангелов в аду. Эта символическая картина подразумевает относительность моральных ценностей. Где мог ребенок обрести столь революционное представление, равное гению Ницше?

Этот вопрос ведет нас к другому: каков, собственно, компенсаторный смысл этих снов, которым девочка придавала так много значения, что преподнесла их отцу в качестве рождественского подарка? Если бы сновидец был первобытным знахарем, то можно было бы предположить, что его сны представляют вариации на философскую тему смерти, воскресения или замещения, происхождения мира, творения человека и относительности ценностей. Но бесполезно искать в них смысл, если пытаться толковать их на индивидуальном уровне.

Сны, вне всякого сомнения, содержат «коллективные образы», и сходны с теориями, которым обучают молодых людей в первобытных племенах в период посвящения (инициации) в мужчины. Это то самое время в их жизни, когда они узнают, что такое Бог или боги, или животные — «основатели», как сотворены мир и человек, как произойдет наступление конца света, каков смысл смерти. Есть ли нечто подобное в нашей христианской цивилизации, существует ли передача сходных предписаний, учений? Да, есть, да, существует: в ранней юности. Но многие люди начинают думать об этом вновь уже в старости, при приближении к смерти.

Так случилось, что маленькая девочка оказалась в обеих ситуациях сразу, одновременно. Она приближалась к зрелости и к концу жизни. Ничего или почти ничего не было в ее снах, что указывало бы на начало нормальной взрослой жизни, но было множество аллюзий, намеков на тему разрушения и восстановления. Когда я впервые прочел эти сны, у меня возникло жуткое чувство неминуемого несчастья. Оно было вызвано особой природой компенсации, которую я вычислил из символизма снов. Она была противоположной всему, что можно отыскать в сознании девочки этого возраста. Подобные сны открывают новый весьма устрашающий аспект жизни и смерти. Описанные образы можно предположить в снах стариков, оглядывающихся на прожитую жизнь, но никак не у ребенка, устремленного вперед, в свое будущее.

Атмосфера этих снов напоминает римскую поговорку : «Жизнь — это короткий сон», — в них нет ничего от радости и изобилия весны—детства. Жизнь этого ребенка уподоблялась «мольбе весенней жертвы», говоря словами римского поэта. Опыт показывает, что неведомое приближение смерти отбрасывает «тень предчувствия» на саму жизнь и сновидения жертвы. Даже алтарь в христианских церквях представляет, с одной

стороны, гробницу, а с другой — место воскресения, трансформации в вечную жизнь.

С таким содержанием и были идеи, которые сны донесли до ребенка. Они были приготовлением к смерти, выраженные в коротких историях, наподобие сказок, рассказываемых во время первобытных инициаций или дзэн—буддистских коанов [21]. Сообщение об этом было выражено не в терминах ортодоксальной христианской доктрины, а больше напоминало древнюю примитивную мысль. Казалось, оно возникло не из внешней исторической традиции, а из давно позабытых психологических источников, которые с доисторических времен питали религиозные и философские размышления о жизни и смерти. Словно будущие события отбрасывали свою тень назад, порождая у ребенка те мыслеформы, которые обычно дремлют у человека, но которые описывают или сопровождают приближение фатального исхода. И хотя специфическая форма, в которой эти события себя выражают, носит более или менее личностный характер, их общая форма коллективна. Коллективные образы обнаруживаются повсюду и во все времена точно так же, как животные инстинкты сильно колеблются у разных биологических видов, однако служат одной и той же общей цели.

Мы далеки от мысли, что каждое новорожденное животное обзаводится своими, отличными от других, инстинктами как личным приобретением, и не следует также полагать, что и каждый человек при рождении творит свой специфический человеческий путь. Так же как и инстинкты, паттерны [22] коллективной мысли человеческого разума являются врожденными и унаследованными. При необходимости они начинают действовать во всех нас более или менее одинаковым образом.

Эмоциональные проявления, к которым принадлежат эти мысленные клише, узнаваемы во всем мире. Мы обнаруживаем их даже у животных, и сами животные понимают друг друга в этом отношении, даже если они принадлежат к разным видам. А как насчет насекомых с их сложными симбиотическими функциями? Большинство из них не знает своих собственных родителей, и их некому учить. Стоит ли тогда считать, что человек является единственным существом, лишенным специфических инстинктов, или что его психическое избавлено от всех следов его эволюции?

Естественно, если отождествлять психику с сознанием, то легко можно впасть в ложную идею о том, что человек приходит в этот мир с пустой психикой, а в последующие годы психическое не содержит ничего кроме

того, что получено в индивидуальном опыте. Но собственно психическое представляет из себя нечто большее, чем сознание. Животные обладают меньшим сознанием, но существует множество импульсов и реакций, указывающих на существование психического, и первобытные люди делают массу вещей, смысл которых им не известен. Можно долго и тщетно выспрашивать цивилизованного человека о действительном смысле рождественской елки или пасхального яйца. Факт остается фактом — люди делают некоторые вещи, совершенно не зная зачем. Я придерживаюсь того мнения, что вначале делались вещи и совершались события, и только гораздо позже кто-то спрашивал, почему они делались и совершались.

Медицинский психолог постоянно сталкивается с весьма интеллигентными людьми, которые ведут себя несколько странным и непредсказуемым образом, и при этом не имеют ни малейшего понятия о том, что они говорят или делают. Их внезапно охватывают беспричинные настроения, в которых они не отдают себе отчета. Внешне такие импульсы и реакции кажутся сугубо личными по природе, и поэтому мы относим их к индивидуальным особенностям. Фактически же они основываются на ранее сформированной и уже готовой инстинктивной системе, характеризующей человека. Мыслеформы, универсально понимаемые жесты и многочисленные установки следуют образцам, сформировавшимся задолго до того, как человек обрел рефлексивное мышление.

Можно даже считать, что довольно раннее возникновение человеческой способности к рефлексии явилось из болезненных последствий жестоких эмоциональных потрясений. В качестве иллюстрации позвольте привести пример дикаря, который в момент гнева и разочарования от неудачной рыбной ловли душил своего единственного любимого сына, а затем охватывается безмерным сожалением, держа в руках маленькое мертвое тело. Такой человек может запомнить свое переживание навсегда. Мы не знаем, действительно ли подобные переживания являются исходной причиной развития человеческого сознания. Но нет сомнения в том, что шок сходного эмоционального опыта часто необходим, чтобы заставить людей проснуться и обратить внимание на то, что они делают. Существует известная теория об испанском идалго XIII в. Раймунде Луллие [\[23\]](#), который в конце концов (после долгих странствий) добился тайной встречи с дамой, которую обожал. Она молча расстегнула свою одежду и показала ему свою грудь, пораженную раковой болезнью. Шок изменил жизнь Луллия, в конце концов он стал выдающимся теологом и одним из величайших миссионеров церкви. В случае такой внезапной перемены можно доказать, что архетип долгое

время действовал бессознательно, искусно выстраивая обстоятельства, которые привели к кризису.

Такие переживания, по всей видимости, показывают, что архетипические формы отнюдь не являются статическими паттернами, застывшими структурами. Они есть динамические факторы, проявляющиеся в импульсах так же спонтанно, как и инстинкты. Определенные сны, видения или мысли могут возникать внезапно, и как внимательно их ни изучай, невозможно обнаружить, что послужило их причиной. Это не значит, что они беспричинны, причина определенно есть. Но она столь отдалена или затемнена, что ее трудно увидеть. В таком случае нужно ждать до тех пор, пока сам сон или его смысл не будут достаточно понятны, или пока не появится какое-нибудь внешнее событие, которое поможет объяснить сам сон.

В момент сна само это событие может еще пребывать в будущем. Но так же, как наши сознательные мысли зачастую заняты будущим и его возможностями, равным образом действует бессознательное со своими снами. Долгое время существовала общая вера в то, что главная функция сна заключается в прогнозировании будущего. В античности, как и в позднем средневековье сны участвовали в медицинских прогнозах. Я могу подтвердить примером современного сна элемент прогноза (или предзнавания) в старом сне, который приводит Артемидор из Дальды во втором веке до н.э. Человеку снилось, как он видел своего отца, умирающего в пламени горящего дома. Вскрости он сам умер от флегмоны (огонь, сильная горячка), что, я полагаю, было пневмонией.

Так случилось, что один из моих коллег однажды подхватил смертельное воспаление, фактически, флегмону. Его бывший пациент, понятия не имевший о болезни своего доктора, увидел сон, в котором доктор умер в сильном огне. В это время сам доктор едва переступил порог клиники, и болезнь только начиналась. Сновидец не знал ничего кроме того факта, что доктор болен и находится в госпитале. Спустя три недели доктор умер.

Как показывает этот пример, сны содержат предсказательный или прогностический компонент, и всякий, кто пытается их толковать, должен принять это во внимание, особенно в тех случаях, когда весьма значительный сон не обеспечен соответствующим контекстом для своего объяснения. Такой сон часто приходит прямо с небес и остается лишь удивляться, что побудило его быть таким. Конечно, знать бы цель послания, а уж причина уяснилась бы. Но это только наше сознание не знает, бессознательное же осведомлено, сделало выводы, каковые и выразило во

сне. Фактически бессознательное способно исследовать ситуации и делать свои выводы ничем не хуже, чем сознание. Оно даже может использовать определенные факты и предсказать по ним возможные последствия именно потому, что мы их не осознаем.

Но насколько можно судить из снов, бессознательное совершает свои обдумывания инстинктивно. Разница очень важна. Логический анализ является прерогативой сознания, здесь участвуют разум и знание. Бессознательное, однако, управляется главным образом инстинктивными тенденциями, склонностями, выраженными в соответствующих мыслеформах, т.е. архетипах. Врач, которого попросят описать течение болезни, воспользуется такими рациональными понятиями, как «заражение» или «лихорадка». Сон более поэтичен. Он представляет больное тело в виде земного человеческого дома, а лихорадку — как огонь, пожирающий его.

Как показывает вышеупомянутый сон, архетипический разум управляет ситуацией тем же самым путем, что и во времена Артемидора. Что-то более или менее неведомое интуитивно схвачено бессознательным и подвергнуто архетипической обработке. Это предполагает, что вместо процесса мышления, которым пользуется сознательная мысль, архетипический разум входит в работу и выполняет прогностическую задачу. Архетипы, таким образом, имеют собственную побудительную специфическую энергию. Это дает им возможность как производить осмысляющую интерпретацию (в собственном символическом ключе), так и вмешиваться в данную ситуацию со своими собственными импульсами и «мыслительными» образованиями. В этом отношении они действуют как комплексы, — они приходят и ведут себя, как им заблагорассудится, и часто затрудняют или изменяют наши сознательные намерения самым неподходящим образом.

Можно уловить специфическую энергию архетипов, когда мы переживаем то особое волшебство, которое их сопровождает. Они, кажется, несут в себе особые черты. Такое качество присуще и личностным комплексам, и так же, как личностные комплексы имеют свою индивидуальную историю, такая же история архетипического характера есть и у общественных комплексов. Но в то время как личностные комплексы характеризуют лишь особенности одного конкретного человека, архетипы создают мифы, религии и философии, оказывающие воздействия на целые народы и исторические эпохи, характеризующие их. Мы рассматриваем личностные комплексы как компенсации за односторонние или дефектные установки сознания; сходным образом мифы религиозного

происхождения можно интерпретировать как вид ментальной терапии для обеспокоенного и страдающего человечества в целом — голод, война, болезнь, старость, смерть.

Например, универсальный миф о герое всегда относится к человеку — богатырю или богочеловеку, который побеждает зло в виде драконов, змей, монстров, демонов и так далее и который освобождает свой народ от смерти и разрушения. Повествование или ритуальное повторение священных текстов и церемоний и почитание этого образа с помощью танцев, музыки, гимнов, молитв и жертвоприношения возбуждают и охватывают аудиторию возвышенными эмоциями (словно магическими чарами) и возвышают индивида до идентификации с героем.

Если мы попытаемся взглянуть на эту проблему глазами верующего, то, вероятно, сможем понять, насколько самый обычный человек может быть освобожден от своей собственной недостаточности и нищеты и наделен (по крайней мере временно) почти сверхчеловеческим качеством. Очень часто такое убеждение поддерживает его долгое время и придает определенный смысл его жизни. Оно может задавать тон даже целому обществу. Замечательный пример этого показывают Элевсинские мистерии [24], которые были окончательно запрещены в начале седьмого века нашей эры. Они выражали наряду с дельфийским оракулом сущность и дух Древней Греции. В значительно большем масштабе сама христианская эра обязана своим именем и значением античной тайне богочеловека, который имеет свои корни в древнеегипетском архетипическом мифе Осириса — Гора [25].

Обычно предполагают, что по какому-то случаю в доисторические времена главные мифологические идеи были «изобретены», «придуманы» умным старым философом или пророком и в дальнейшем в них «поверили» доверчивые, некритически настроенные люди. Говорят, что истории, рассказываемые жаждущими власти священнослужителями, не правдивы, а попросту выдают желаемое за действительное. Само слово «изобретать» (англ. — invent) происходит от латинского «invenire», означающего «находить», но «найти» что-нибудь можно лишь «ища» его. В последнем случае само слово намекает на некоторое предзнание того, что ищется.

Позвольте теперь снова вернуться к странным идеям снов маленькой девочки. Кажется невероятным, что она могла сама их искать, ибо была удивлена, обнаружив их. Образы снов явились ей как неожиданные и необычные истории, настолько неординарные, что она решила подарить их

своему отцу на Рождество. Тем самым она возвысила их до сферы нашей все еще живой христианской мистерии — рождения нашего Господа вместе с тайной вечнозеленого дерева, которую несет новорожденный Свет (ссылаюсь на пятый сон).

Хотя существуют многочисленные исторические свидетельства символической связи Христа с символом дерева, родители маленькой девочки были бы серьезно озадачены, если бы их попросили объяснить поточнее, что они имеют в виду, украшая дерево горящими свечами на празднике рождения Христа. «О, это просто рождественский обычай!» — сказали бы они. Сколь-нибудь серьезный ответ потребовал бы глубокого исследования об античном символизме умирающего бога и его связи с культом Великой Матери ^[26] и его символом — деревом, — если упоминать лишь один аспект этой сложной проблемы.

Чем дальше мы пробираемся к истокам «коллективного образа» (или, выражаясь на церковном языке, догмы), тем более мы раскрываем кажущуюся бесконечной паутину архетипических паттернов, которые до нынешнего времени никогда не были предметом сознательного рассмотрения. Так что хотя это и парадоксально, но мы знаем о мифологическом символизме больше, чем любое предшествующее поколение. И лишь потому, что в прежние времена люди не задумывались над символами, они попросту жили ими и бессознательно воодушевлялись их смыслом.

Я проиллюстрирую это на примере дикарей с горы Элгон в Африке. Каждое утро на рассвете они выходят из своих хижин и дышат или плюют себе в ладони рук, которые затем простирают навстречу первым лучам солнца, словно предлагают свое дыхание или слюну предстоящему Богу — мунгу. (Это слово из суахили, которое они используют при объяснении ритуального акта, происходит из полинезийского корня, эквивалентного мана ^[27] или мулунгу. Эти и сходные с ними термины обозначают «силу» необычной распространенности и действенности, которую можно назвать божественной. Таким образом, слово мунгу является местным эквивалентом Бога или Аллаха.) Когда я спросил элгонийцев, что означает их действие и зачем они его совершают, они были совершенно озадачены. Единственное, что они могли ответить: «Мы всегда это делаем. Это всегда делалось при восходе солнца». Они рассмеялись, когда последовал естественный вывод о том, что солнце — это мунгу. На самом же деле солнце вовсе не мунгу, когда оно висит над горизонтом, мунгу — это момент восхода.

То, что они делали, мне было ясно, но им самим нет. Они попросту делали это, не вникая в суть производимого. Поэтому не могли и объяснить. Я пришел к выводу, что они предлагали свои души мунгу, поскольку дыхание (жизни) и собственно слюна означают «духовное вещество». Дышать или плюнуть на что-нибудь вызывает «магическое» воздействие сродни тому, как Христос пользовался слюной для лечения слепого, или сыну, вдохнувшему в себя последнее дыхание отца, чтобы принять его душу. Совершенно невероятно, что эти африканцы когда-либо, даже в самом отдаленном прошлом, могли знать больше о смысле этой церемонии. Скорее всего их предки знали еще меньше, поскольку были еще более бессознательны в отношении своих побуждений и действий.

Гётевский Фауст весьма кстати заявил: «В начале было Дело». «Дела» никогда не изобретались, их совершали; с другой стороны, мысли — относительно недавнее открытие человека. Прежде всего побуждением к поступкам служили для него бессознательные факторы, лишь очень длительное время спустя он начал осмысливать причины, двигавшие им; потребовалось еще много времени для возникновения абсурдной идеи, что человек движим сам собой, — его разум был не в силах обнаружить мотивирующие силы, кроме своей собственной.

Нас, должно быть, рассмешила бы мысль о том, что растение или животное изобрело само себя, однако существует много людей, верящих, что психика или разум возникли сами собой и таким образом оказались своим собственным создателем. Фактически же разум вырос до своего теперешнего состояния сознания так же, как желудь вырастает в дуб, а ящеры развились в млекопитающих. И так же долго, как все это развивалось прежде, так же оно развивается и сейчас; нами движут силы не только те, которые внутри нас, но и те, которые в виде стимулов действуют извне.

Внутренние мотивы возникают из глубокого источника, не порожденного сознанием и не находящегося под его контролем. В мифологии более ранних времен эти «силы» называли мана, или духами, или демонами, или богами. И сегодня они так же активны, как и прежде. Если они соответствуют нашим желаниям, мы называем это счастливым предзнаменованием или предчувствием, радуясь самим себе; если этого соответствия нет, мы говорим о неудачах или о том, что какие-то люди настроены против нас или что причиной наших несчастий оказывается нечто патологическое. Единственная вещь, которую мы отказываемся признать, это то, что мы зависим от «сил», которые оказываются вне сферы нашего контроля.

Верно и то, что в последнее время цивилизованный человек обрел известное количество воли, свободной энергии, которую он может использовать там, где пожелает. Он научился достаточно эффективно выполнять свою работу, не обращаясь за помощью к пению или барабанному бою, чтобы погрузиться в состояние работы. Он может даже обойтись без ежедневной молитвы о ниспослании божественной помощи. Он может выполнить то, что предполагает сделать, и беспрепятственно перевести свои мысли в поступки, в то время как первобытного дикаря на каждом шагу подстерегают страхи, суеверия и другие невидимые препятствия. Девиз: «Где есть воля, там есть и путь» — суеверие современного человека.

Но для того чтобы поддержать свою веру, современный человек расплачивается удивительным отсутствием самонаблюдения. Он слеп к тому, что, несмотря на свои рациональность и эффективность, он одержим «силами», находящимися вне его контроля. Его демоны и боги вовсе не исчезли, они всего лишь обрели новые имена. И они удерживают его на ходу своим беспокойством, нечетким пониманием, психологическими сложностями, ненасытной жаждой лекарств, алкоголя, табака, пищи, и прежде всего — огромной массой неврозов.

Душа человека

То, что мы называем цивилизованным сознанием, прочно отделило себя от основополагающих инстинктов. Но эти инстинкты не исчезли. Они лишь потеряли контакт с сознанием, посему принуждены утверждать себя косвенным образом — посредством физических симптомов в случае неврозов, или путем разного рода инцидентов, как то: безотчетного настроения, внезапной забывчивости или речевых ошибок.

Человеку нравится верить в то, что он хозяин своей души. Но до тех пор, пока он не способен контролировать свои настроения и эмоции или осознавать мириады скрытых путей, по которым бессознательные факторы вкрадываются в его мероприятия и решения, человек хозяином самого себя не будет. Эти бессознательные факторы обязаны своим существованием автономии архетипов. Современный человек защищает себя от сознания собственной расщепленности системой разделенных отсеков. Определенные области внешней жизни и поведения сохраняются, так сказать, в разных отсеках и никогда не сталкиваются друг с другом.

В качестве примера такой психологии отсеков я вспоминаю случай одного алкоголика, который попал под влияние религиозной общины и, захваченный ее энтузиазмом, совершенно забыл о выпивке. По всей вероятности, он был чудесно исцелен Иисусом Христом, и играл роль свидетеля как божественной милости, так и эффективности в деятельности этой религиозной организации. Но спустя несколько недель после публичной исповеди ажиотаж начал стихать, да и алкогольная пауза давала о себе знать, и тогда он запил снова. Общинные благодетели пришли к выводу, что случай оказался «патологическим» и, по всей видимости, не пригодным для вмешательства Иисуса, поэтому они поместили беднягу в клинику — божественный Целитель уступил свое место докторам.

Это — один из аспектов современного «культурного» сознания, в который стоит заглянуть поглубже. Он указывает на тревожащий уровень диссоциации и психологической неразберихи. Если на миг мы представим человечество как единого индивида, то увидим, что человеческая раса напоминает персону, увлеченную бессознательными силами; человеческая раса также предпочитает помещать определенные проблемы в разделенных отсеках. Вот почему нам следует попытаться понять, что же мы делаем, поскольку сейчас человечеству угрожают созданные им же смертельные опасности, выходящие из-под контроля. Наш мир диссоциировался,

разложился как невротик, и железный занавес обозначает символическую линию этого разделения.

Западный человек, осознав агрессивную волю к власти Востока, видит себя вынужденным принимать экстраординарные меры обороны, одновременно выдавая их с гордостью за собственную добродетель и благие намерения. Он не способен понять, что речь идет о его же собственных пороках, умело прикрытых тонкими дипломатическими приемами и ходами, пороках, в которых беззастенчиво обвиняет его коммунистический мир. То, что перенес Запад — незаметно и с легким чувством стыда (дипломатическая ложь, систематический обман, скрытые угрозы), — открыто и в полном объеме пришло с Востока и связало нас невротическими узлами. Это лицо его собственной злой тени, ухмыляющееся на западного человека с другой стороны железного занавеса.

Таково состояние дел, которое объясняет особенность чувства беспомощности столь многих людей в западных обществах. Они начинают осознавать, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, являются по сути моральными проблемами, и что попытка ответить на них политикой наращивания ядерного оружия или «экономическим соревнованием» достигает немногого, поскольку оба пути разрушительны. Многие из нас теперь понимают, что моральные и ментальные средства являются более эффективными, так как они могут обеспечить нас психической защитой против всевозрастающей инфекции.

Но все подобные попытки уже доказали свою исключительную неэффективность и будут доказывать ее еще долго, до тех пор, пока мы будем пытаться убедить себя и мир в том, что только они неправы (т.е. наши оппоненты). Было бы гораздо более оправданным сделать серьезную попытку понять свою собственную тень и ее гнусные деяния. Если мы сможем увидеть свою собственную тень (темную сторону своей натуры), то сможем защититься от любой моральной и ментальной инфекции и любых измышлений противника. А как показывает практика, ныне мы открыты любой инфекции, потому что фактически делаем те же самые вещи, что и они. К тому же мы имеем и дополнительный недостаток, заключающийся в том, что мы либо не понимаем, либо не хотим понять, прикрываясь хорошими манерами, то, что делаем сами.

Попутно замечу, что коммунистический мир имеет один великий миф (который мы называем иллюзией в слабой надежде, что наше высокое суждение поможет ему развеяться). Это свято почитаемое архетипическое видение Золотого Века (или Рая), где в изобилии имеется все для каждого,

и где всем человеческим детским садом правит великий справедливый и мудрый вождь. Этот мощный архетип в инфантильном виде держит их в своих руках и вовсе не собирается исчезать от одного надменного взгляда с Запада. Мы даже поддерживаем его своей ребячливостью, поскольку наша западная цивилизация пребывает во власти той же самой мифологии. Бессознательно мы дорожим теми же самыми предрассудками, лелеем те же надежды и ожидания. Мы также верим в благосостоятельное государство, во всеобщий мир, в равенство людей, в незыблемые человеческие права, в справедливость, в правду и (не говорите это слишком громко) в Божье Царство на земле.

Печальная правда заключается в том, что жизнь человека состоит из комплекса неумолимых противоположностей — дня и ночи, рождения и смерти, счастья и страдания, добра и зла. Мы не уверены даже в том, что какое-то одно будет преобладать над другим, что добро победит зло, или радость — боль. Жизнь — это поле битвы. Оно всегда существовало и всегда будет существовать, будь это не так, жизнь подошла бы к концу.

Именно этот конфликт внутри человека и привел ранних христиан к ожиданию и надежде на скорый конец мира, а буддистов — к отвержению всех земных желаний и надежд. Подобные ответы были бы откровенно самоубийственными, если бы не были связаны с рядом специфических ментальных и моральных идей, и опытом, составляющим основу обеих религий, — что в некоторой степени смягчает их радикальное отрицание мира. Я подчеркиваю это, потому что в наше время существуют миллионы людей, потерявших веру в любую религию. Эти люди больше не понимают своей религии. Пока жизнь течет гладко и без религии, потеря остается незамеченной. Но когда приходит страдание, дело меняется. Тогда люди начинают искать выход и рассуждать о смысле жизни, и ее ужасном и мучительном опыте.

Интересно, что к психологам (по моему опыту) чаще всего обращаются евреи и протестанты и гораздо реже — католики. Этого можно было бы ожидать, так как католическая церковь до сих пор считает себя ответственной за заботу о душевном благополучии. Но и в наш научный век психиатру очень часто задают те вопросы, которые всегда относились к области теологии. Люди чувствуют, что возникает большая разница в зависимости от того, сохраняют ли они положительную веру в осмысленность жизненного пути и только, или же они верят в Бога и в бессмертие. Призрак приближающейся смерти часто дает мощный толчок подобным мыслям. С незапамятных времен у людей существовали понятия о Высшем Существо (одном или нескольких) и о загробном царстве. Но

лишь сегодня они думают, что могут без этого обойтись. Поскольку нельзя с помощью радиотелескопа увидеть божественный престол на небе, или установить наверняка присутствие рядом возлюбленных отца и матери в более или менее телесном виде, то люди считают, что такие идеи «далеки от истины». Я бы даже уточнил, что они недостаточно «истинны», так как принадлежат к понятиям, сопровождающим человеческую жизнь с незапамятных времен и прорывающимся в сознание при каждом удобном случае.

Современный человек может считать, что вправе обойтись и без них, настаивая на своем утверждении тем, что отсутствуют научные доказательства их истинности. Он даже может сожалеть об утрате этих понятий. Но поскольку мы имеем дело с невидимыми и неведомыми мирами (так как Бог находится за пределами человеческого понимания, и нет способов доказательства бессмертия), то почему мы должны беспокоиться о доказательствах? Ведь если мы не знаем причин, по которым должны солить свою пищу, то мы же не откажемся от соли. Можно, конечно, настаивать, что потребление соли всего лишь иллюзия вкуса или вкусовой предрассудок, но что это даст хорошему самочувствию? Так почему же мы должны лишаться взглядов, столь полезных в кризисных ситуациях, взглядов, помогающих осмыслить наше существование? Да и как можно знать, что эти взгляды неверны? Многие могли бы согласиться со мной, если бы я откровенно заявил, что подобные идеи иллюзорны. Но им трудно понять, что как отрицание, так и утверждение религиозной веры «доказать» невозможно. Мы полностью свободны в выборе точки зрения, при любых обстоятельствах это решение произвольно.

Есть, однако, веская эмпирическая причина, оправдывающая культивирование мыслей, которые никогда не могут быть доказанными. Причина заключается в полезности той или иной мысли. Человеку со всей определенностью необходимы общие убеждения и идеи, которые придают смысл его жизни и помогают ему отыскивать свое место во Вселенной. Человек способен преодолеть совершенно невозможные трудности, если убежден, что это имеет смысл. И он терпит крах, если сверх прочих несчастий вынужден признать, что играет роль в «сказке, рассказанной идиотом».

Предназначение религиозных символов — придавать смысл человеческой жизни. Индейцы пуэбло верят, что они — дети Солнца— Отца, и эта вера открывает в их жизни перспективу, выходящую далеко за пределы их ограниченного существования. Это дает им достаточную

возможность для раскрытия личности, и позволяет им жить полноценной жизнью. Их положение в мире куда более удовлетворительное, чем человека нашей собственной цивилизации, который знает, что он есть и останется не более чем жертвой несправедливости из-за отсутствия внутреннего смысла жизни.

Чувство ширящегося смысла существования выводит человека за пределы обыденного приобретения и потребления. Если он теряет этот смысл, то тотчас же делается жалким и потерянным. Будь святой Павел убежден, что он всего лишь бродячий ковровый ткач, то, разумеется, он не сделался бы тем, кем стал. Его подлинная заряженная смыслом жизнь протекала во внутренней уверенности, что он Божий посланник. Можно, конечно, обвинить его в мегаломании (мании величия), но насколько бледно подобное мнение перед свидетельством истории и суждением последовавших поколений. Миф, овладевший им, сделал его несравненно великим, — и это из простого ремесленника. Миф этот, однако, составляют символы, которые отнюдь не были изобретены сознательно. Они произошли. Не человек Иисус создал миф богочеловека. Миф существовал за много веков до его рождения. И им самим овладела эта символическая идея, которая, как повествует св. Марк, вывела его из скудной ограниченной жизни назаретского плотника.

Мифы восходят к первобытному сказителю и его снам, к людям, движимым своими возбужденными фантазиями. Эти люди мало чем отличаются от тех, кого в последующих поколениях называли поэтами и философами. Первобытные сказители мало заботились относительно источников собственных фантазий, лишь значительно позднее люди заинтересовались их происхождением. Однако много веков назад, в так называемую эпоху Древней Греции, человеческий разум был достаточно продвинут, чтобы высказать догадку о том, что истории их богов не что иное, как архаичные и преувеличенные повествования о давно умерших царях и вождях. Люди уже приняли ту точку зрения, что мифы слишком невероятны, чтобы значить то, о чем они говорят. Поэтому они попытались свести их к общепринятой форме.

Ближе к современности мы видели, что подобные вещи случались с символизмом снов. В те годы, когда психология пребывала в детском возрасте, было известно, что сны важны. Но подобно тому, как греки убедили себя, что их мифы всего лишь разработки рациональной, или «нормальной», истории, так и некоторые пионеры психологии пришли к выводу, что сны не означают того, в роли чего возникают. Образы или символы, представляемые снами, были отвергнуты по причине

причудливости форм, в которых вытесненные содержания психического являлись сознательному разуму. Стало само собой разумеющимся, что сон означает нечто совсем иное, нежели его явное содержание.

Я уже высказал свое несогласие с этой идеей, несогласие, приведшее меня к изучению формы и содержания снов. Почему они должны значить что-то другое, отличное от их очевидного содержания? Есть ли в природе что-то другое? Сон является нормальным и естественным явлением, и он не может означать то, чего нет. В Талмуде даже сказано, что сам сон и есть его собственное толкование. Замешательство возникает в связи с тем, что содержание сна символично и поэтому многозначно. Символы указывают другие направления, чем те, которые мы привыкли постигать сознательным разумением, таким образом, они связаны с тем, что либо не осознается, либо осознается не вполне.

В научном сознании такие явления, как символические идеи, ничего, кроме досады, не вызывают, поскольку их невозможно сформулировать так, чтобы удовлетворить требованиям интеллектуальной логики. Но в психологии это не единственный случай. Проблема начинается с явлений «аффекта», или эмоций, ускользающих от всех попыток психологов дать им окончательное определение. Во всех случаях причина одна и та же — вмешательство бессознательного. Мне достаточно известна позиция науки, чтобы понять, насколько неприятно иметь дело с теми фактами, которые нельзя адекватно и полно усвоить. Трудность этих явлений заключается в том, что сами факты несомненны и неоспоримы, и в то же время невыразимы в мыслимых терминах и понятиях. Для этого необходимо обладать возможностью понимать саму жизнь, так как именно сама жизнь поставляет эмоции и символические идеи.

За академическим психологом остается право отбросить явление эмоции или понятие о бессознательном из своего поля зрения. Но они остаются фактами, от которых не может отмахнуться практикующий медицинский психолог, ибо и эмоциональные конфликты, и вмешательства бессознательного являются классическими составляющими предмета его внимания. Если он всецело занят больным, он так или иначе сталкивается с подобными иррациональностями как непреложными фактами, безотносительно к его способностям выразить их в рациональных понятиях. Поэтому совершенно естественно, что люди, не имеющие медико-психологического опыта, с трудом воспринимают переход психологии из спокойной научной разработки к активному участию в событиях реальной жизни. Практика стрельбы по мишеням сильно отличается от действий на поле боя, врач же имеет дело с жертвами

реальных сражений. Он должен заниматься психическими реальностями, даже если и не может воплотить их в научные определения. Поэтому никакой учебник не сможет научить психологии, ее постигают лишь в реальном опыте.

Мы сможем это ясно понять, когда рассмотрим некоторые хорошо знакомые символы. Крест в христианстве, к примеру, есть важный символ, выражающий множество разных аспектов, идей и эмоций; однако крест в списке людей, изображенный после фамилии человека, означает всего лишь то, что человек этот мертв. Символ фаллоса играет всеобъемлющую роль в индуизме, но если его рисует уличный мальчишка на стене, то это отражает лишь его интерес к своему пенису. Поскольку детские и подростковые фантазии часто продлеваются во взрослую жизнь, то во многих снах возникают безошибочные сексуальные намеки. Абсурдным было бы искать здесь еще какой-то смысл. Но когда каменщик говорит о «монахах» и «монахинях» по поводу черепичной кладки, а электрик о разъемах типа «мама» и «папа», то смешно думать, что они погружены в подростковые фантазии. Они просто пользуются образным языком в назывании предметов своей работы. Когда образованный индуист рассказывает вам о лингаме (в индуистской мифологии — фаллос, представляющий бога Шиву), вы услышите о вещах, которые на Западе никогда не связывают с пенисом. Лингам ни в коем случае не является неприличным намеком, так же, как и крест не просто знак смерти. Многое зависит от зрелости сновидца, которому являются эти символы.

Толкование символов и снов требует ума. Его невозможно превратить в механическую систему и втиснуть в мозги без воображения. Оно требует как растущего знания об индивидуальности сновидца, так и непрерывно пополняющегося самосознания со стороны самого толкователя. Ни один опытный специалист в этой области не будет отрицать, что существуют эмпирические правила, доказавшие свою полезность, но применение которых должно быть в высшей степени благоразумным и осторожным. Можно следовать всем нужным правилам и все равно прийти к полной ерунде из-за того, что упущена показавшаяся малозначительной деталь. Но даже человек с высоким интеллектом может уйти далеко не туда при отсутствии интуиции и чувствования.

Когда мы пытаемся понять символы, то сталкиваемся не только с самим символом, но прежде всего перед нами возникает целостность индивида, воспроизводящего эти символы. А это включает исследование его культурного фона, в процессе чего происходит заполнение многих пробелов в собственном образовании. Я положил себе за правило

рассматривать каждый случай как совершенно новое дело, о котором мне ничего не известно. Рутинные ответы могут оказаться полезными и практичными, пока имеешь дело с поверхностным уровнем, но как только касаешься жизненно важных проблем, то тут уже сама жизнь берет верх, и даже наиболее блестящие теоретические построения оказываются подчас пустыми словами.

Воображение и интуиция являются существенно важными в нашем понимании. И хотя существует расхожее мнение, что они нужны главным образом поэтам и художникам (и что в «разумных» делах им лучше не доверять), фактически они в равной степени важны и в более высоких областях науки. Здесь они также все в большей и большей степени играют важную роль, дополняя «рациональный» интеллект и его применение в частных проблемах. Даже физика, самая строгая из всех наук, в удивительной степени зависит от интуиции, работающей на путях бессознательного (хотя позднее можно продемонстрировать логические ходы, которые ведут туда же, куда и интуиция).

Интуиция — неоценимое качество в толковании символов, и зачастую можно быть уверенным, что они молниеносно понимаются спящим. Но хотя такое удачное предчувствие может оказаться субъективно убедительным, оно также может быть и опасным. Оно легко приводит к фальшивому чувству безопасности. Может, например, склонить и сновидца и толкователя к продолжению легких и уютных отношений, выливающих в некий род взаимного сна. Здоровая основа действительно разумного знания и морального понимания оказывается потерянной, если удовлетвориться пониманием «предчувствия». Объяснить и знать можно, лишь сводя интуицию к точному знанию фактов и логических связей между ними.

Честный исследователь должен допустить, что он не всегда может сделать это, но было бы нечестным не делать это все время в голове. И ученый — тоже человек. Поэтому для него естественно не любить вещи, которые он объяснить не может. Всеобщей иллюзией является вера в то, что наше сегодняшнее знание — это все, что мы можем знать вообще. Нет ничего уязвимого более, чем научная теория; последняя — всего лишь эфемерная попытка объяснить факты, а не вечную истину.

Роль символов

Когда психолог-медик обнаруживает интерес к символам, то прежде всего интересуется «естественными» символами, в отличие от символов «культурных». Первые происходят из бессознательных содержаний психического и поэтому представляют громадное множество вариаций основных архетипических образов. Во многих случаях они могут быть прослежены до своих истоков, архаических корней — т.е. до идей и образов, которые мы встречаем в самых древних записях и у первобытных обществ. С другой стороны, культурные символы — это, в сущности, те, которыми пользовались для выражения «вечных истин» и которые во многих религиях используются до сих пор. Эти символы прошли через множество преобразований, через процесс более или менее сознательного развития, и таким образом стали коллективными образами, принятыми цивилизованными обществами.

Тем не менее, такие культурные символы сохраняют в себе еще много от своей первоначальной нуминозности (сакральности, божественности) или «колдовского» начала. Известно, что они могут вызывать глубокий эмоциональный резонанс у некоторых людей, и такой психический заряд заставляет их действовать во многом тем же самым образом, как и в случае суеверий или предрассудков. Они относятся к тем же факторам, с которыми вынужден считаться психолог, и было бы глупо игнорировать их лишь потому, что в рациональных понятиях они выглядят абсурдными и несущественными. Культурные символы — важные составляющие нашего ментального устройства, и они же — жизненные силы в построении человеческого образа, а посему не могут быть устранены без значительных потерь. Там, где они подавляются либо игнорируются, их специфическая энергия исчезает в бессознательном с непредсказуемыми последствиями. Психическая энергия, кажущаяся утраченной, на самом деле служит оживлению и усилению всего, что лежит на верхнем уровне бессознательного, — тенденций, которые иначе не имели бы случая выразить себя или, по крайней мере, не имели бы возможности беспрепятственного существования в сознании.

Такие тенденции формируют постоянно присутствующую и потенциально разрушительную «тень» нашего сознательного разума. Даже те тенденции, которые в некоторых обстоятельствах способны к благотворному влиянию, при вытеснении превращаются в демонов. Вот

почему многие добродетельные люди из лучших побуждений боятся бессознательного, и, в связи с этим — и психологии.

Наше время продемонстрировало, что означают открытые ворота преисподней. Произошли перевернувшие наш мир вверх тормашками события, нормальность которых не мог предположить никто в идиллической безвредности первого десятилетия двадцатого века. С этого момента мир пребывает в состоянии шизофрении. Не только цивилизованная Германия извергла свою ужасающую примитивность, ею же управляется и Россия, огонь приближается и к Африке. Не удивительно, что западный мир чувствует себя неспокойно.

Современный человек не понимает, насколько его «рационализм», расстроивший его способность отвечать божественным символам и идеям, отдал его на милость психической «преисподней». Он освободил себя от суеверий (как он полагает), но при этом до опасной степени утратил свои духовные ценности. Его моральная и духовная традиция распалась, и теперь он расплачивается за это повсеместное распадение дезориентацией и разобщенностью.

Антропологи часто описывали, что происходит в первобытных обществах, когда их духовным ценностям наносит удар современная цивилизация. Люди теряют смысл своей жизни, их социальная организация распадается, а сами они морально разлагаются. Теперь мы сами в подобном состоянии. Но в действительности мы так и не поняли, что потеряли; к несчастью, наши духовные лидеры более заинтересованы в защите своих общественных институтов, чем в понимании той тайны, которую являют эти символы. По моему мнению, вера не исключает мысли (что есть сильнейшее оружие человека), но, к несчастью, многие верующие так боятся науки (и в связи с этим психологии), что поворачиваются слепыми глазами к божественным психическим силам, всегда контролировавшим человеческую судьбу. Мы лишили вещи тайны и божественности, нет более ничего святого.

В прежние века, когда инстинктивные понятия наполняли разум человека, его сознание, несомненно, могло объединить их в соответствующую психическую модель, образец. Но «цивилизованный» человек больше на это не способен. Его «развитое» сознание лишило себя тех средств, с помощью которых оно ассимилировало дополнительный вклад инстинктов и бессознательного. Этими органами ассимиляции и интеграции были божественные символы, свято сохраняемые общим согласием.

Сегодня, к примеру, мы говорим о «материи», мы описываем ее

физические свойства. Мы проводим лабораторные эксперименты, чтобы продемонстрировать некоторые из этих свойств. Но слово «материя» остается сухим, внечеловеческим, чисто интеллектуальным понятием без какого-либо психического содержания. Насколько разительно отличается прежний образ материи — Великой Матери, — который мог вместить в себя и выразить глубокий эмоциональный смысл Матери—Земли. То же самое и с духом, который теперь отождествляется с интеллектом и перестает быть Отцом всего. Он дегенерировал до ограниченных Эго—намерений человека, а колоссальная эмоциональная энергия, выраженная в образе «нашего Отца», ушла в песок интеллектуальной пустыни.

Оба архетипических принципа лежат в основе отличающихся друг от друга систем Востока и Запада. Массы и их лидеры не осознают, однако, что нет существенной разницы между именованием мира по мужскому принципу, принципу Отца (дух), что делает Запад, и принципу женскому — Матери (материя), как это осуществляется в коммунистическом обществе. В сущности, мы мало знаем и о том и о другом. В былые времена эти принципы почитались во всех ритуалах, демонстрировавших их психическую значимость для человека. Теперь же они стали просто-напросто абстрактными понятиями.

С ростом научного понимания наш мир все более дегуманизируется. Человек чувствует себя изолированным в космосе, потому что теперь он отделен от природы, не включен в нее органически, и утратил свою эмоциональную «бессознательную идентичность» с природными явлениями. Постепенно они теряют свою символическую причастность. Теперь уже гром — не голос рассерженного Бога, а молния — не его карающая стрела. В реке не живет дух, в дереве больше не пребывает жизненная основа человека, змея не воплощает мудрость, а горная пещера больше не жилище великого демона. Уже не слышит человек голоса камней, растений, животных, и не беседует с ними, веря, что они слышат. Его контакт с природой исчез, а с ним ушла и глубокая эмоциональная энергия, которую давала эта символическая связь.

Эта колоссальная утрата компенсировалась символами наших снов. Они выносят на поверхность нашу исходную природу — инстинкты и специфические мысли. К несчастью, они выражают свое содержание на языке природы, на языке, который нам непонятен и странен. Поэтому перед нами встает задача перевода этого языка в рациональные слова и понятия современной речи, освободившей себя от примитивного бремени — в особенности от мистического участия в описываемых вещах. Теперь, когда мы говорим о духах и других сакральных образах, то больше не взываем к

ним. Сила и слава ушли из некогда наполненных энергией слов. Мы перестали верить в магические формулы, почти не осталось табу и сходных с ним ограничений, и наш мир кажется продезинфицированным от всех «суеверных» существ, скажем таких, как ведьмы, колдуны и пугала, не говоря уже об оборотнях, вампирах, лесных духах и всех тех странных существах, которые населяли первобытный лес.

Сказать точнее, поверхность нашего мира кажется уже очищенной от всех суеверных и иррациональных элементов. Освобожден ли также от подобной примитивности наш внутренний мир — вопрос другой. Разве не табу для многих число тринадцать? Разве мало еще людей, охваченных иррациональными предрассудками, проекциями, детскими иллюзиями? Реалистическая картина человеческого разума обнаруживает так много первобытных черт и пережитков, играющих заметную роль в жизни индивида, что кажется, ничего и не случилось за последние 500 лет.

Существенно важно дать оценку этому. Современный человек фактически являет любопытную смесь свойств, приобретенных за долгие годы своего умственного развития. Это запутавшееся существо — человек и те символы, с которыми мы имеем дело, и нам следует весьма тщательно исследовать плоды его разума. Бок о бок со скептицизмом и научным убеждением продолжают существовать старомодные предрассудки, отжившие стереотипы мысли и чувства, упрямое недопонимание и слепое невежество. Таково современное человеческое бытие, порождающее и те символы, которые изучаются психологами. Для того, чтобы объяснить эти символы и их смысл, очень важно узнать, связаны ли эти представления только с личным опытом, или же они были взяты сном для своих частных целей из хранилища общего сознательного знания.

Возьмем, например, сон, в котором встречается число тринадцать. Вопрос заключается в том, верит ли сам сновидец в несчастливое свойство этого числа, или же сон его намекает на людей, которые все разделяют эти суеверия? В ответе содержится важное указание для толкования. В первом случае следует считаться с фактом того, что индивид находится под влиянием магии числа 13, и потому будет чувствовать себя неуютно, скажем, в номере 13 гостиницы или сидя за столом в компании из 13 человек. Во втором случае 13 означает не более чем невежливое или обидное замечание. «Суеверный» сновидец продолжает чувствовать магию числа, более «рациональный» уже лишил это число его эмоциональной составляющей.

Этот пример иллюстрирует тот путь, по которому архетипы влияют в наш практический опыт: они одновременно образы и эмоции. Об

архетипе можно говорить только тогда, когда оба эти аспекта одномоментны. Если это просто образ, то перед нами будет лишь словесная картина с малым последствием. Но заряженный эмоцией образ приобретает сакральность (нуминозность) или психическую энергию, он становится динамичным, вызывающим существенное последствие.

Я осознаю, что ухватить это понятие нелегко, поскольку я использую слова, дабы описать нечто, что своей природой не дает возможности точного определения. Но поскольку очень многие люди относятся к архетипам как к части механической системы, которую можно вызубрить, не вникая в смысл, то существенно важно настаивать на том, что это не просто имена и даже не философские понятия. Это куски самой жизни, образы, которые через мост эмоций интегрально связаны с живым человеком. Вот почему невозможно дать произвольную (или универсальную) интерпретацию любого архетипа. Его нужно объяснить способом, на который указывает вся жизненная ситуация индивида, которому она принадлежит.

Так, в случае ревностного христианина символ креста может быть истолкован только в христианском контексте, — если, конечно, сон не дает оснований рассматривать его иначе. Но даже и тогда специфический христианский смысл нужно держать в уме. Но нельзя сказать, что во все времена и во всех обстоятельствах символ креста имеет одно и то же значение. Если бы это было так, то он лишился бы своей сакральности (нуминозности), утратил бы свою жизненность и стал бы обычным словом.

Те, кто не ощущал особого чувственного тона архетипа, в конце концов приходят к путанице мифологических понятий, порой связывая их вместе, с тем, чтобы показать, что все что-то значит или не значит ничего. Мертвецы всего мира химически идентичны, чего нельзя сказать о живых людях. Архетипы оживают лишь тогда, когда терпеливо пытаешься понять, как и почему несут они свой смысл всякому живущему человеку.

Пустое дело пользоваться словами, если не знаешь, что за ними стоит. Это, в частности, справедливо для психологии, когда мы говорим о таких архетипах, как Анима и Анимус, мудрец, Великая Мать и т.д. Можно знать все о святых, мудрецах, пророках и других отмеченных Богом людях, и о всех великих матерях мира. Но если они всего лишь образы, чья божественность (нуминозность) никогда вами не переживалась, то вы будете говорить о них как бы во сне, не зная того, о чем вы говорите. Слова будут пустыми и обесцененными. Они оживут и приобретут смысл лишь в том случае, если вы попытаетесь принять во внимание их божественность (нуминозность), т.е. их связь с живущими. Только тогда вы начнете

понимать, что имена мало что значат, в то время как самым главным оказывается способ, которым они связаны с вами.

Символом—продуцирующее назначение наших снов является, таким образом, попыткой привести исходный разум человека в «продвинутое» или «дифференцированное» состояние, в котором он до этого не был и, стало быть, никогда не подвергался критическому самоанализу. В те давно ушедшие века этот первоначальный разум представлял целостного человека. С развитием сознания разум начал терять контакт с первобытной психической энергией. И сознающий разум никогда не знал своего первоначального «предка», поскольку тот был отброшен в процессе эволюции самого дифференцированного сознания, которое одно только и могло бы его узнать.

Однако, похоже, то, что мы называем бессознательным, сохранило те исходные позиции, которые образовали часть первоначального разума. К этим характеристикам и адресуются постоянно символы снов, как будто бессознательное пытается вернуть назад все те старые вещи, от которых разум освобождался по мере того, как эволюционировал, — иллюзии, фантазии, архаические мыслеформы, главные инстинкты и т.д. Именно это объясняет сопротивление, даже страх, который часто испытывают люди, соприкасаясь с бессознательными проявлениями в самих себе. Эти реликтовые содержания, оказывается, отнюдь не нейтральны или индифферентны. Напротив, они столь сильно выражены, что зачастую становятся совершенно неприемлемыми. Они могут вызвать настоящий страх. Чем сильнее они вытесняются, тем более рассредотачиваются в личностной сфере и в виде невроза.

Именно психическая энергия наделяет их такой жизненной важностью. Подобно человеку, который, прожив бессознательный период, вдруг осознал, что в его памяти образовался провал: произошли какие-то важные события, которые он не помнит. В той степени, в какой он предполагает, что психическое есть исключительно личное дело (что обычно и предполагается), человек пытается восстановить явно утраченные детские воспоминания. Но провалы в его детской памяти всего лишь симптомы более важной потери — утраты первобытной психики.

Так же, как эволюция эмбриона повторяет его предысторию, так и разум развивается путем перехода через ряд доисторических стадий. Основная задача снов заключается в возвращении доисторического «воспоминания», как и мира детства, непосредственно до уровня самых примитивных инстинктов. Как уже давно заметил Фрейд, такие воспоминания могут иметь в некоторых случаях заметный лечебный

эффект. Это наблюдение подтверждает ту точку зрения, что провалы в детской памяти (так называемая амнезия) представляют утрату, восполнение которой — положительный сдвиг в жизни и самочувствии.

Поскольку ребенок физически мал, а его сознательные мысли редки и просты, мы не представляем тех далеко идущих усложнений детского разума, базирующихся на изначальной идентичности с доисторическим психическим. Этот «первоначальный разум» так же присутствует и действует у ребенка, как эволюционные стадии человека присутствуют в теле его эмбриона. Если читатель помнит то, что я сказал ранее об удивительных снах девочки, подарившей свои сны отцу, он поймет, что я имею в виду.

В детской амнезии можно отыскать странные мифологические фрагменты, также часто проявляющиеся в позднейших психозах. Образы подобного рода очень сакральны и потому достаточно важны. Если такие воспоминания возникают вновь у взрослого, то в некоторых случаях они могут вызывать глубокие психологические расстройства, тогда как у других людей эти воспоминания приносят чудесные исцеления или религиозные обращения. Зачастую они возвращают часть жизни, долгое время утраченной, часть, приносящую цель и тем самым обогащающую человеческое бытие.

Возвращение детских воспоминаний и воссоздание архетипических путей психического поведения может расширить горизонт и увеличить уровень сознания при условии, что человек преуспеет в усвоении и интеграции сознательным разумом утраченных и вновь обретенных содержаний. Поскольку эти содержания не безразличны человеку, их усвоение преобразует личность, равно как и сами содержания подвергаются определенным изменениям. Важную практическую роль интерпретация символов играет в процессе «индивидуации» [28]. Именно символы оказываются естественными попытками примирить и объединить внутриспсихические оппозиции.

Естественно, просто замеченные и затем отстраненные символы не могут иметь такого эффекта и будут лишь повторным установлением старого невротического состояния и разрушением попыток синтеза. Но, к несчастью, те редкие люди, которые не отрицают самого существования архетипов, почти неизменно относятся к ним лишь как к словам и забывают об их живой реальности. Когда таким «незаконным» образом устранена сакральность, начинается процесс неограниченных подмен, — человек легко скользит от архетипа к архетипу, в которых все обозначает все. Действительно, в значительной степени архетипические формы

взаимозаменяемы. Но их сакральность (нуминозность) остается фактом и представляет ценность архетипического события.

Эту эмоциональную ценность необходимо постоянно иметь в виду в течение всего процесса толкования сна. Слишком легко потерять эту ценность, поскольку мышление и чувство столь диаметрально противоположны, что мышление почти автоматически отбрасывает чувственные ценности и наоборот. Психология — единственная наука, которая должна принимать в расчет фактор ценности (т.е. чувства), поскольку это связь между психическими событиями и жизнью. По этому случаю психологию часто обвиняют в ненаучности, но критики не понимают научную и практическую необходимость отдать должное внимание чувству.

Лечение расщепления

Наш интеллект создал новый мир, господствующий в природе, и населил его чудовищными машинами. Эти машины, без сомнения, оказались полезными, и настолько, что мы не видим возможности избавиться от них и своего раболепия перед ними. Человек вынужден следовать рискованным наущениям своего научного и изобретательского разума, и восхищаться собой за свои великолепные достижения. В то же время его гений демонстрирует опасную тенденцию к изобретению вещей, которые становятся все более и более угрожающими, так как представляют все более лучшие способы коллективного самоубийства.

Ввиду лавинообразного роста мирового населения человек уже начал искать пути и средства удержания грозящего людского наводнения. Но природа может предвосхитить все наши попытки, обратив против человека его же собственный созидательный разум. Водородная бомба, например, могла бы с успехом приостановить перенаселение.

Несмотря на наше горделивое превосходство над природой мы все еще ее жертвы, ибо не научились контролировать свое собственное естество. Медленно, с завидным упорством мы кличем себе беду. Богов, к которым мы могли бы обратиться за помощью, больше нет. Великие религии мира страдают от растущей анемии, потому что боги—покровители бежали из лесов, рек, гор, животных, а богочеловеки скрылись под землей в бессознательном. Мы дурачим себя, считая, что они ведут постыдное существование среди пережитков нашего прошлого. Нашей сегодняшней жизнью владеет Богиня Разума, наша величайшая и самая трагическая иллюзия. Мы уверяем себя, что с помощью разума «завоевали природу». Но это лишь лозунг — так называемое завоевание природы оборачивается перенаселенностью и добавляет к нашим бедам психологическую неспособность к нужным политическим реакциям. И людям остается лишь ссориться и сражаться за превосходство друг над другом.

Можно ли говорить после этого, что мы «завоевали природу»? Так как любое изменение должно где-то начинаться, то пережить и вынести его в себе должен отдельный человек. Реальное изменение должно начаться внутри самого человека, и этим человеком может быть любой из нас. Никто не может озираться кругом в ожидании, что кто-то еще сделает то, что он не хочет делать сам. Но поскольку, кажется, никто не знает, что делать, то, возможно, каждому из нас стоит спросить себя: может быть, мое

бессознательное знает, что может нам помочь? Ясно, что сознательный разум не способен сделать что-либо полезное в этом отношении. Сегодня человек с болью воспринимает тот факт, что ни его великие религии, ни многочисленные философии не дают ему того мощного воодушевляющего идеала, обеспечивающего ту безопасность, в которой он нуждается перед лицом нынешнего состояния мира.

Я знаю, что буддисты скажут: «Все было бы так, как надо, если бы люди только следовали «благородному восьмеричному пути Дхармы» и имели бы правильное понимание Самости» [\[29\]](#). Христианин скажет нам, что если бы только люди имели веру в Бога, то мы имели бы лучший мир. Рационалист будет утверждать, что окажись люди более понимающими и разумными, все наши проблемы были бы разрешаемы. Трудность заключается в том, что ни один из них сам эти проблемы решить не может.

Христиане часто спрашивают, почему Бог ничего не говорит им, как — согласно вере — делал это в прежние времена. Когда я слышу подобные вопросы, то всегда вспоминаю о раввине, которого спросили, как это может быть, что Бог часто являл себя людям в давние дни, а ныне его никто не видит. Рабби ответил: «Сегодня больше не осталось никого, кто мог бы поклониться достаточно низко». Этот ответ попадает в самую точку. Мы настолько привязаны и захвачены своим субъективным сознанием, что забыли о стародавнем факте, о том, что Бог творит главным образом через сны и видения.

Буддист отвергает мир бессознательных фантазий как бесполезную иллюзию, христианин помещает свою Церковь и Библию между собой и своим бессознательным, а рациональный интеллектуал даже не знает, что его сознание — это еще не вся психика. Это невежество торжествует даже сегодня, несмотря на то, что более 70 лет назад бессознательное уже было основным научным понятием, необходимым в любом серьезном психологическом исследовании. Мы не можем больше позволять себе выступать в роли Всемогущего Бога, восседающих судей, рассуждающих о достоинствах и недостатках природных явлений. Мы уже не строим свою ботанику на старомодном разделении растений на полезные и вредные, а зоологию по наивному делению животных на опасных и безвредных. Но мы все еще самодовольно считаем, что сознание имеет смысл, а бессознательное — явная чепуха. В науке такое высокомерие вызвало бы смех в зале. Имеют или не имеют смысл, скажем, микробы? Чем бы бессознательное ни было, оно является естественным природным явлением, воспроизводящим осмысленные символы. Нельзя ожидать, что тот, кто ни разу не заглянул в микроскоп, будет специалистом по микробам,

но также и тот, кто всерьез не изучал натуральные символы, не может считаться компетентным судьей в этом деле.

Но общая недооценка человеческой души столь велика, что ни великие религии, ни философии, ни научный рационализм не изъявили желания взглянуть на нее дважды. Несмотря на то, что католическая церковь допускает появление снов, посланных Богом (*Somnia a Deo missa*), большинство духовных деятелей ее не делают серьезных попыток понять сны. Я сомневаюсь, что существует протестантский трактат или доктрина, опустившаяся до того, чтобы допустить возможность услышать во сне глас Божий (*vox Dei*). Но если теолог действительно верит в Бога, то какие основания у него считать, что Бог не способен говорить посредством сновидений? Я потратил более полувека на изучение натуральной символики и пришел к выводу, что сновидения и их символика не являются бессмысленными и бестолковыми. Наоборот, сны дают наиболее интересную информацию как раз тем, кто прилагает усилия к тому, чтобы понять их символы. Результаты, конечно, имеют мало общего с такими делами, как купля—продажа. Но смысл жизни не определяется всецело лишь деловой жизнью, так же как глубина желаний человеческого сердца не измеряется величиной счета в банке.

В тот период человеческой истории, когда энергия всех пытливых сил тратилась на изучение природы, очень мало внимания обращалось на сущность человека, на то, что и составляет его психическое начало, хотя много исследований функций сознания было проведено. Но самая сложная и неведомая часть разума, производящая символы, до сих пор почти не исследована. Это может показаться почти невероятным, ведь мы получаем сигналы из бессознательного каждую ночь, но расшифровка этих посланий представляется слишком утомительным занятием почти для всех, исключая немногих людей, которых это беспокоит. Величайший инструмент человека, его психика, привлекает мало внимания, зачастую ей попросту не доверяют и презирают ее. Пренебрежительное: «Это всего лишь психология» часто означает пустоту, ничто.

Откуда пошли эти повсеместные предрассудки? Очевидно, мы настолько были заняты тем, о чем мы думали, что совершенно забыли спросить, а что же бессознательное психическое думает о нас? Идеи Зигмунда Фрейда подтвердили существование презрения к психическому у большинства людей. До него бессознательным просто пренебрегали и не замечали его, теперь же оно стало свалкой всего морально отвергнутого.

Сегодняшняя точка зрения, конечно, односторонняя и несправедливая. Она не согласуется даже с известными фактами. Фактическое знание о

бессознательном показывает, что это природное явление и — как и сама Природа — оно, по крайней мере, нейтрально. Бессознательное содержит все аспекты человеческой природы — свет и тьму, красоту и безобразие, добро и зло, мудрость и глупость. Изучение индивидуального и коллективного символизма — задача огромная и до сих пор не решенная. Но начало уже положено. Первые результаты обнадеживают, и они указывают направление ответа на многие нерешенные вопросы сегодняшнего дня человечества.

Об архетипах коллективного бессознательного

Статья «Об архетипах коллективного бессознательного» впервые была опубликована в 1934 г. в ежегоднике «Эранос». В переработанном виде она вошла в книгу «О корнях бессознательного» (1954). Перевод осуществлен А.М.Руткевичем.

Гипотеза о существовании коллективного бессознательного принадлежит к числу тех научных идей, которые поначалу остаются чуждыми публике, но затем быстро превращаются в хорошо ей известные и даже популярные. Примерно то же самое произошло и с более емким и широким понятием «бессознательного». После того как философская идея бессознательного, которую разрабатывали преимущественно Г.Карус и Э. фон Гартман, не оставив заметного следа пошла ко дну, захлестнутая волной моды на материализм и эмпиризм, эта идея по прошествии времени вновь стала появляться на поверхности, и прежде всего в медицинской психологии с естественно—научной ориентацией. При этом на первых порах понятие «бессознательного» использовалось для обозначения только таких состояний, которые характеризуются наличием вытесненных или забытых содержаний. Хотя у Фрейда бессознательное выступает — по крайней мере метафорически — в качестве действующего субъекта, по сути оно остается не чем иным, как местом скопления именно вытесненных содержаний; и только поэтому за ним признается практическое значение. Ясно, что с этой точки зрения бессознательное имеет исключительно личностную природу ^[30], хотя, с другой стороны, уже Фрейд понимал архаико-мифологический характер бессознательного способа мышления.

Конечно, поверхностный слой бессознательного является в известной степени личностным. Мы называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится на другом, более глубоком, ведущем свое происхождение и приобретаемом уже не из личного опыта. Этот врожденный более глубокий слой и является так называемым коллективным бессознательным. Я выбрал термин «коллективное», поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуальную, а

всеобщую природу. Это означает, что оно включает в себя, в противоположность личностной душе, содержания и образы поведения, которые *cum grano salis* являются повсюду и у всех индивидов одними и теми же. Другими словами, коллективное бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным. Существование чего-либо в нашей душе признается только в том случае, если в ней присутствуют так или иначе осознаваемые содержания. Мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, в какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном бессознательном это по большей части так называемые эмоционально окрашенные комплексы, образующие интимную душевную жизнь личности.

Содержаниями коллективного бессознательного являются так называемые архетипы. Выражение «архетип» встречается уже у Филона Иудея (*De Opif. Mundi*, § 69) по отношению к *Imago Dei* в человеке. Также и у Иринея, где говорится: «*Mundi fabricator non a semetipso fecit haec, sed de aliis archetypis transtulit*» («Творец мира не из самого себя создал это, он перенес из посторонних ему архетипов»). Хотя у Августина слово «архетип» и не встречается, но его заменяет «идея» — так в *De Div. Quaest.*, 46: «*Idae, quae ispaе formatae non sunt... quae in divina intelligentia continentur*» («Идеи, которые сами не созданы... которые содержатся в божественном уме»). Понятие «архетип» является верным и полезным для наших целей, поскольку оно значит, что, говоря о содержаниях коллективного бессознательного, мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т.е. испокон веку наличными всеобщими образами. Без особых трудностей применимо к бессознательным содержаниям и выражение «*representations collectives*» (фр. «коллективные представления»), которое употреблялось Леви-Брюлем для обозначения символических фигур в первобытном мировоззрении. Речь идет практически все о том же самом: примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными архетипами. Правда, это уже не содержания бессознательного; они успели приобрести осознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного обучения в основном в виде тайных учений, являющихся вообще типичным способом передачи коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном.

Другим хорошо известным выражением архетипов являются мифы и сказки. Но и здесь речь идет о специфических формах, передаваемых на протяжении долгого времени. Подобным образом использовался «архетип» алхимиками, например, в *Hermetis Trismigisti tract.aur.* (*Theatr. Chem.*, 1613,

IV, 718): «Ut Deus omnem divinitatis suae thesaurum... in se tanquam archetypo absconditum... eodem modo Saturnus occulte corporum metallicum simulacra in se circumferens» («Подобно Богу, хранящему все свои божественные сокровища... в себе как в сокровенном архетипе... так же Сатурн хранит в себе тайные подобия металлических тел»). У Вингеруса (Tract. De igne et sale // Theatr. Chem., 1661, VI. 3) мир является «ad archetypū sui similitudinem factus» («Созданным по подобию со своим архетипом»), а потому называется «mangus homo» («homo maximus» у Сведенборга).

(пропущено)

... к representations collectives (фр. «коллективным представлениям»), в которых оно обозначает только ту часть психического содержания, которая еще не прошла какой-либо сознательной обработки и представляет собой еще только непосредственную психическую данность. Архетип как таковой существенно отличается от исторически сформировавшихся или переработанных форм. На высших уровнях тайных учений архетипы предстают в такой оправе, которая, как правило, безошибочно указывает на влияние сознательной их переработки в суждениях и оценках. Непосредственные проявления архетипов, с которыми мы встречаемся в сновидениях и видениях, напротив, значительно более индивидуальны, непонятны или наивны, нежели, скажем, мифы. По существу, архетип представляет то бессознательное содержание, которое изменяется, становясь осознанным к воспринятым; оно претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает [\[31\]](#).

То, что подразумевается под «архетипом», проясняется через его соотнесение с мифом, тайным учением, сказкой. Более сложным оказывается положение, если мы попытаемся психологически обосновать, что такое архетип. До сих пор при исследовании мифов удовлетворялись солярными, лунарными, метеорологическими и другими вспомогательными представлениями. Практически не обращалось внимания на то, что мифы — в первую очередь психические явления, выражающие глубинную суть души. Дикарь не склонен к объективному объяснению самых очевидных вещей. Напротив, он постоянно испытывает потребность или, лучше сказать, в его душе имеется непреодолимое стремление приспособлять весь внешний опыт к душевным событиям. Дикарю недостаточно просто видеть, как встает и заходит Солнце, — эти наблюдения внешнего мира должны одновременно быть психическими событиями, т.е. метаморфозы Солнца должны представлять судьбу Бога или героя, обитающего, по сути дела, в самой человеческой душе.

Все мифологизированные естественные процессы, такие, как лето и зима, новолуние, дождливое время года и т.д. не столько аллегория [32] самих объективных явлений, сколько символические выражения внутренней и бессознательной драмы души. Она улавливается человеческим сознанием через проекции, т.е. будучи отраженной в зеркале природных событий. Такое проецирование лежит у самых оснований, а потому потребовалось несколько тысячелетий истории культуры, чтобы хоть как-то отделить проекцию от внешнего объекта. Например, в астрологии дело дошло до абсолютной дискредитации этой древнейшей «scientia intuitiva», поскольку психологическая характерология не была отделена от звезд. Тот, кто еще верит сегодня — или уверовал заново — в астрологию, почти всегда возвращается к древним предрассудкам о влиянии созвездий. Но каждому, кто способен исчислить гороскоп, должно быть известно, что во времена Гиппарха Александрийского день весеннего равноденствия был установлен в 0° Овна. Тем самым, любой гороскоп основывается на произвольно выбранном знаке Зодиака, так как со времен Гиппарха весеннее равноденствие сместилось в силу прецессии по меньшей мере к началу Рыб.

Субъективность первобытного человека столь удивительна, что самым первым предположением должно было бы быть выведение мифов из его душевной жизни. Познание природы сводится для него, по существу, к языку и внешним проявлениям бессознательных душевных процессов. Их бессознательность представляет собой причину того, что при объяснении мифов обращались к чему угодно, но только не к душе. Недоступным пониманию было то, что душа содержит в себе все те образы, из которых ведут свое происхождение мифы, что наше бессознательное является действующим и претерпевающим действия субъектом, драму которого первобытный человек по аналогии обнаруживал в больших и малых природных процессах [33]. «В твоей груди звезды твоей судьбы», — говорит Зени Валленштейну; чем и довольствовалась вся астрология, когда лишь немногие знали об этой тайне сердца. Не было достаточного ее понимания, и я не решусь утверждать, что и сегодня что-либо принципиально изменилось в лучшую сторону.

Родоплеменные учения священно—опасны. Все тайные учения пытаются уловить невидимые душевные события и все они претендуют на высший авторитет. Это в еще большей мере верно по отношению к господствующим мировым религиям. Они содержат изначально тайное сокровенное знание и выражают тайны души с помощью величественных

образов. Их храмы и священные писания возвещают в образе и слове освященные древностью учения, сочетающие в себе одновременно религиозное чувство, созерцание и мысль. Необходимо отметить, что чем прекраснее, грандиознее, обширнее становится этот передаваемый традицией образ, тем дальше он от индивидуального опыта. Что-то еще чувствуется, воспринимается нами, но изначальный опыт потерян. Почему психология является самой молодой опытной наукой? Почему бессознательное не было уже давно открыто, а его сокровища представляли только в виде этих вечных образов? Именно потому, что для всего душевного имеются религиозные формулы, причем намного более прекрасные и всеохватывающие, чем непосредственный опыт.

Если для многих христианское мирозерцание поблекло, то сокровищницы символов Востока все еще полны чудес. Любопытство и желание получить новые наряды уже приблизили нас к ним. Причем эти образы — будь они христианскими, буддистскими или еще какими-нибудь, — являются прекрасными, таинственными, пророческими. Конечно, чем привычнее они для нас, чем более они стерты повседневным употреблением, тем чаще от них остается только банальная внешняя сторона и почти лишенная смысла парадоксальность. Таинство непорочного зачатия, единосушность Отца и Сына или Троица, не являющаяся простой триадой, не окрыляют более философскую фантазию. Они стали просто предметом веры. Неудивительно поэтому, что религиозная потребность, стремление к осмыслению веры, философская спекуляция влекут образованных европейцев к восточной символической, к грандиозным истолкованиям божественного в Индии и к безднам философии даосов Китая. Подобным образом чувство и дух античного человека были захвачены в свое время христианскими идеями. И сейчас немало тех, кто поначалу поддается влиянию христианских символов — пока у них не вырабатывается кьеркегоровский невроз. Или же их отношение к Богу вследствие нарастающего обеднения символической сводится к обостренному до невыносимости отношению «Я» — «Ты», чтобы затем не устоять перед соблазном волшебной свежести необычайных восточных символов. Испытание такого рода не обязательно оканчивается провалом, оно может привести к открытости и жизненности религиозного восприятия. Мы наблюдаем нечто сходное у образованных представителей Востока, которые нередко выказывают завидное понимание христианских символов и столь неадекватной восточному духу европейской науки.

Тяга к вечным образам нормальна, для того они и существуют. Они должны привлекать, убеждать, очаровывать, потрясать. Они созданы из

материала откровения и отображают первоначальный опыт божества. Они открывают человеку путь к пониманию божественного и одновременно предохраняют от непосредственного с ним соприкосновения. Благодаря тысячелетним усилиям человеческого духа эти образы уложены во всеохватывающую систему мироупорядовывающих мыслей. Они предстают в то же самое время в виде могущественного, обширного, издревле почитаемого института, каковым является церковь.

Лучше всего проиллюстрировать это на примере одного швейцарского мистика и затворника, недавно канонизированного брата Николая из Флюэ, важнейшим переживанием которого было так называемое видение троичности. Оно настолько занимало его, что было изображено им, либо — по его просьбе — другими на стене кельи. В приходской церкви Заксельна сохранилось изображение видения, созданное тогдашним художником. Это разделенная на шесть частей мандала, в центре которой находится коронованный нерукотворный образ. Нам известно, что брат Николай пытался исследовать сущность своего видения с помощью иллюстрированной книжки какого-то немецкого мистика и неустанно трудился над тем, чтобы придать своему первопереживанию удобопонимаемую форму. На протяжении многих лет он занимался именно тем, что я называю «переработкой» символа. На размышления брата Николая о сущности видения повлияли мистические диаграммы его духовных руководителей. Поэтому он пришел к выводу, что он, должно быть, увидел саму святую Троицу, саму вечную любовь. Такому истолкованию соответствует и вышеуказанное изображение в Заксельне.

Первопереживание, однако, было совсем иным. Он был настолько «восхищен», что сам вид его стал страшен окружающим, изменилось его лицо, да так, что от него стали отшатываться, его стали бояться. Увиденное им обладало невероятной интенсивностью. Об этом пишет Вельфлин: «Все приходившие к нему с первого взгляда преисполнялись жуткого страха. О причине этого страха он сам говорил, что видел пронизывающий свет, представленный человеческим ликом. Видение было столь устрашающим, что он боялся, как бы сердце не разорвалось на мельчайшие части. Поэтому-то у него, оглушенного ужасом и поверженного на землю, изменился и собственный вид, и стал он для других страшен» [\[34\]](#).

Были все основания для установления связи между этим видением и апокалиптическим образом Христа (Апок.,1, 13), который по своей жуткой необычности превзойден лишь чудовищным семиглазым агнцем с семью рогами (Апок.,V, 6). Трудно понять соотношение этой фигуры с евангельским Христом. Видение брата Николая уже в его время стало

истолковываться особым образом. В 1508 г. гуманист Карл Бовиллус писал своему другу: «Я хотел бы исправить тот лик, который привиделся ему на небе в звездную ночь, когда он предавался молитве и созерцанию. А именно, человеческий лик с устрашающим видом, полным гнева и угрозы» и т.д. [35]. Это истолкование вполне соответствует современной амплификации (Апок., I, 13) [36]. Не нужно забывать и о других видениях брата Николая, например, Христа в медвежьей шкуре, Господа и его Жены — с братом Николаем как сыном и т.п. В значительной своей части они выказывают столь же далекие от догматики черты.

С этим великим видением традиционно связывается образ Троицы в заксельнской церкви, а также символ круга в так называемом «Трактате паломника»: брат Николай показал навестившему его паломнику этот образ. Бланке полагает, вопреки традиции, что между видением и образом Троицы нет никакой связи [37]. Мне кажется, что в данном случае скептицизм заходит слишком далеко. Интерес брата к образу круга должен был иметь основания. Подобные видения часто вызывают смятение и расстройство (сердце при этом «разрывается на части»). Опыт учит, что «оберегающий круг», мандала, издавна является средством против хаотических состояний духа. Вполне понятно поэтому, что брат был очарован символом круга. Но истолкование ужасного видения как богооткровенного не должно было им отвергаться. Связь видения и образа Троицы в Заксельне с символом круга кажется мне весьма вероятной, если исходить из внутренних, психологических оснований.

Видение было, несомненно, возбуждающим страх, вулканическим. Оно прорвалось в религиозное мирозерцание брата Николая без догматического введения и без экзегетического комментария. Естественно, оно потребовало длительной работы для ассимиляции, чтобы привести в порядок душу и видение мира в целом, восстановить нарушенное равновесие. Это переживание истолковывалось на основе непоколебимой в то время догматики, которая доказала свою способность ассимиляции. Страшная жизненность видения была преобразована в прекрасную наглядность идеи Троицы. Не будь этого догматического основания, последствия видения с его жуткой фактичностью могли бы быть совсем иными. Вероятно, они привели бы к искажению христианских представлений о Боге и нанесли величайший вред самому брату Николаю, которого признали бы тогда не святым, а еретиком (если не психически больным), и вся его жизнь, возможно, закончилась бы крушением.

Данный пример показывает полезность догматических символов. С их

помощью поддаются формулировке столь же могущественные, сколь и опасные душевные переживания, которые из-за их всевластности вполне можно назвать «богооткровенными». Символы дают пережитому форму и способ вхождения в мир человечески—ограниченного понимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба для его высшей значимости. Лик гнева Божьего (можно встретить его также у Якоба Бёме) плохо сочетается с новозаветным Богом — любящим Отцом небесным.

Видение легко могло стать источником внутреннего конфликта. Нечто подобное присутствовало в самом духе времени конца XV в., когда Николай Кузанский своей формулой *complexio oppositorum* пытался предотвратить нарастающую угрозу церковного раскола. Вскоре после этого у многих заново рождавшихся в протестантизме происходит столкновение с переживанием яхвистического бога — божества, содержащиеся в котором противоположности еще не отделились друг от друга. Брат Николай обладал определенными навыками и опытом медитации, он оставил дом и семью, долго жил в одиночестве, глубоко заглянул в то темное зеркало, в котором отразился чудесный и страшный свет изначального. Развивавшийся на протяжении многих тысячелетий догматический образ божества в этой ситуации сработал как спасительное лекарство. Он помог ему ассимилировать фатальный прорыв архетипического образа и тем самым избежать разрушения его собственной души. Ангелус Силезиус был не настолько удачлив: его раздирали внутренние контрасты, ибо к его времени гарантированная догматами крепость церкви была уже поколеблена.

Якобу Бёме бог был известен и как «пламя гнева», и как истинно сокровенный. Но ему удалось соединить глубинные противоположности с помощью христианской формулы «Отец — Сын», включив в нее свое гностическое (но в основных пунктах все же христианское) мировоззрение. Иначе он стал бы дуалистом. Кроме того, ему на помощь пришла алхимия, в которой уже издавна подготавливалось соединение противоположностей. Но все же не зря у него изображающая божество мандала (приведена в «Сорока вопросах о душе») содержит отчетливые следы дуализма. Они состоят из темной и светлой частей, причем соответствующие полусферы разделяются, вместо того чтобы сходиться ^[38].

Формулируя коллективное бессознательное, догмат замещает его в сознании. Поэтому католическая форма жизни в принципе не знает психологической проблематики. Жизнь коллективного бессознательного преднаходится в догматических архетипических представлениях, и безостановочно протекает в ритуалах и символике. Жизнь коллективного

бессознательного открывается во внутреннем мире католической души. Коллективное бессознательное, каким мы знаем его сегодня, ранее вообще никогда не было психологическим. До христианской церкви существовали античные мистерии, а они восходят к седой древности неолита. У человечества никогда не было недостатка в могущественных образах, которые были магической защитной стеной против жуткой жизненности, таящейся в глубинах души. Бессознательные формы всегда получали выражение в защитных и целительных образах и тем самым выносились в лежащее за пределами души космическое пространство.

Предпринятый Реформацией штурм образов буквально пробил брешь в защитной стене священных символов. С тех пор они рушатся один за другим. Они сталкиваются, отвергаются пробужденным разумом. К тому же, их значение давно забыто. Впрочем, забыто ли? Может быть, вообще никогда не было известно, что они означали, и лишь в Новое время протестантское человечество стало поражаться тому, что ничего не знает о смысле непорочного зачатия, о божественности Христа или о сложностях догмата о троичности? Может даже показаться, что эти образы принимались без сомнений и рефлексии, что люди относились к ним так же, как к украшению рождественской елки или крашеным пасхальным яйцам — совершенно не понимая, что означают эти обычаи. На деле люди как раз потому почти никогда не задаются вопросом о значении архетипических образов, что эти образы полны смысла. Боги умирают время от времени потому, что люди вдруг обнаруживают, что их боги ничего не значат, сделаны человеческой рукой из дерева и камня и совершенно бесполезны. На самом деле обнаруживается лишь то, что человек ранее совершенно не задумывался об этих образах. А когда он начинает о них думать, он прибегает к помощи того, что сам он называет «разумом», но что в действительности представляет собой только сумму его близорукости и предрассудков.

История развития протестантизма является хроникой штурма образов. Одна стена падала за другой. Да и разрушать было не слишком трудно после того, как был подорван авторитет церкви. Большие и малые, всеобщие и единичные, образы разбивались один за другим, пока наконец не пришла царствующая ныне ужасающая символическая нищета. Тем самым ослабились и силы церкви: она превратилась в твердыню без бастионов и казематов, в дом с рухнувшими стенами, в который ворвались все ветры и все невзгоды мира. Прискорбное для исторического чувства крушение самого протестантизма, разбившегося на сотни деноминаций, является верным признаком того, что этот тревожный процесс

продолжается. Протестантское человечество вытолкнуто за пределы охранительных стен, и оказалось в положении, которое ужаснуло бы любого естественно живущего человека. Но просвещенное сознание не желает ничего об этом знать, и в результате повсюду ищет то, что утратило в Европе. Изыскиваются образы и формы созерцания, способные действовать, способные успокоить сердце и утолить духовную жажду, — и сокровища находятся на Востоке.

Само по себе это не вызывает каких-либо возражений. Никто не принуждал римлян импортировать в виде ширпотреба азиатские культуры. Если бы германские народы не прониклись до глубины души христианством, называемым сегодня «чужеродным» [\[39\]](#), то им легко было бы его отбросить, когда поблек престиж римских легионов. Но христианство осталось, ибо соответствовало имевшимся архетипическим образам. С ходом тысячелетий оно стало таким, что немало удивило бы своего основателя, если бы он был жив; христианство у негров или индейцев дает повод для исторических размышлений. Почему бы Западу действительно не ассимилировать восточные формы? Ведь римляне отправлялись ради посвящения в Элевсин, Самофракию и Египет. В Египет с подобными целями совершались самые настоящие туристические вояжи.

Боги Эллады и Рима гибли от той же болезни, что и наши христианские символы. Как и сегодня, люди тогда обнаружили, что ранее совсем не задумывались о своих богах. Чужие боги, напротив, обладали нерастроченной *мана*. Их имена были необычны и непонятны, деяния темны, в отличие от хорошо известной скандальной хроники Олимпа. Азиатские символы были недоступны пониманию, а потому не казались банальными в отличие от собственных состарившихся богов. Безоглядное принятие нового и отбрасывание старого не превращалось тогда в проблему. Является ли это проблемой сегодня? Можем ли мы облечься, как в новое платье, в готовые символы, выросшие на азиатской экзотической почве, пропитанные чужой кровью, воспетые на чуждых языках, вскормленные чужими культами, развивавшиеся по ходу чужой истории? Нищий, нарядившийся в княжеское одеяние, или князь в нищенских лохмотьях? Конечно, и это возможно, хотя может быть в нас самих еще жив наказ — не устраивать маскарад, а шить самим свою одежду.

Я убежден в том, что растущая скудость символов не лишена смысла. Подобное развитие обладает внутренней последовательностью. Теряется все то, о чем не задумываются, что тем самым не вступает в осмысленное отношение с развивающимся сознанием. Тот, кто сегодня пытается, подобно теософам, прикрыть собственную наготу роскошью восточных

одежд, просто не верен своей истории. Сначала приложили все усилия, чтобы стать нищими изнутри, а потом позируют в виде театрального индийского царя. Мне кажется, что лучше уж признаться в собственной духовной нищете и утрате символов, чем претендовать на владение богатствами, законными наследниками которых мы ни в коем случае не являемся. Нам по праву принадлежит наследство христианской символики, только мы его где-то растратили. Мы дали пасть построенному нашими отцами дому, а теперь пытаемся влезть в восточные дворцы, о которых наши предки не имели ни малейшего понятия. Тот, кто лишился исторических символов и не способен удовлетвориться «эрзацем», оказывается сегодня в тяжелом положении. Перед ним зияет ничто, от которого он в страхе отворачивается. Хуже того, вакуум заполняется абсурдными политическими и социальными идеями, отличительным признаком которых является духовная опустошенность. Не удовлетворяющийся школьным всезнайством вынужден честно признаться, что у него осталось лишь так называемое доверие к Богу. Тем самым выявляется — еще более отчетливо — растущее чувство страха. И не без оснований — чем ближе Бог, тем большей кажется опасность. Признаваться в собственной духовной бедности не менее опасно: кто беден, тот полон желаний, а желающий навлекает на себя судьбу. Как верно гласит швейцарская поговорка: «За богатым стоит один дьявол, за бедняком — два». Подобно тому, как в христианстве обет мирской бедности применим по отношению к благам мира сего, духовная бедность означает отречение от фальшивых богатств духа — не только от скудных остатков великого прошлого, именуемых сегодня «протестантской церковью», но также от всех экзотических соблазнов. Она необходима, чтобы в холодном свете сознания возникла картина оголенного мира. Эту бедность мы унаследовали уже от наших отцов.

Мне вспоминается подготовка к конфирмации, которую проводил мой собственный отец. Катехизис был невыразимо скучен. Я перелистал как-то эту книжечку, чтобы найти хоть что-то интересное, и мой взгляд упал на параграфы о троичности. Это заинтересовало меня, и я с нетерпением стал дожидаться, когда мы дойдем на уроках до этого раздела. Когда же пришел этот долгожданный час, мой отец сказал: «Данный раздел мы пропустим, я тут сам ничего не понимаю». Так была похоронена моя последняя надежда. Хотя я удивился честности моего отца, это не помешайте мне с той поры смертельно скучать, слушая все толки о религии.

Наш интеллект неслыханно обогатился вместе с разрушением нашего духовного дома. Мы убедились к настоящему времени, что даже с

постройкой самого большого телескопа в Америке мы не откроем за звездными туманностями эмпирей, что наш взгляд обречен на блуждание в мертвой пустоте неизмеримых пространств. Не будет нам лучше и от того, что откроет математическая физика в мире бесконечно малого. Наконец, мы обращаемся к мудрости всех времен и всех народов и обнаруживаем, что все по-настоящему ценное уже давно было высказано на самом прекрасном языке. Подобно жадным детям, мы протягиваем руку к этим сокровищам мудрости и думаем, что если нам удастся их схватить, то они уже наши. Но мы не способны оценить то, что хватаем, руки устают, а сокровища все время ускользают. Они перед нами, повсюду, насколько хватает глаз. Все богатства превращаются в воду, как у того ученика чародея, который тонет в им самим вызванных водах [\[40\]](#). Ученик чародея придерживается спасительного заблуждения, согласно которому одна мудрость хороша, а другая плоха. Из такого рода учеников выходят беспокойные больные, верующие в собственную пророческую миссию. Искусственное разделение истинной и ложной мудрости ведет к такому напряжению в душе, что из него рождаются одиночество и мания, подобные тем, что характерны для морфинистов, мечтающих найти сотоварищей по пороку.

Когда улетучивается принадлежащее нам по праву родства наследство, тогда мы можем сказать вместе с Гераклитом, что наш дух спускается со своих огненных высот. Обретая тяжесть, дух превращается в воду, а интеллект с его люциферовской гордыней овладевает престолом духа. *Patris potestas* («отеческую власть») над душой может себе позволить дух, но никак не земнорожденный интеллект, являющийся мечом или молотом в руках человека, но не творцом его духовного мира, отцом души. Это хорошо отмечено Клагесом, решительным было восстановление приоритета духа и у Шелера — оба мыслителя принадлежат к той мировой эпохе, когда дух является уже не свыше, не в виде огня, а пребывает внизу в виде воды. Путь души, ищущей потерянного отца, — подобно Софии, ищущей Бюфос [\[41\]](#), — ведет к водам, к этому темному зеркалу, лежащему в основании души. Избравший себе в удел духовную бедность (подлинное наследие пережитого до конца протестантизма) вступает на путь души, ведущий к водам. Вода — это не прием метафорической речи, но жизненный символ пребывающей во тьме души.

Лучше проиллюстрировать это на конкретном примере (на месте этого человека могли бы оказаться многие другие). Протестантскому теологу часто снился один и тот же сон: он стоит на склоне, внизу лежит глубокая

долина, а в ней темное озеро. Во сне он знает, что до сего момента что-то препятствовало ему приблизиться к озеру. На этот раз он решается подойти к воде. Когда он приближается к берегу, становится темно и тревожно, и вдруг порыв ветра пробегает по поверхности воды. Тут его охватывает панический страх, и он просыпается.

Этот сон содержит природную символику. Сновидец нисходит к собственным глубинам, и путь его ведет к таинственной воде. И здесь совершается чудо купальни Вифезда ^[42]: спускается ангел и возмущает воды, которые тем самым становятся исцеляющими. Во сне это ветер, Пневма, дующий туда, куда пожелает. Требуется нисхождение человека к воде, чтобы вызвать чудо оживления вод. Дуновение духа, проскользнувшее по темной воде, является страшным, как и все то, причиной чего не выступает сам человек, либо причину чего он не знает. Это указание на невидимое присутствие, на нумен ^[43]. Ни человеческое ожидание, ни волевые усилия не могут даровать ему жизни. Дух живет у самого себя, и дрожь охватывает человека, если дух для него до той поры сводился к тому, во что верят, что сами делают, о чем написано в книгах или о чем говорят другие люди. Когда же дух спонтанно является, то его принимают за привидение, и примитивный страх овладевает рассудком. Так описали мне деяния ночных богов старики племени Элгоньи в Кении, называя их «делателями страха». «Он приходит к тебе. — говорят они, — как холодный порыв ветра. И ты дрожишь, а он кружится и насвистывает в высокой траве». Таков африканский Пан, бродящий с тростниковой флейтой и пугающий пастухов.

Но точно так же пугало во сне дуновение духа и нашего пастора, пастуха стад, подошедшего в сумерках к поросшему тростником берегу, к водам, лежащим в глубокой долине души. К природе, к деревьям, скалам и источникам вод спускается некогда огненный дух, подобно тому старцу в «Заратустре» Ницше, что устал от человечества и удалился в лес, чтобы вместе с медведями бурчанием приветствовать творца. Видимо, нужно вступить на ведущий всегда вниз путь вод, чтобы поднять вверх клад, драгоценное наследие отцов.

В гностическом гимне о душе сын посылается родителями искать жемчужину, утерянную из короны его отца—короля. Она покоится на дне охраняемого драконом глубокого колодца, расположенного в Египте — земле сладострастия и опьянения, физического и духовного изобилия. Сын и наследник отправляется, чтобы вернуть драгоценность, но забывает о своей задаче, о самом себе, предается мирской жизни Египта, чувственным

оргиям, пока письмо отца не напоминает ему, в чем состоит его долг. Он собирается в путь к водам, погружается в темную глубину колодца, на дне которого находит жемчужину. Она приводит его в конце концов к высшему блаженству.

Этот приписываемый Бардесану гимн принадлежит временам, которые во многом подобны нашему времени. Человечество искало и ждало, и была рыба — *Levatus de profundo* [44] — из источника, ставшего символом исцеления [45]. Пока я писал эти строки, мне пришло письмо из Ванкувера, написанное рукой неизвестного мне человека. Он дивился собственным сновидениям, в которых он постоянно имеет дело с водой: «Почти все время мне снится вода: либо я принимаю ванну, либо вода переполняет ватерклозет, либо лопается труба, либо мой дом сдвигается к краю воды, либо кто-то из знакомых тонет, либо я сам стараюсь выбраться из воды, либо я принимаю ванну, а она переполнена» и т.д. Вода является чаще всего встречающимся символом бессознательного. Покоящееся в низинах море — это лежащее ниже уровня сознания бессознательное. По этой причине оно часто обозначается как «подсознательное», нередко с неприятным привкусом неполноценного сознания. Вода есть «дух дольний», водяной дракон даосизма, природа которого подобна воде, Ян, принятый в лоно Инь. Психологически вода означает ставший бессознательным дух. Поэтому сон теолога говорил ему, что в водах он может почувствовать действие животворного духа, исцеляющего подобно купальне Вифезда.

Погружение в глубины всегда предшествует подъему. Так, другому теологу [46] снилось, что он увидел на горе замок Св. Грааля. Он идет по дороге, подводящей, кажется, к самому подножию горы, к началу подъема. Приблизившись к горе, он обнаруживает, к своему величайшему удивлению, что от горы его отделяет пропасть, узкий и глубокий обрыв, далеко внизу шумят подземные воды [47]. Но к этим глубинам по круче спускается тропинка, которая вьется вверх и по другой стороне. Тут видение померкло, и спящий проснулся. И в данном случае сон говорит о стремлении подняться к сверкающей вершине и о необходимости сначала погрузиться в темные глубины, снять с них покров, что является непременным условием восхождения. В этих глубинах таится опасность; благоразумный избегает опасности, но тем самым теряет и то благо, добиться которого невозможно без смелости и риска.

Истолкование сновидений сталкивается с сильным сопротивлением со стороны сознания, знающего «дух» только как нечто пребывающее в вышине. По видимости, «дух» всегда нисходит сверху, а снизу поднимается

все мутное и дурное. При таком понимании «дух» означает высшую свободу, парение над глубинами, выход из темницы хтонического. Такое понимание оказывается убежищем для всех страшящихся «становления». Вода, напротив, по-земному осязаема, она является текучестью тел, над которыми господствуют влечения, это кровь и кровожадность, животный запах и отягченность телесной страстью. Бессознательна та душа, которая скрывается от дневного света сознания — духовно и морально ясного — в той части нервной системы, которая с давних времен называется *Sympathicus*. В отличие от цереброспинальной системы, поддерживающей восприятие и мускульную деятельность, дающей власть над окружающим пространством, симпатическая система, не имея специальных органов чувств, сохраняет жизненное равновесие. Через возбуждение этой системы пролегает таинственный путь не только к вестям о внутренней сущности чужой жизни, но и к деятельности, изучаемой ею. Симпатическая система является наружной частью коллективной жизни и подлинным основанием *participation mystique*, тогда как цереброспинальная функция возвышается над нею в виде множества обособленных «Я». Поэтому она уловима только посредством того, что имеет пространственную поверхность, внешность. В последней все переживает как внешнее, в первой — как внутреннее.

Бессознательное обычно считают чем-то вроде футляра, в котором заключено интимно—личностное, т.е. примерно тем, что Библия называет «сердцем», и что, помимо всего прочего, содержит и все дурные помыслы. В камерах сердца обитают злые духи крови, внезапного гнева и чувствительных пристрастий. Так выглядит бессознательное с точки зрения сознания. Но сознание, по своей сущности, является родом деятельности большого головного мозга; оно раскладывает все на составные части и способно видеть все лишь в индивидуальном обличье. Не исключая и бессознательного, которое трактуется им как *мое* бессознательное. Тем самым, погружение в бессознательное понимается как спуск в полные влечения теснины эгоцентрической субъективности. Мы оказываемся в тупике, хотя думаем, что освобождаемся, занимаясь ловлей всех тех злых зверей, что населяют пещеру подземного мира души.

Тот, кто смотрит в зеркало вод, видит прежде всего собственное отражение. Идущий к самому себе рискует с самим собой встретиться. Зеркало не льстит, оно верно отображает то лицо, которое мы никогда не показываем миру, скрывая его за Персоной, за актерской личиной. Зеркало указывает на наше подлинное лицо. Такова проверка мужества на пути вглубь, проба, которой достаточно для большинства, чтобы отшатнуться, так как встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. Обычно

все негативное проецируется на других, на внешний мир. Если человек в состоянии увидеть собственную Тень и вынести это знание о ней, задача, хотя и в незначительной части, решена: уловлено по крайней мере личностное бессознательное.

Тень является жизненной частью личностного существования, она в той или иной форме может переживаться. Устранить ее безболезненно — с помощью доказательств или разъяснений — невозможно. Подойти к переживанию Тени необычайно трудно, так как на первом плане оказывается уже не человек в его целостности; Тень напоминает о его беспомощности и бессилии. Сильные натуры (не стоит ли их назвать скорее слабыми?) не любят таких отображений и выдумывают для себя какие-нибудь героические «по ту сторону добра и зла», разрубают гордые узлы вместо того, чтобы их развязать. Но раньше или позже результат будет тем же самым. Необходимо ясно осознать: имеются проблемы, которые просто невозможно решить собственными средствами. Такое признание имеет достоинство честности, истинности и действительности, а потому закладывает сознание для компенсаторской реакции коллективного бессознательного. Иначе говоря, появляется способность услышать мысль, готовую прийти на помощь, воспринять то, чему ранее не дано было выразиться в слове. Тогда мы начинаем обращать внимание на сновидения, возникающие в такие жизненные моменты, обдумывать события, которые как раз в это время начинают с нами происходить. Если имеется подобная установка, то могут пробудиться и вмешаться силы, которые дремлют в глубинной природе человека, и готовы прийти к нему на помощь. Беспомощность и слабость являются вечными переживаниями и вечными вопросами человечества, а потому имеется и совечный им ответ, иначе человек давно бы уже исчез с лица земли. Когда уже сделано все, что было возможно, остается нечто сверх того, что можно было бы сделать, если бы было знание. Но много ли человек знает о самом себе? Судя по всему имеющемуся у него опыту, очень немного. Для бессознательного остается вполне достаточно пространства. Молитва требует, как известно, сходной установки, а потому и приводит к соответствующим эффектам.

Необходимая реакция коллективного бессознательного выражается в архетипически оформленных представлениях. Встреча с самим собой означает, прежде всего, встречу с собственной Тенью. Это теснина, узкий вход, и тот, кто погружается в глубокий источник, не может оставаться в этой болезненной узости. Необходимо познать самого себя, чтобы тем самым знать, кто ты есть, — поэтому за узкой дверью он неожиданно обнаруживает безграничную ширь, неслыханно неопределенную, где нет

внутреннего и внешнего, верха и низа, здесь или там, моего и твоего, нет добра и зла. Таков мир вод, в котором свободно возвышается все живое. Здесь начинается царство «Symptaticus», души всего живого, где «Я» нераздельно есть и то, и это, где «Я» переживаю другого во мне, а другой переживает меня в себе. Коллективное бессознательное менее всего сходно с закрытой личностной системой, это открытая миру и равная ему по широте объективность. «Я» есть здесь объект всех субъектов, т.е. все полностью перевернуто в сравнении с моим обычным сознанием, где «Я» являюсь субъектом и имею объекты. Здесь же «Я» нахожусь в самой непосредственной связи со всем миром — такой, что мне легко забыть, кто же «Я» в действительности. «Я потерял самого себя» — это хорошее выражение для обозначения такого состояния. Эта Самость (Das Selbst) является миром или становится таковым, когда его может увидеть какое-нибудь сознание. Для этого необходимо знать, кто ты есть.

Едва соприкоснувшись с бессознательным, мы перестаем осознавать самих себя. В этом главная опасность, инстинктивно ощущаемая дикарем, находящимся еще столь близко к этой плероме, от которой он испытывает ужас. Его неуверенное в себе сознание стоит еще на слабых ногах; оно является еще детским, всплывающим из первоначальных вод. Волна бессознательного легко может его захлестнуть, и тогда он забывает о себе и делает вещи, в которых не узнает самого себя. Дикари поэтому боятся несдерживаемых эффектов — сознание тогда слишком легко уступает место одержимости.

Все стремления человечества направлялись на укрепление сознания. Этой цели служили ритуалы «representations collectives», догматы; они были плотинами и стенами, воздвигнутыми против опасностей бессознательного, этих perils of the soul. Первобытный ритуал не зря включал в себя изгнание духов, освобождение от чар, предотвращение недобрых предзнаменований, искупление, очищение и аналогичные им, т.е. магические действия. С тех древнейших времен воздвигались стены, позднее ставшие фундаментом церкви. Стены обрушились, когда от старости ослабели символы. Воды поднялись выше, и, подобные бушующим волнам, катастрофы накатываются на человечество. Религиозный вождь индейцев из Таоспуэбло, именуемый Локо Тененте Гобернадор, однажды сказал мне: «Американцам стоило бы перестать теснить нашу религию, потому что когда она исчезнет, когда мы больше не сможем помогать нашему Отцу—Солнцу двигаться по небу, то и американцы, и весь мир через десять лет увидят, как перестанет всходить Солнце». Это значит, что настанет ночь, погаснет свет сознания, прорвется

темное море бессознательного.

Первобытное или нет, человечество всегда стоит на пограничье с теми вещами, которые действуют самостоятельно и нами не управляемы. Весь мир хочет мира, и все снаряжаются к войне согласно аксиоме: *si vis pacem — para bellum* («Если хочешь мира, готовься к войне») — возьмем только один пример. Человечество ничего не может поделать с самим собой, и боги, как и прежде, определяют его судьбы. Сегодня мы именуем богов «факторами», от *facere* — «делать». Делатель стоит за кулисами мирового театра, как в больших, так и в малых делах. В нашем сознании мы господа над самими собой; нам кажется, будто мы и есть «факторы». Но стоит только шагнуть сквозь дверь Тени, и мы с ужасом обнаруживаем, что мы сами есть объект влияния каких-то «факторов». Знать об этом в высшей степени малоприятно: ничто так не разочаровывает, как обнаружение собственной недостаточности. Возникает даже повод для примитивной паники, поскольку пробуждается опасное сомнение относительно тревожно сберегавшейся веры в превосходство сознания. Действительно, сознание было тайной для всех человеческих свершений. Но незнание не укрепляет безопасности, оно, напротив, увеличивает опасность — так что лучше уж знать, несмотря на все страхи, о том, что нам угрожает. Правильная постановка вопроса означает наполовину решенную проблему. Самая большая опасность для нас проистекает из необозримости психических реакций. С древнейших времен наиболее рассудительные люди понимали, что любого рода внешние исторические условия — лишь повод для действительно грозных опасностей, а именно социально—политических безумий, которые не представляют каузально необходимых следствий внешних условий, но в главном были порождены бессознательным.

Эта проблематика является новой, поскольку во все предшествующие времена люди в той или иной форме верили в богов. Потребовалось беспримерное обеднение символики, чтобы боги стали открываться как психические факторы, а именно как архетипы бессознательного. Это открытие кажется пока недостоверным. Для убеждения нужен опыт вроде того, что в виде наброска присутствовал в сновиденьях теолога. Только тогда будет испытан дух в его кружении над водами. С тех пор как звезды пали с небес и поблекли наши высшие символы, сокровенная жизнь пребывает в бессознательном. Поэтому сегодня мы имеем психологию и говорим о бессознательном. Все это было и является излишним для тех времен и культурных форм, которые обладают символами. Тогда это символы горнего духа, и дух тогда пребывает свыше. Людям тех времен попытки вживаться в бессознательное или стремление его исследовать

показались бы безумным или бессмысленным предприятием. Для них в бессознательном не было ничего, кроме спокойного и ничем не затронутого господства природы. Но наше бессознательное скрывает живую воду, т.е. ставший природой дух. Тем самым была повреждена и природа. Небеса превратились в физикалистское мировое пространство, а божественный эмпирей стал лишь прекрасным воспоминанием о былом. Наше «но сердце пылает», наше тайное беспокойство гложет корни нашего бытия. Вместе с Вёлюспой мы можем спросить: «О чем шепчется Вотан с черепом Мимира? Уже кипит источник» [\[48\]](#).

Обращение к бессознательному является для нас жизненно важным вопросом. Речь идет о духовном бытии или небытии. Люди, сталкивающиеся в сновидениях с подобным опытом, знают, что сокровище покоится в глубинах вод, и стремятся поднять его. Но при этом они никогда не должны забывать, кем они являются, не должны ни при каких обстоятельствах расставаться с сознанием. Тем самым они сохраняют точку опоры на земле; они уподобляются — говоря языком притчи — рыбакам, вылавливающим с помощью крючка и сети все то, что плавает в воде. Глупцы бывают полные и не полные. Если есть и такие глупцы, что не понимают действий рыбаков, то уж сами-то они не ошибутся по поводу мирского смысла своей деятельности. Однако ее символика на много столетий старше, чем, скажем, неувядаемая весть о Святом Граале. Не каждый ловец рыбы является рыбаком. Часто эта фигура предстает на инстинктивном уровне, и тогда ловец оказывается выдрой, как нам это известно, например, по сказкам о выдрах Оскара А. Х. Шмитца.

Смотрящий в воду видит, конечно, собственное лицо, но вскоре на поверхность начинают выходить и живые существа; да, ими могут быть и рыбы, безвредные обитатели глубин. Но озеро полно призраков, водяных существ особого рода. Часто в сети рыбаков попадают русалки, женственные полурыбы-полулюди. Русалки зачаровывают: «Halb zog sie ihn, halb sank er hin Und ward nicht mehr gesehen» (нем. «Она наполовину высунулась из воды, он наполовину погрузился, и больше его уже не видели».) Русалки представляют собой инстинктивную первую ступень этого колдовского женского существа, которое мы называем Анимой. Известны также сирены, мелюзины, феи, ундины, дочери лесного короля, ламии, суккубы, заманивающие юношей и высасывающие из них жизнь. Морализирующие критики сказали бы, что эти фигуры являются проекциями чувственных влечений и предосудительных фантазий. У них есть известное право для подобных утверждений. Но разве это вся правда? Подобные существа появляются в древнейшие времена, когда сумеречное

сознание человека еще было вполне природным. Духи лесов, полей и вод существовали задолго до появления вопроса о моральной совести. Кроме того, боялись этих существ настолько, что даже их впечатляющие эротические повадки не считались главной их характеристикой. Сознание тогда было намного проще, его владения смехотворно малы. Огромная доля того, что воспринимается нами сегодня как часть нашей собственной психики, жизнерадостно проецировалась дикарем на более широкое поле.

Слово «проекция» даже не вполне подходит, так как ничто из души не выбрасывается за ее пределы. Скорее, наоборот, сложность души — а мы знаем ее таковой сегодня — является результатом ряда актов интроекции. Сложность души росла пропорционально потере одухотворенности природы. Жуткая Хульдин из Анно называется сегодня «эротической фантазией», которая болезненна и осложняет нашу жизнь. Но ту же фантазию мы ничуть не реже встречаем в виде русалки; она предстает и как суккуб, в многочисленных ведьмовских образах. Она вообще постоянно дает знать о своей невыносимой для нас самостоятельности — психическое содержание приходит не по его собственным законам. Иногда оно вызывает очарованность, которую можно принять за самое настоящее колдовство; иногда ведет к состояниям страха, такого, что может соперничать со страхом дьявола. Дразнящее женское существо появляется у нас на пути в различных превращениях и одеяниях, разыгрывает, вызывает блаженные и пагубные заблуждения, депрессии, экстазы, неуправляемые эффекты и т.д. Даже в виде переработанных разумом интроекций русалка не теряет своей шутовской природы. Ведьма беспрестанно замешивает свои нечистые приворотные и смертельные зелья, но ее магический дар направлен своим острием на интригу и самообман. Хотя он не так заметен, но не становится от этого менее опасным.

Откуда у нас смелость называть этот эльфический дух «Анимой»? Ведь «Анимой» называют душу, обозначая тем самым нечто чудесное и бессмертное. Однако так было не всегда. Не нужно забывать, что это догматическое представление о душе, целью которого является уловление и заклятие чего-то необычайно самостоятельного и жизненного. Немецкое слово «душа», Seele, через свою готическую форму Saiwalo состоит в близком родстве с греческим термином, означающим «подвижный», «переливчатый» — нечто вроде бабочки, перелетающей с цветка на цветок, живущей медом и любовью. В гностической типологии «душевный человек» стоит между «духовным» и, наконец, теми низкими душами, которые должны всю вечность поджариваться в аду. Даже совсем безвинная душа некрещеного новорожденного, по крайней мере, лишена видения

Бога. Для дикарей душа является магическим дуновением жизни (отсюда — «*anima*») или пламенем. Соответствуют этому и неканонизированные «речения Иисуса»: «Кто приближается ко мне, приближается к огню». По Гераклиту, на высших уровнях душа огненна и суха. Жизненна одушевленная сущность. Душа является жизненным началом в человеке, тем, что живет из самого себя и вызывает жизнь. Затем вдвухает Бог Адаму дыхание жизни, чтобы он стал душою живою.

Своей хитроумной игрою душа приводит к жизни пассивное и совсем к ней не стремящееся вещество. Чтобы возникшая жизнь не исчезла, душа убеждает ее в самых невероятных вещах. Она ставит западни и капканы, чтобы человек пал, спустился на землю, жил на ней и был к ней привязан; уже Ева в раю не могла не уговорить Адама вкушать от запретного плода. Не будь этой переливчатой подвижности души, при всем своем хитроумии и великих стремлениях человек пришел бы к мертвому покою [49]. Своеобразная разумность является ее поверенным, своеобразная мораль дает ей благословение. Иметь душу значит подвергаться риску жизни, ведь душа есть демон — податель жизни, эльфическая игра которого со всех сторон окружает человека. Поэтому в догмах этот демон наказуется проклятиями и искупается благословениями, далеко выходящими за пределы человечески возможного. Небеса и ад — вот судьба души, а не человека как гражданского лица, который в своей слабости и тупоумии не представляет себе никакого небесного Иерусалима.

Анима — это не душа догматов, не *anima rationalis*, т.е. философское понятие, но природный архетип. Только он способен удовлетворительным образом свести воедино все проявления бессознательного, примитивных духов, историю языка и религии. Анима — это «фактор» в подлинном смысле этого слова. С нею ничего нельзя поделаться; она всегда есть основа настроений, реакций, импульсов, всего того, что психически спонтанно. Она живет из самой себя и делает нас живущими. Это жизнь под сознанием, которое не способно ее интегрировать — напротив, оно само всегда проистекает из жизни. Психическая жизнь по большей части бессознательна, охватывает сознание со всех сторон. Если отдавать себе отчет хотя бы в этом, то очевидна, например, необходимость бессознательной готовности для того, чтобы мы могли узнать то или иное чувственное впечатление.

Может показаться, что в Аниме заключается вся полнота бессознательной душевной жизни, но это лишь один архетип среди многих, даже не самый характерный для бессознательного, один из его аспектов. Это видно уже по его женственной природе. То, что не принадлежит «Я» (а

именно мужскому «Я»), является, по всей видимости, женским. Так как «не-Я» не принадлежит «Я» и преднаходится как нечто внешнее, то образ Анимы, как правило, проецируется на женщин. Каждому полу внутренне присущи и определенные черты противоположного пола. Из огромного числа генов мужчины лишь один имеет решающее значение для его мужественности. Небольшое количество женских генов, видимо, образует у него и женский характер, остающийся обычно бессознательным.

Вместе с архетипом Анимы мы вступаем в царство богов, ту сферу, которую оставляет за собой метафизика. Все относящееся к Аниме нуминозно, т.е. безусловно значимо, опасно, табуированно, магично. Это змей-искуситель в раю тех безобидных людей, что переполнены благими намерениями и помыслами. Им он предоставляет и самые убедительные основания против занятий бессознательным. Вроде того, что они разрушают моральные предписания и будят те силы, которым лучше было бы оставаться в бессознательном. Причем нередко в этом есть доля истины, хотя бы потому, что жизнь сама по себе не есть благо, она также является и злом. Желая жизни, Анима желает и добра, и зла. В эльфической жизненной сфере такие категории просто отсутствуют. И телесная, и душевная жизнь лишены скромности, обходятся без конвенциональной морали, и от этого становятся только более здоровыми. Анима верит в «калокагатию» ^[50], а это первобытное состояние, возникающее задолго до всех противопоставлений эстетики и морали. Понадобилось длительное христианское дифференцирование для прояснения того, что добро не всегда прекрасно, а красота совсем не обязательно добра. Парадоксальности соотношений этой супружеской пары понятий древние уделяли столь же мало внимания, как и представители первобытного стада. Анима консервативна, она в целостности сохраняет в себе древнее человечество. Поэтому она охотно выступает в исторических одеждах — с особой склонностью к нарядам Греции и Египта.

Можно сопоставить вышесказанное с тем, что писали такие «классики», как Райдер Хаггард и Пьер Бенуа. Ренессансное сновидение, *Ipnerotomacchia* Полифило ^[51] и «Фауст» Гёте равным образом глубоко удивили, если так можно сказать, античность. Первого обременила царица Венера, второго — троянская Елена. Полный жизни эскиз Анимы в мире бидермайера и романтиков дала Анисла Яффе ^[52]. Мы не станем приумножать число несомненных свидетельств, хотя именно они дают нам достаточно материала и подлинной, невымышленной символики, чтобы сделать плодотворными наши размышления. Например, когда возникает

вопрос о проявлениях Анимы в современном обществе, я могу порекомендовать «Троянскую Елену» Эрскинса. Она не без глубины — ведь на всем действительно жизненном пребывает дыхание вечности. Анима есть жизнь по ту сторону всех категорий, поэтому она способна представать и в похвальном, и в позорном виде. Жить выпадает и царице небесной, и гусыне. Обращалось ли внимание на то, сколь несчастен жребий в легенде о Марии, оказавшейся среди божественных звезд?

Жизнь без смысла и без правил, жизнь, которой никогда не хватает ее собственной полноты, постоянно противостоит страхам и оборонительным линиям человека, упорядоченного цивилизацией. Нельзя не отдать ему должного, так как он не отгораживается от матери всех безумств и всякой трагедии. Живущий на Земле человек, наделенный животным инстинктом самосохранения, с самого начала своего существования находится в борьбе с собственной душой и ее демонизмом. Но слишком просто было бы отнести ее однозначно к миру мрака. К сожалению, это не так, ибо та же Анима может предстать и как ангел света, как «психопомп», явиться ведущей к высшему смыслу, о чем свидетельствует хотя бы Фауст.

Если истолкование Тени есть дело подмастерья, то прояснение Анимы — дело мастера. Связь с Анимой является пробой мужества и огненной ордалией для духовных и моральных сил мужчины. Не нужно забывать, что речь идет об Аниме как факте внутренней жизни, а в таком виде она никогда не представала перед человеком, всегда проецировалась за пределы собственно психической сферы и пребывала вовне. Для сына в первые годы жизни Анима сливается с всемогущей матерью, что затем накладывает отпечаток на всю его судьбу. На протяжении всей жизни сохраняется эта сентиментальная связь, которая либо сильно препятствует ему, либо, наоборот, дает мужество для самых смелых деяний. Античному человеку Анима являлась либо как богиня, либо как ведьма; средневековый человек заменил богиню небесной госпожой или церковью. Десимволизованный мир протестанта привел сначала к нездоровой сентиментальности, а потом к обострению моральных конфликтов, что логически вело к ницшеанскому «по ту сторону добра и зла» — именно вследствие непереносимости конфликта. В цивилизованном мире это положение ведет, помимо всего прочего, к ненадежности семейной жизни. Американский уровень разводов уже достигнут, если не превзойден, во многих европейских центрах, а это означает, что Анима обнаруживается преимущественно в проекциях на противоположный пол, отношения с которым становятся магически усложненными. Данная ситуация, или, по крайней мере, ее патологические последствия способствовали возникновению современной психологии в ее

фрейдовской форме — она присягает на верность тому мнению, будто основанием всех нарушений является сексуальность: точка зрения, способная лишь обострить уже имеющиеся конфликты. Здесь спутаны причина и следствие. Сексуальные нарушения никоим образом не представляют собой причины невротических кризисов; последние являются одним из патологических последствий плохой сознательной приспособленности. Сознание сталкивается с ситуацией, с задачами, до которых оно еще не доросло. Оно не понимает того, что его мир изменился, что оно должно себя перенастроить, чтобы вновь приспособиться к миру. «Народ несет печать зимы, она неизъяснима», — гласит перевод надписи на корейской стеле.

И в случае Тени, и в случае Анимы недостаточно иметь о них понятийное знание или размышлять о них. Невозможно пережить их содержание через вчувствование или восприятие. Бесполезно заучивать наизусть список названий архетипов. Они являются комплексами переживаний, вступающих в нашу личностную жизнь и воздействующих на нее как судьба. Анима выступает теперь не как богиня, но проявляется то как недоразумение в личностной области, то как наше собственное рискованное предприятие. К примеру, когда старый и заслуженно уважаемый ученый семидесяти лет бросает семью и женится на рыжей двадцатилетней актрисе, то мы знаем, что боги нашли еще одну жертву. Так обнаруживается всемогущество демонического в нашем мире — ведь еще не так давно эту молодую даму легко было бы объявить ведьмой.

Судя по моему опыту, имеется немало людей определенного уровня интеллектуальной одаренности и образования, которые без труда улавливают идею Анимы и ее относительной автономности (а также Анимуса у женщин). Значительно большие трудности приходится преодолевать психологам — пока они прямо не столкнутся с теми сложными феноменами, которые психология относит к сфере бессознательного. Если же психологи одновременно и практикующие врачи, то у них на пути стоит соматопсихологическое мышление, пытающееся изображать психические процессы при помощи интеллектуальных, биологических или физиологических понятий. Но психология не является ни биологией, ни физиологией, ни какой-либо иной наукой вообще, но только наукой, дающей знания о душе.

Данная нами картина неполна. Она проявляется прежде всего как хаотическое жизненное влечение, но в ней есть и нечто от тайного знания и сокровенной мудрости — в достойной удивления противоположности ее иррационально—эльфической природе. Я хотел бы здесь вернуться к ранее

процитированным авторам. «Она» Райдера Хаггарда названа им «Дочерью Мудрости»; у Бенуа царица Атлантиды владеет замечательной библиотекой, в которой есть даже утраченная книга Платона. Троянская Елена в своем перевоплощении изымается мудрым Симоном—магом из борделя в Тире и сопровождает его в странствиях. Я не зря сначала упомянул об этом весьма характерном аспекте Анимы, поскольку при первой встрече с нею она может показаться всем чем угодно, только не мудростью [53]. Как мудрость она является только тому, кто находится в постоянном общении с нею и в результате тяжкого труда готов признать [54], что за всей мрачной игрой человеческой судьбы виднеется некий скрытый смысл, соответствующий высшему познанию законов жизни. Даже то, что первоначально выглядело слепой неожиданностью, теряет покров тревожной хаотичности и указывает на глубинный смысл. Чем больше он познан, тем быстрее теряет Анима характер слепого влечения и стремления. На пути хаотичного потока вырастают дамбы; осмысленное отделяется от бессмысленного, а когда они более не идентичны, уменьшается и сила хаоса — смысл теперь вооружается силою осмысленного, бессмыслица — силою лишённого смысла. Возникает новый космос. Сказанное является не каким-то новым открытием медицинской психологии, а древнейшей истиной о том, что из полноты духовного опыта рождается то учение, которое передается из поколения в поколение [55].

Мудрость и глупость в эльфическом существе не только кажутся одним и тем же, они суть одно и то же, пока представлены одной Анимой. Жизнь и глупа, и наделена смыслом. Если не смеяться над первым и не размышлять над вторым, то жизнь становится банальной. Все тогда приобретает до предела уменьшенный размер: и смысл, и бессмыслица. В сущности, жизнь ничего не означает, пока нет мыслящего человека, который мог бы истолковать ее явления. Объяснить нужно тому, кто не понимает. Значением обладает лишь непостигнутое. Человек пробуждается в мире, которого не понимает, вследствие чего он и стремится его истолковать.

Анима, и тем самым жизнь, лишены значимости, к ним неприменимы объяснения. Однако у них имеется доступная истолкованию сущность, ибо в любом хаосе есть космос, и в любом беспорядке — скрытый порядок, во всяком произволе непрерывность закона, так как все сущее покоится на собственной противоположности. Для познания этого требуется разрешающий все в антиномических суждениях разум. Обратившись к

Аниме, он видит в хаотическом произволе повод для догадок о скрытом порядке, т.е. о сущности, устройстве, смысле. Возникает даже искушение сказать, что он их «постулирует», но это не соответствовало бы истине. Поначалу человек совсем не располагал холодным рассудком, ему не помогали наука и философия, а его традиционные религиозные учения для такой цели пригодны лишь весьма ограниченно. Он запутан и смущен бесконечностью своих переживаний, суждения со всеми их категориями оказываются тут бессильными. Человеческие объяснения отказываются служить, так как переживания возникают по поводу столь бурных жизненных ситуаций, что к ним не подходят никакие истолкования. Это момент крушения, момент погружения к последним глубинам, как верно заметил Апулей, *ad instar voluntariae mentis* («Наподобие самопроизвольного ума»). Здесь не до искусного выбора подходящих средств; происходит вынужденный отказ от собственных усилий, природное принуждение. Не морально принаряженное подчинение и смирение по своей воле, а полное, недвусмысленное поражение, сопровождаемое страхом и деморализацией. Когда рушатся все основания и подпоры, нет ни малейшего укрытия, страховки, только тогда возникает возможность переживания архетипа, ранее скрытого в недоступной истолкованию бессмысленности Анимы. Это архетип смысла, подобно тому как Анима представляет архетип жизни. Смысл кажется нам чем-то поздним, поскольку мы не без оснований считаем, что сами придаем смысл чему-нибудь, и с полным на то правом верим, что огромный мир может существовать и без нашего истолкования.

Но каким образом мы придаем смысл? Откуда мы его в конечном счете берем? Формами придания смысла нам служат исторически возникшие категории, восходящие к туманной древности, в чем обычно не отдают себе отчета. Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами, происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов. С какой бы стороны мы ни брались за этот вопрос, в любом случае необходимо обратиться к истории языка и мотивов, а она ведет прямо к первобытному миру чуда. Возьмем для примера слово «идея». Оно восходит к платоновскому понятию вечных идей — первообразов, к «занебесному месту», в котором пребывают трансцендентные формы. Они предстают перед нашими глазами как *imagines et lares* ^[56] или как образы сновидений и откровений. Возьмем, например, понятие «энергия», означающее физическое событие, и обнаружим, что ранее тем же самым был огонь алхимиков, флогистон — присущая самому веществу теплоносная сила, подобная стоическому первотеплу или гераклитовскому «вечно живому

огню», стоящему уже совсем близко к первобытному воззрению, согласно которому во всем пребывает всеоживляющая сила, сила произрастания и магического исцеления, обычно называемая мана.

Не стоит нагромождать примеры. Достаточно знать, что нет ни одной существенной идеи либо воззрения без их исторических прообразов. Все они восходят в конечном счете к лежащим в основании архетипическим праформам, образы которых возникли в то время, когда сознание еще не думало, а воспринимало. Мысль была объектом внутреннего восприятия, она не думалась, но обнаруживалась в своей явленности, так сказать, виделась и слышалась. Мысль была, по существу, откровением, не чем-то искомым, а навязанным, убедительным в своей непосредственной данности. Мышление предшествует первобытному «сознанию Я», являясь скорее объектом, нежели субъектом. Последняя вершина сознательности еще не достигнута, и мы имеем дело с предсуществующим мышлением, которое, впрочем, никогда не обнаруживалось как нечто внутреннее, пока человек был защищен символами. На языке сновидений: пока не умер отец или король.

Я хотел бы показать на одном примере, как «думает» и подготавливает решения бессознательное. Речь пойдет о молодом студенте—теологе, которого я лично не знаю. У него были затруднения, связанные с его религиозными убеждениями, и в это время ему приснился следующий сон [\[57\]](#).

Он стоит перед прекрасным старцем, одетым во все черное. Но знает, что магия у него белая. Маг долго говорит ему о чем-то, спящий уже не может припомнить, о чем именно. Только заключительные слова удержались в памяти: «А для этого нам нужна помощь черного мага». В этот миг открывается дверь и входит очень похожий старец, только одетый в белое. Он говорит белому магу: «Мне необходим твой совет», бросив при этом вопрошающий взгляд на спящего. На что белый маг ответил: «Ты можешь говорить спокойно, на нем нет вины». И тогда черный маг начинает рассказывать свою историю. Он пришел из далекой страны, в которой произошло нечто чудесное. А именно, земля управлялась старым королем, чувствовавшим приближение собственной смерти. Король стал выбирать себе надгробный памятник. В той земле было много надгробий древних времен, и самый прекрасный был выбран королем. По преданию, здесь была похоронена девушка. Король приказал открыть могилу,

чтобы перенести памятник. Но когда захороненные там останки оказались на поверхности, они вдруг ожили, превратились в черного коня, тут же ускакавшего и растворившегося в пустыне. Он — черный маг — прослышал об этой истории и сразу собрался в путь и пошел по следам коня. Много дней он шел, пересек всю пустыню, дойдя до другого ее края, где снова начинались луга. Там он обнаружил пасущегося коня и там же совершил находку, по поводу которой он и обращается за советом к белому магу. Ибо он нашел ключи от рая и не знает, что теперь должно случиться. В этот увлекательный момент спящий пробуждается.

В свете вышеизложенного нетрудно разгадать смысл сновидения: старый король является царственным символом. Он хочет отойти к вечному покою, причем на том месте, где уже погребены сходные «доминанты». Его выбор пал на могилу Анимы, которая, подобно спящей красавице, спит мертвым сном, пока жизнь регулируется законным принципом (принц или *princeps*). Но когда королю приходит конец [\[58\]](#), жизнь пробуждается и превращается в черного коня, который еще в платоновской притче служил для изображения несдержанности страстной природы. Тот, кто следует за конем, приходит в пустыню, т.е. в дикую, удаленную от человека землю, образ духовного и морального одиночества. Но где-то там лежат ключи от рая. Но что же тогда рай? По-видимому, Сад Эдема с его двуликим деревом жизни и познания, четырьмя его реками. В христианской редакции это и небесный град Апокалипсиса, который, подобно Саду Эдема, мыслится как мандала. Мандала же является символом индивидуации.

Таков же и черный маг, находящий ключи для разрешения обременительных трудностей спящего, связанных с верой. Эти ключи открывают путь к индивидуации. Противоположность пустыня—рай также обозначает другую противоположность: одиночество — индивидуация (или самостановление). Эта часть сновидения одновременно является заслуживающей внимания парафразой «речений Иисуса» (в расширенном издании Ханта и Гренфелла), где путь к небесному царству указывается животным и где в виде наставления говорится: «А потому познайте самих себя, ибо вы — град, а град есть царство». Далее встречается парафраза райского змея, соблаздившего прародителей на грех, что в дальнейшем привело к спасению рода человеческого Богом—Сыном. Данная каузальная связь дала повод офитам отождествить змея с Сотером (спасителем,

избавителем). Черный конь и черный маг являются — и это уже оценка в современном духе — как будто злыми началами. Однако на относительность такого противопоставления добру указывает уже обмен одежаниями. Оба мага являют собой две ипостаси старца, высшего мастера и учителя, архетипа духа, который представляет скрытый в хаотичности жизни предшествующий смысл. Он — отец души, но она чудесным образом является и его матерью—девой, а потому он именовался алхимиками «древним сыном матери». Черный маг и черный конь соответствуют спуску в темноту в ранее упоминавшемся сновидении.

Насколько трудным был урок для юного студента теологии! К счастью для него, он ничего не заметил; того, что с ним во сне говорил отец всех пророков, что он стоял близко к великой тайне. Можно было бы удивиться нецелесообразности этих событий. Зачем такая расточительность? По этому поводу могу сказать только, что мы не знаем, как этот сон воздействовал в дальнейшем на жизнь студента теологии. Но добавлю, что мне он сказал об очень многом, и не должен был затеряться, даже если сам сновидец ничего в нем не понял.

Хозяин этого сновидения явно стремился к представлению добра и зла в их общей функции; возможно, в ответ на все меньшую разрешимость морального конфликта в христианской душе. Вместе со своего рода релятивизацией противоположностей происходит известное сближение с восточными идеями. А именно *piṅgava* индуистской философии, освобождение от противоположностей, что дает возможность разрешения конфликта путем примирения. Насколько полна смысла и опасна восточная релятивизация добра и зла, можно судить по мудрой индийской загадке: «Кто дальше от совершенства — тот, кто любит Бога, или тот, кто Бога ненавидит?» Ответ звучит так: «Тому, кто любит Бога, нужны семь перерождений, чтобы достигнуть совершенства, а тому, кто ненавидит Бога, нужны только три. Потому что тот, кто ненавидит Его, думает о нем больше, чем тот, кто любит». Освобождение от противоположностей предполагает их функциональную равноценность, что противоречит нашим христианским чувствам. Тем не менее, как показывает наш пример со сновидением, предписанная им кооперация моральных противоположностей является естественной истиной, которая столь же естественно признается Востоком, на что самым отчетливым образом указывает философия даосизма. Кроме того, и в христианской традиции имеются высказывания, приближающиеся к этой позиции; достаточно вспомнить притчу о неверном хозяине дома (*Ungetreuen Haushalter*) [59]. Наш сон в этом смысле уникален, поскольку тенденция релятивизации

противоположностей является очевидным свойством бессознательного. Стоит добавить, что вышесказанное относится только к случаям обостренного морального чувства; в иных случаях бессознательное столь же неумолимо указывает на несовместимость противоположностей.

Позиция бессознательного, как правило, соотносится с сознательной установкой. Можно было бы сказать, что наше сновидение предполагает специфические убеждения и сомнения теологического сознания протестантского толка. Это значит, что истолкование должно ограничиваться определенной проблемной областью. Но и в случае такого ограничения сновидение демонстрирует превосходство предлагаемой им точки зрения. Его смысл выражается мнением и голосом белого мага, превосходящего во всех отношениях сознание спящего. Маг — это синоним мудрого старца, восходящего по прямой линии к образу шамана в первобытном обществе. Подобно Аниме, мудрый старец является бессмертным демоном, освещающим хаотическую темноту жизни лучом смысла. Это просветленный, учитель и мастер, психопомп (водитель души). Его персонификация — а именно «разбиватель таблиц», не ускользнула от Ницше. Правда, у него водителем души сделался Заратустра, превращенный из великого духа чуть ли не гомеровского века в носителя и глашатая собственного «дионисийского» просветления и восхищения. Хотя Бог для него и умер, но демон мудрости стал олицетворяющим его двойником, когда он говорит: Единое раздвоилось, и мимо Проходит Заратустра.

Заратустра для Ницше больше, чем поэтическая фигура, он является произвольной исповедью. Так и он сам блуждал во тьме забывшей о боге, раскрестившейся жизни, а потому спасительным источником для его души стал Открывающий и Просветленный. Отсюда иератический язык «Заратустры», ибо таков стиль этого архетипа. Переживая этот архетип, современный человек сталкивается в своем опыте с древнейшим типом мышления, автономной деятельностью мышления, объектом которой является он сам. Гермес Трисмегист или Тот герметической литературы, Орфей из «Поимандреса» ^[60] или родственного ему «Роімен» Гермы ^[61] являются последующими формулировками того же самого опыта. Если бы имя «Люцифер» не обросло всякого рода предрассудками, оно полностью подходило бы этому архетипу ^[62]. Я удовлетворился поэтому такими его обозначениями, как «архетип старого мудреца» или «архетип смысла». Как и все архетипы, он имеет позитивный и негативный аспекты, в обсуждение которых я не хотел бы здесь вдаваться. Читатель может найти развитие

представления о двойственности старого мудреца в моей статье «Феноменология духа в сказках».

Три рассматривавшихся до сих пор архетипа — Тень, Анима и старый мудрец — в непосредственном опыте чаще всего выступают персонифицированно. Ранее я попытался обозначить психологические предпосылки опыта этих архетипов. Однако сказанное является лишь чисто абстрактной рационализацией. Следовало бы дать описание процесса так, как он предстает в непосредственном опыте. По ходу этого процесса архетипы выступают как действующие персонажи сновидений и фантазий. Сам процесс представлен архетипом иного рода, который можно было бы обозначить как архетип трансформации. Он уже не персонифицирован, но выражен типичными ситуациями, местами, средствами, путями и т.д., символизирующими типы трансформации. Как и персоналии, архетипы трансформации являются подлинными символами. Их нельзя исчерпывающим образом свести ни к знакам, ни к аллегориям. Они ровно настолько являются настоящими символами, насколько они многозначны, богаты предчувствиями и в конечном счете неисчерпаемы. Несмотря на свою познаваемость, основополагающие принципы бессознательного неопишуты уже в силу богатства своих отношений. Суждение интеллекта направлено на однозначное установление смысла, но тогда оно проходит мимо самой их сущности: единственное, что мы безусловно можем установить относительно природы символов, это многозначность, почти необозримая полнота соотношенностей, недоступность однозначной формулировке. Кроме того, они принципиально парадоксальны, вроде того, как у алхимиков было *senex et iuvens simul* («старый и молодой подобны»).

При желании дать картину символического процесса хорошим примером являются серии образов алхимиков. Они пользуются в основном традиционными символами, несмотря на зачастую темное их происхождение и значение. Превосходным восточным примером является тантристская система чакр ^[63] или мистическая нервная система в китайской йоге ^[64]. По всей вероятности, и серия образов в Таро ^[65] является потомком архетипов трансформации. Такое видение Таро стало для меня очевидным после подкрепляющего его доклада Р. Бернулли ^[66].

Символический процесс является переживанием образа и через образы. Ход процесса имеет, как правило, энантиодромическую структуру, подобно тексту «И Цзин», устанавливающую ритм отрицания и полагания, потери и приобретения, светлого и темного. Его начало почти всегда характеризуется как тупик или подобная ему безвыходная ситуация; целью

процесса является, вообще говоря, просветление или высшая сознательность. Через них первоначальная ситуация переводится на более высокий уровень. Этот процесс может давать о себе знать, и будучи временно вытесненным, в единственном сновидении или кратковременном переживании, но он может длиться месяцами и годами в зависимости от исходной ситуации испытывающего процесс индивида и тех целей, к которым должен привести этот процесс. Хотя все переживается образно— символически, здесь неизбежен весьма реальный риск (это не книжные опасности), поскольку судьба человека часто зависит от переживаемой трансформации. Главная опасность заключается в искушении поддаться чарующему влиянию архетипов.

Так чаще всего и происходит, когда архетипические образы воздействуют помимо сознания, без сознания. При наличии психологических предрасположений, — а это совсем не такое уж редкое обстоятельство, — архетипические фигуры, которые и так в силу своей природной нуминозности обладают автономностью, вообще освобождаются от контроля сознания. Они приобретают полную самостоятельность, производя тем самым феномен одержимости. При одержимости Анимой, например, больной пытается кастрировать самого себя, чтобы превратиться в женщину по имени Мария, или наоборот, боится, что с ним насильственно хотят сделать что-нибудь подобное. Больные часто обнаруживают всю мифологию Анимы с бесчисленными архаическими мотивами. Я напоминаю об этих случаях, так как еще встречаются люди, полагающие, что архетипы являются субъективными призраками моего мозга.

То, что со всей жестокостью обрушивается в душевной болезни, в случае невроза остается еще сокрытым в подпочве. Но это не уменьшает воздействия на сознание. Когда анализ проникает в эту подпочву феноменов сознания, обнаруживаются те же самые архетипические фигуры, что населяют и бред психотиков. Last not least, бесконечно большое количество литературно-исторических документов доказывает, что практически во всех нормальных типах фантазии присутствуют те же архетипы. Они не являются привилегией душевнобольных. Патологический момент заключается не в наличии таких представлений, а в диссоциации сознания, которое уже не способно господствовать над бессознательным.

Во всех случаях раскола встает необходимость интеграции бессознательного в сознание. Речь идет о синтетическом процессе, называемом мною «процесс индивидуации». Этот процесс соответствует

естественному ходу жизни, за время которой индивид становится тем, кем он уже всегда был. Поскольку человек наделен сознанием, развитие у него происходит не столь гладко, появляются вариации и помехи. Сознание часто сбивается с архетипически инстинктивного пути, вступает в противоречие с собственным основанием. Тем самым возникает необходимость синтеза того и другого. А это и есть психотерапия на ее примитивной ступени, в форме целительных ритуалов. Примерами могут служить самоидентификация у австралийцев через провидение времен Альчерринга [\[67\]](#), отождествление себя с Сыном Солнца у индейцев Таоспуэбло, апофеоз Гелиоса в мистериях Исис по Апулею и т.д. Терапевтические методы комплексной психологии заключается, соответственно, с одной стороны, в возможно более полном доведении до сознания констеллированного бессознательного содержания, а с другой стороны, в достижении синтеза этого содержания с сознанием в познавательном акте. Культурный человек сегодня достиг столь высокого уровня диссоциации и настолько часто пускает ее в ход, чтобы избавиться от любого риска, что возникают сомнения по поводу возможности соответствующих действий на основе его познания. Необходимо считаться с тем, что само по себе познание не ведет к реальному изменению, осмысленному практическому применению познания. Познание, как правило, ничего не делает и не содержит в самом себе никакой моральной силы. Поэтому должно быть ясно, в какой мере излечение неврозов представляет собой моральную проблему.

Так как архетипы, подобно всем нуминозным явлениям, относительно автономны, их чисто рациональная интеграция невозможна. Для интеграции необходим диалектический метод, т.е. противостояние, часто приобретающее у пациентов форму диалога, в котором они, не подозревая об этом, реализуют алхимическое определение медитации, как *colloquium cum suo angelo bono*, беседу со своим добрым ангелом [\[68\]](#). Этот процесс протекает обычно драматически, с различными перипетиями. Он выражается или сопровождается символическими сновидениями, родственными тем «representations collectives», которые в виде мифологического мотива издавна представляют процесс трансформации души [\[69\]](#).

В рамках одной лекции я должен был ограничиться лишь отдельными примерами архетипов. Я выбрал те из них, которые играют главную роль при анализе мужского бессознательного, и постарался дать самый краткий очерк процесса психической трансформации, в которой они появляются.

Такие фигуры, как Тень, Анима и старый мудрец, вместе с соответствующими фигурами женского бессознательного со времен первого издания текста этой лекции описывались мною в полном виде в моих работах о символике Самости [\[70\]](#). Более полное освещение получили также связи процесса индивидуации и алхимической символики [\[71\]](#).

Психология и религия

Цикл лекций «Психология и религия» был прочитан К.Г. Юнгом по-английски в 1937 г. в Йельском университете; книга вышла в 1938 г. Перевод выполнен А.М.Руткевичем.

I. Автономность бессознательного

Целью Терри, учредителя этих лекций, было, очевидно, следующее: поспособствовать тому, чтобы представители науки, а равно философии и других областей человеческого знания, смогли внести свой вклад в обсуждение одной из вечных проблем, к каким относится проблема религии. Поскольку Йельский университет мне оказал высокое доверие и честь прочесть этот курс лекций в 1937 г., моя задача, как я полагаю, будет заключаться в том, чтобы показать, что же общего с религией имеет психология и что она может сказать нам о религии. Точнее говоря, не вообще психология, а та специальная отрасль медицинской психологии, которую я представляю. Так как религия, без сомнения, является одним из самых ранних и наиболее универсальных видов деятельности человеческого ума, то очевидно, что любого рода психология, затрагивающая вопрос о психологической структуре человеческой личности, неизбежно сталкивается, по крайней мере, с тем фактом, что религия является не только социологическим или историческим феноменом, но имеет личностную значимость для огромного числа индивидов.

Хотя меня нередко называли философом, я между тем остаюсь эмпириком, придерживающимся феноменологической точки зрения. При этом я полагаю, что принципы научного эмпиризма остаются нерушимыми в том случае, если мы время от времени обращаемся к размышлениям, которые выходят за пределы простого сбора и классификации опытных данных. Более того, я считаю, что без рефлексии нет и опыта, поскольку «опыт» представляет собой процесс ассимиляции, без которого невозможно понимание происходящего. Из этого следует, что я подхожу к проблемам психологии с научной, а не с философской точки зрения. Поскольку религия обладает весьма существенным психологическим началом, я рассматриваю ее чисто эмпирически, т.е. ограничиваюсь наблюдением феноменов и воздерживаюсь от применения метафизических или философских подходов. Я не отрицаю значимости этих подходов, но не считаю себя достаточно компетентным, чтобы грамотно их применять.

Большинство людей считает себя очень сведущими в психологии по одной простой причине: психология для них сводится к тому, что они сами о себе знают. Мне кажется, однако, что психология представляет собой нечто большее. Мало общего имея с философией, она принимает во

внимание эмпирические факты, многие из которых труднодоступны для повседневного опыта. Цель этой книги — дать хотя бы беглое представление о том, какое значение имеет практическая психология в изучении религии. Ясно, что проблему такой значимости трудно исчерпывающе изложить в трех лекциях, да и доказательство каждого конкретного положения требует, конечно, значительно больше времени. Первая лекция представляет собой нечто вроде введения в проблемы практической психологии и религии. Во второй лекции речь пойдет о фактах, подтверждающих существование подлинной религиозной функции бессознательного; в третьей рассматривается символика бессознательных процессов.

Так как я буду использовать не совсем обычную, специфическую аргументацию, мне с самого начала надо принять во внимание, что аудитория слабо знакома с исходным методологическим принципом той психологии, которую я представляю. Таким принципом является исключительно феноменологическая точка зрения, имеющая дело с состояниями, опытом, одним словом — с фактами. Истиной для этой психологии являются факты, а не суждения. Например, говоря о мотиве непорочного зачатия, психология интересуется исключительно фактом наличия такой идеи; ее не занимает вопрос об истинности или ложности этой идеи в любом ином смысле. С точки зрения психологии эта идея истинна ровно настолько, насколько она существует. Психологическое же существование субъективно лишь до тех пор, пока та или иная идея овладевает только одним индивидом, эта же идея становится объективной, когда принимается обществом путем *consensus gentium* («соглашения между людьми»). Данная точка зрения является общей для всех естественных наук.

Психология подходит к идеям и другим продуктам сознания так же, как, например, зоология к различным видам животных. Слоны истинны, ибо существуют. Более того, они не являются ни умозаключением, ни субъективным суждением творца, это — феномен. Но мы так свыклись с идеей, будто психические события суть продукты воли или произвола, изобретения творца-человека, что нам трудно освободиться от того предрассудка, согласно которому психика и все ее содержание являются нашим собственным изобретением либо более или менее иллюзорным продуктом наших предположений и суждений. Факты свидетельствуют, что определенные идеи существуют почти повсеместно, во все времена. Они воспроизводятся спонтанно, совершенно независимо от миграции идей или от традиции. Они не творятся индивидами, а происходят — даже

насильственно вторгаются — в сознание индивида. И это не платоновская философия, а это — эмпирическая психология.

Говоря о религии, хочу сразу же пояснить, что я имею в виду под этим понятием. Религия, как на то указывает латинское происхождение этого слова, есть тщательное наблюдение за тем, что Рудольф Отто точно назвал «*numinosum*» — т.е. динамическое существование или действие, не вызванное произвольным актом воли. Напротив, оно охватывает человека и ставит его под свой контроль; он тут всегда, скорее, жертва, нежели творец нуминозного. Какой бы ни была его причина, нуминозное выступает как независимое от воли субъекта условие. И религиозные учения, и *consensus gentium* всегда и повсюду объясняли это условие внешней индивиду причиной. Нуминозное — это либо качество видимого объекта, либо невидимое присутствие чего-то, вызывающее особого рода изменение сознания. По крайней мере, как правило.

Имеются, однако, некоторые исключения, когда речь идет о практике или ритуале. Великое множество ритуальных действий совершается с единственной целью — по собственной воле вызвать нуминозное посредством неких магических процедур (мольба, заклинание, жертвоприношение, медитация и прочие йогические упражнения, всякого рода самобичевания и т.д.). Но религиозное верование в наличие внешней и объективной божественной причины всегда предшествует таким действиям. Католическая церковь, например, причащает святыми дарами, чтобы наделить верующего духовным благословением. Поскольку этот акт был бы равнозначен принудительному вызову благодати посредством определенно магических процедур, вполне логично утверждать, что божественную благодать в акте причастия никто не способен вызвать принудительно — причастие представляет собой божественное установление, которого не было бы, не будь оно поддержано божьим промыслом.

Религия является особой установкой человеческого ума, которую мы можем определить в соответствии с изначальным использованием понятия «*relogio*», т.е. внимательное рассмотрение, наблюдение за некими динамическими факторами, понятыми как «силы», духи, демоны, боги, законы, идеи, идеалы — и все прочие названия, данные человеком подобным факторам, обнаруженным им в своем мире в качестве могущественных, опасных; либо способных оказать такую помощь, что с ними нужно считаться; либо достаточно величественных, прекрасных, осмысленных, чтобы благоговежно любить их и преклоняться перед ними. В житейском просторечий мы часто говорим, что человек, с энтузиазмом

интересующийся каким-то предметом, «посвятил себя» этому делу; Уильям Джемс замечает, например, что ученый часто не имеет веры, но «по духу он набожен».

Ясно, что под понятием «религия» я не имею в виду вероучение. Верно, однако, что всякое вероучение основывается, с одной стороны, на опыте нуминозного, а с другой — на вере, на преданности, верности, доверии к определенным образом испытанному воздействию нуминозного и к последующим изменениям сознания. Поразительным тому примером может служить обращение апостола Павла. Можно сказать, что «религия» — это понятие, обозначающее особую установку сознания, измененного опытом нуминозного. Вероучения представляют собой кодифицированные и догматизированные формы первоначального религиозного опыта. Содержание опыта освящается и обычно застывает в жесткой, часто хорошо разработанной структуре. Практика и воспроизводство первоначального опыта приобрели характер ритуала, стали неизменным институтом, что вовсе не следует расценивать как их безжизненное окаменение. Напротив, они могут на века стать формой религиозного опыта для миллионов людей без малейшей нужды в изменениях. Хотя католическую церковь часто упрекают за чрезмерную ригидность, она все же признает наличие особой жизни догматов, подверженность их изменению и развитию. Даже число догматов беспредельно, и с течением времени оно может возражать. То же самое верно и по поводу ритуалов.

Но все изменения ограничены рамками первоначально испытанных фактов, включающих в себя догматическое содержание и эмоциональную значимость. Даже протестантизм — внешне ставший на путь почти полного освобождения от догматической традиции и кодифицированного ритуала, а потому разбившийся более чем на четыре сотни деноминаций — даже протестантизм ограничен тем, что он остается христианством и выражает себя в рамках верования, согласно которому Бог явил себя в Христе, принявшем страдания за род человеческий. Это вполне определенные пределы с четко установленным содержанием — его нельзя расширить, соединив с буддистскими или исламскими идеями и эмоциями. И все же не вызывает сомнений тот факт, что не только Будда или Мухаммед, Конфуций или Заратустра выступают в качестве религиозных феноменов, но в равной степени этим качеством обладают также Митра, Атгис, Кибела, Мани, Гермес и множество других экзотических культов [72]. Поэтому психолог, пока он остается ученым, не должен принимать во внимание притязания того или иного вероучения на уникальность и владение вечной истиной. Он должен исследовать прежде всего

человеческую сторону религиозной проблемы, обратившись к первоначальному религиозному опыту, независимо от того, как этот опыт использован в разных вероучениях.

Впрочем, будучи специалистом по нервным и психическим заболеваниям, я исхожу не из конкретных вероучений, но отталкиваюсь от психологии homo religiosus — человека, который принимает во внимание и тщательно наблюдает некие воздействующие на него факторы. Тем самым предметом моих исследований становятся и общие условия человеческого существования. И если обозначить и определить эти факторы в согласии с исторической традицией или с антропологическим знанием довольно легко, то сделать то же самое с точки зрения психологии невероятно трудно. Все, что я в силах сказать по вопросу о религии, целиком определяется моим практическим опытом общения с моими пациентами и с так называемыми нормальными людьми. Так как наш опыт других людей в значительной степени зависит от нашего к ним подхода, мне не остается ничего другого как с самого начала дать вам хотя бы общее представление о моей профессии.

Поскольку любой невроз связан с интимной жизнью человека, пациент всегда испытывает немалые колебания, когда ему приходится давать полный отчет о всех тех обстоятельствах и сложностях, которые привели его к болезненному состоянию. Что же мешает пациенту свободно выговориться? Чего он боится, стесняется, стыдится? Конечно, он хорошо осознает наличие внешних факторов, составляющих важные элементы того, что называется общественным мнением, респектабельностью, репутацией. Однако даже в том случае, когда пациент доверяет врачу и уже перестал его стесняться, он не хочет и даже боится признать некоторые вещи о себе самом, словно самосознание несет ему опасность. Обычно мы боимся того, что нас подавляет. Но есть ли в человеке что-то такое, что может оказаться сильнее его самого? Здесь нужно помнить, что всякий невроз означает деморализацию; пока человек болен, он теряет веру в себя. Невроз — это унижительное поражение, так он ощущается людьми, которым не безразлично их психическое состояние. Причем, поражение нам наносится некой «нереальной» субстанцией.

Врачи могли в былые времена убеждать пациента, что с ним ничего по-настоящему не произошло, что действительной болезни сердца или рака у него нет, а симптомы у него воображаемые. Чем больше он укрепляется в вере, что он «malade imaginaire» (фр. «воображаемый, мнимый больной»), тем больше всю его личность пронизывает чувство неполноценности. «Если симптомы у меня воображаемые, — говорит себе пациент, — то в

чем же причина такой путаницы в мыслях, что заставляет меня возвращать такую вредную чушь?» Действительно, нельзя без сочувствия наблюдать интеллигентного человека, почти умоляющего вас поверить, что он страдает раком желудка, и в то же самое время покорным голосом повторяющего, что он, конечно же, знает — рак у него воображаемый.

Когда дело касается невроза, привычная нам материалистическая концепция психики едва ли сможет помочь. Если бы душа была наделена какой-нибудь, пусть тонкой, но телесной субстанцией, мы могли бы, по крайней мере, сказать, что эта, подобная дуновению ветра или дыму, субстанция страдает от вполне реального, хотя в нашем примере и воображаемого, мыслимого заболевания раком — точно так же, как наше грубое тело может стать носителем такого заболевания. Тогда хоть что-то было бы реальным. Вот почему медицина испытывает столь сильную неприязнь ко всему психическому: либо больно тело, либо вообще все в порядке. И если вы не в силах установить подлинную болезнь тела, то лишь потому, что наши нынешние средства не позволяют врачу обнаружить истинную природу безусловно органических нарушений.

Но что же в таком случае представляет собой психика? Материалистический предрассудок относит ее к простым эпифеноменам органических процессов мозга. С этой точки зрения, всякое психическое затруднение должно быть следствием органического или физического нарушения, которое не обнаруживается лишь в силу несовершенства наших диагностических средств. Несомненная связь между психикой и мозгом в известной мере подкрепляет эту точку зрения, но не настолько, чтобы сделать ее непоколебимой истиной. До тех пор, пока точно не установлено, имелись ли в случае невроза действительные нарушения в органических процессах мозга, невозможно ответить на вопрос, являются ли имеющиеся эндокринные нарушения причиной или следствием.

С другой стороны, не вызывает сомнений тот факт, что подлинные причины неврозов по своему происхождению являются психологическими. Очень трудно себе представить, что для излечения органического или физического нарушения может быть достаточно просто исповеди. Но я был свидетелем случая истерической лихорадки с температурой 102° (примерно 39° по Цельсию), исчезнувшей через несколько минут после исповеди, в которой человек рассказал о психологической причине заболевания.

Как же объяснить случаи явно физических заболеваний, когда облегчение, а то и исцеление, приходят в результате простого обсуждения болезнетворных психических конфликтов? Я наблюдал псориаз, покрывший практически все тело, который уменьшился в размерах в десять

раз за несколько недель психологического лечения. В другом случае пациент незадолго перенес операцию по поводу расширения толстой кишки (было удалено до сорока сантиметров ткани), но вскоре последовало еще большее расширение. Пациент был в отчаянии и отказался от вторичной операции, хотя хирург считал ее неизбежной. После обсуждения с психологом нескольких интимных фактов у пациента все пришло в норму.

Подобного рода опыт — а он не является чем-то из ряда вон выходящим — заставляет отказаться от мысли, будто психика — ничто, а продукты воображения нереальны. Только реальность психики не там, где ее ищут по близорукости: психика существует, но не в физической форме. Смехотворным предрассудком выглядит мнение о том, будто существование может быть только физическим. На деле же единственная непосредственно нам известная форма существования — это психическая форма. И наоборот, мы могли бы сказать, что физическое существование только подразумевается, поскольку материя познается лишь посредством воспринимаемых нами психических образов, переданных нашему сознанию органами чувств.

Мы заблуждаемся, когда забываем эту простую, но фундаментальную истину. Даже если у невроза нет иной причины, кроме воображения, она остается вполне реальной. Если некто вообразит, что я его смертельный враг и убьет меня, то я стану жертвой простого воображения. Образы, созданные воображением, существуют, они могут быть столь же реальными — а в равной степени столь же вредоносными и опасными, — как физические обстоятельства. Я даже думаю, что психические опасности куда страшней эпидемий и землетрясений. Средневековые эпидемии бубонной чумы или черной оспы не смогли унести столько жизней, сколько их унесли, например, различия во взглядах на устройство мира в 1914 г. или борьба за политические идеалы в России. Хотя своим собственным сознанием нам не дано уловить форму существования психики (ибо у нас нет для этого архимедовой точки опоры вовне), психика существует; более того, она-то и есть само существование.

Итак, что же сказать нам в ответ пациенту, вообразившему, что он болен раком? Я бы сказал ему следующее: «Да, друг мой, вы действительно страдаете от чего-то очень похожего на рак, вы носите внутри смертельное зло, которое не убьет вас телесно, ибо имеет бестелесную природу. Но это зло способно убить вашу душу. Она уже им отравлена, как и отношения с другими людьми. Ваше счастье отравлено им, и так будет продолжаться, пока оно не проглотит целиком ваше психическое существование. В конце концов вы станете не человеком, а злобной разрушительной опухолью».

Ясно, что нашего пациента нельзя признать творцом собственных болезненных фантазий, хотя теоретически он, конечно, считает именно себя владельцем и создателем продуктов своего воображения. Когда человек действительно страдает от онкологического заболевания, он никак не считает себя ответственным за порождение такого зла, хотя раковая опухоль находится в его теле. Но когда речь заходит о психике, мы тотчас чувствуем некую ответственность, словно сами являемся творцами нашего психического состояния. Предвзгляд этот относительно недавний. Еще не так давно даже высококультурные люди верили в то, что психические силы могут воздействовать на наш ум и чувства. Такими силами считались привидения, колдуны и ведьмы, демоны и ангелы, даже боги, которые могли произвести в человеке психологические изменения. В былые времена пациент, вообразивший, что у него рак, переживал бы эту мысль совсем иначе. Наверное, он предположил бы, что кем-то заколдован либо одержим бесами; ему бы и в голову не пришло, что он сам породил такую фантазию.

Я полагаю, что эта идея рака появилась спонтанно, возникла в той части психики, которая не тождественна сознанию. Речь идет об автономном образовании, способном вторгаться в сознание. О сознании мы говорим, что это наше собственное психическое существование, но рак наделен своим собственным психическим существованием, от нас независимым. Данное утверждение полностью соответствует наблюдаемым фактам. Если подвергнуть нашего пациента ассоциативному эксперименту, то скоро обнаружится, что он не является хозяином в своем собственном доме. Его реакции будут заторможенными, деформированными, подавленными или замененными какими-то автономными навязчивыми идеями. На некоторое число слов—стимулов он не сможет ответить сознательно: в ответах будут присутствовать некие автономные содержания, они часто бессознательны, не осознаются и самими тестируемыми. В нашем случае наверняка будут получены ответы, источником которых является психический комплекс, лежащий в основе идеи рака. Стоит слову—символу коснуться чего-нибудь такого, что связано со скрытым комплексом, и реакция сознательного Эго будет нарушена или даже замещена ответом, продиктованным этим комплексом. Впечатление такое, что этот комплекс представляет собой автономное существо, способное вмешиваться в намерения Эго. Комплексы в самом деле ведут себя словно вторичные или частичные личности, наделенные собственной психической жизнью.

Говоря о происхождении многих комплексов надо отметить, что они

просто отклонились от сознания — оно предпочло избавиться от них путем вытеснения. Но среди них есть и другие, никогда ранее не входившие в сознание, а потому и не поддававшиеся прежде произвольному вытеснению. Они произрастают из бессознательного и вторгаются в сознание вместе со своими таинственными и недоступными влияниями и импульсами. Случай нашего пациента относится как раз к этой категории. Несмотря на всю его культуру и интеллигентность, он стал беспомощной жертвой какой-то одержимости, оказавшись не способным противостоять демонической силе болезнетворной идеи. Она росла в нем подобно настоящей опухоли. Однажды появившись, эта идея непоколебимо удерживалась в его сознании, отступая лишь изредка на короткое время.

Такие случаи хорошо объясняют, почему люди опасаются самосознания. За экраном может оказаться нечто — кто знает, что именно, — а потому люди предпочитают «принимать во внимание и тщательно наблюдать» исключительно внешние для их сознания факторы. У большинства людей имеется своего рода первобытная робость по отношению к возможным содержаниям бессознательного. Помимо естественной робости и стыда, также присутствует еще тайный страх перед неведомыми «опасностями души». Конечно, мы не признаем столь смехотворную боязнь. Но нам необходимо понять, что этот страх вовсе не является неоправданным; напротив, у него слишком весомые основания. Мы никогда не можем быть уверены в том, что какая-нибудь новая идея не захватит нас целиком — или наших соседей. Как из современной, так и из древней истории нам известно, что такие идеи могут оказаться весьма странными, такими, что далеко не все люди могут с ними согласиться. В итоге мы получаем сожжение заживо или рубку голов всем инакомыслящим, сколь бы благонамеренными и рассудительными они не были; а сегодня в ход идет более современное, автоматическое оружие. Мы даже не в силах успокоить себя той мыслью, что подобного рода вещи принадлежат отдаленному прошлому. К сожалению, они принадлежат не только настоящему, но и будущему. Ното *hominī lupus* (лат. «человек человеку — волк») — это печальный, но все же вечный трюизм. Так что у человека есть причины опасаться тех безличных сил, которые таятся в бессознательном. Мы пребываем в блаженном неведении относительно этих сил, поскольку они никогда (или почти никогда) не касаются наших личных дел в обычных обстоятельствах. Но стоит людям собраться вместе и образовать толпу, как высвобождается динамика коллективного человека. Звери или демоны, сидящие в каждом человеке, не проявляют себя, пока он не сделался частью толпы. Там человек бессознательно нисходит на

низший моральный и интеллектуальный уровень. Тот уровень, который всегда лежит за порогом сознания, готов прорваться наружу, стоит подействовать стимулу совместного пребывания в толпе.

Фатальной ошибкой является подход к человеческой психике как чему-то сугубо личностному, либо попытка объяснить ее с исключительно личностной точки зрения. Такой способ объяснения пригоден в ситуации обычных повседневных занятий индивида и в его отношениях с другими, но стоит возникнуть малейшим трудностям, скажем в форме непредвиденных и неожиданных событий, как тотчас призываются на помощь инстинктивные силы, представляющие в качестве чего-то совершенно необъяснимого, нового, даже странного. С точки зрения личностных мотивов их уже не понять, они сравнимы, скорее, с паникой дикарей при виде солнечного затмения и тому подобными событиями. Так, попытка объяснения смертельной вспышки большевистских идей личностным отцовским комплексом мне кажется совершенно неадекватной. Изменения в характере человека, происходящие под влиянием коллективных сил, буквально изумляют. Деликатное и разумное существо может превратиться в маньяка или дикого зверя. Причины тому ищут обычно во внешних обстоятельствах, но ведь взорваться в нас может лишь то, что ранее уже было заложено. Мы всегда живем на вершине вулкана; и пока нет человеческих средств защиты от возможного извержения, которое способно все разрушить, что только может. Конечно, хорошо устраивать молебны в честь разума и здравого смысла, но как быть, если ваша аудитория подобна обитателям сумасшедшего дома или толпе в коллективном припадке? Разница тут невелика, ибо и сумасшедший, и толпа движимы овладевшими ими безличными силами.

Достаточно такой малости, как невроз, чтобы вызвать силу, с которой только разумом не справиться. Наш пример с раком ясно показывает, насколько бессилён интеллект перед лицом самой очевидной бессмыслицы. Я всегда советую моим пациентам принимать такую очевидную, но непобедимую бессмыслицу за проявление силы, смысл которой еще не был понят. Опыт научил меня, что куда более эффективный метод обращения с такими фактами — это принять их всерьез и попытаться найти подходящее объяснение. Но объяснение работает лишь в том случае, если выдвигается гипотеза, соответствующая болезнетворному следствию. В нашем случае мы сталкиваемся с такой волей и с такой силой внушения, которые просто несравнимы со всем тем, что может противопоставить им сознание пациента. В столь опасной ситуации было бы плохой стратегией убеждать пациента в том, что за его симптомом, пусть и самым непостижимым

образом, стоит он сам и оказывает поддержку этому симптому. Внушение такого рода тут же парализует его боевой дух, он будет деморализован. Гораздо лучше, если он будет считать свой комплекс автономной силой, направленной против его сознательной личности. Более того, это объяснение больше соответствует фактам, нежели сведение дела к личностным мотивам. К тому же личностная мотивация тут сохраняется, но не является интенциональной, она органично присуща пациенту.

В Вавилонском эпосе повествуется о том, как «гордыня» Гильгамеша [73] бросила вызов богам; тогда боги изобрели и создали человека, равного по силе Гильгамешу, чтобы тот умерил незаконные притязания героя. То же самое произошло с нашим пациентом. Он относится к тому типу людей, что строят свои отношения с миром исключительно на основе интеллекта и разума. Его притязания привели по меньшей мере к тому, что он замахнулся на формирование собственной судьбы. Он все подвергал беспощадному суду разума, но природе где-то удалось ускользнуть, и она вернулась полная мести в форме совершеннейшей бессмыслицы, т.е. идеи рака. Бессознательное породило такое тонкое и умное образование с одной целью — держать человека в безжалостной узде. Это был сокрушительный удар по всем его разумным идеалам, и прежде всего по вере во всемогущество человеческой воли.

Такого рода одержимость свойственна лишь тем, кто постоянно злоупотребляет разумом и интеллектом в эгоцентрических целях роста власти. Гильгамешу, правда, удалось избежать божественного возмездия. К нему приходили вещие сны, на которые он обратил внимание. Они подсказали ему, как лучше одолеть врага. У нашего пациента, живущего в век, когда боги вымерли и даже пользуются дурной репутацией, также были сновидения, но он к ним не прислушался. Как можно разумному человеку быть столь подвластным предрассудкам, чтобы всерьез принимать сны! Этот общий предрассудок по поводу значения сновидений является лишь одним из симптомов куда более серьезной недооценки человеческой души вообще. Удивительное развитие науки и техники было уравновешено, с другой стороны, поразительной утратой мудрости и интроспекции. Верно, наша религия много говорит о бессмертной душе, но это учение содержит лишь несколько слов о действительной человеческой душе, которой суждено отправиться прямо в ад, не будь особого акта божественной благодати. Эти два важных фактора несут ответственность за общую недооценку значения психики, но не всю ответственность. Намного старше этих сравнительно недавних перемен являются первобытный страх и отвращение ко всему, что граничит с бессознательным.

Сознание поначалу было весьма непрочным. В относительно первобытных обществах мы все еще имеем возможность наблюдать, насколько легко утрачивается сознание. Одной из «опасностей души», кстати, является как раз утрата души, когда часть психики снова становится бессознательной. Другим примером может служить состояние, называемое «амок» — эквивалент «берсерка» в германских сагах. Это состояние большего или меньшего транса, часто сопровождаемого опустошительными социальными последствиями. Даже обычная эмоция может вызвать заметную утрату сознательности. Первобытные племена поэтому строго хранят разработанные формы вежливости, там принято говорить приглушенным голосом, складывать на землю оружие, припадать к земле, склонять головы, показывать раскрытые ладони рук. Даже в наших формах вежливости все еще можно отыскать следы «религиозного» видения возможных психических опасностей. Мы пытаемся умиловить судьбу, магически желая друг другу доброго дня. Левую руку нехорошо держать в кармане или за спиной, когда правой пожимаешь руку другого. Если вы хотите умиловить особенно сильно, вы пользуетесь обеими руками. Перед людьми, наделенными большим авторитетом, мы преклоняем непокрытую голову, т.е. предлагаем им свою голову без защиты, чтобы умиловить сильного, который может вдруг легко перейти к неконтролируемому насилию. Во время военных танцев дикари приходят в такое возбуждение, что могут наносить себе ранения и проливать кровь.

Жизнь дикаря постоянно наполнена заботой по поводу все время таящейся в засаде психической опасности, а потому столь многочисленны процедуры, направленные на уменьшение риска. Высшим проявлением этого факта является табу, наложенное на различные области. Бесчисленные тщательно и со страхом соблюдаемые табу суть ограждения области психики. Я совершил чудовищную ошибку, находясь на южном склоне горы Элгон. Мне захотелось выяснить, что из себя представляют призрачные дома, с которыми я часто сталкивался в лесу, и во время беседы я употребил слово «селельтени», означающее «призрак». Тотчас мои спутники умолкли в тягостном изумлении. Все отвернулись от меня, поскольку я громко произнес тщательно умалчиваемое слово и тем самым навлек самые опасные последствия. Мне пришлось сменить тему разговора, чтобы встречу можно было продолжить. Те же люди уверяли меня, что у них не бывает сновидений; последние были прерогативой вождя и шамана. Позже шаман признался мне, что у него тоже больше нет сновидений: ведь теперь у них есть окружной комиссар. «С тех пор как пришли англичане, у нас больше нет снов, — сказал он, — окружному

комиссару все ведомо о войне и болезнях, о том, где нам жить». Это странное суждение основывается на том факте, что сновидения были прежде высшим политическим озарением, голосом «мунгу». Поэтому обычному человеку было бы неразумно полагать, что у него есть сновидения. Сновидения — это голос Неведомого, которое от века грозит новыми опасностями, жертвами, войнами и прочими беспокойствами. Одному из африканцев как-то приснилось, что враги захватили его в плен и сожгли живьем. На следующий день он собрал своих родственников и стал упрасивать их сжечь его. Они согласились только связать ему ноги и поставили его в костер. Конечно он после этого сильно хромал, но от своих врагов ему удалось ускакать.

Имеется множество вероучений и церемоний, существующих с единственной целью — защититься от неожиданного, опасного, таящегося в бессознательном. Тот необычный факт, что сновидение является божественным гласом и вестником, а одновременно бесконечным источником хлопот, не вызывает проблем в сознании дикарей. Очевидные остатки такой первобытности мы обнаруживаем в психологии еврейских пророков. Они часто колеблются: прислушаться или нет к этому голосу. Стоит признать, что такому благочестивому человеку как Осия трудно взять в жены проститутку, дабы выполнить приказ Господа. Еще на заре человечества существовал обычай ограждать себя от произвольных и незаконных воздействий «сверхъестественного» с помощью определенных ритуалов и законов. Этот процесс развивался в истории путем умножения ритуалов, инструкций и вероучений. Последние два тысячелетия такой институт как христианская церковь принял на себя посредническую и защитную функции, встав между этими воздействиями и человеком. Средневековые церковные тексты не отрицают того, что божественное вдохновение может иметь место во сне, но это не поощрялось, и церковь оставляла за собой право решать, считать ли такое откровение аутентичным или нет. Несмотря на то, что церковь признает несомненной эманацию определенных сновидений от Бога, она не склонна, более того, отвращается от сколько-нибудь серьезного занятия сновидениями, хотя и признает, что некоторые из них могут непосредственно содержать откровение. Так что перемены последних столетий, по крайней мере, с этой точки зрения, вполне приемлемы для церкви, поскольку повлекли за собой упадок прежней интроспективной установки, способствовавшей серьезному подходу к сновидениям и внутреннему опыту.

Протестантизм, сровнявший с землей многие ранее тщательно воздвигнутые церковью стены, сразу стал испытывать на себе

разрушительные и схизматические воздействия индивидуального откровения. Стоило догматической ограде пасть, а ритуалам утратить действенный авторитет, как человек столкнулся с внутренним опытом, без защиты и водительства догматов и ритуалов, являющихся беспримерной квинтэссенцией как христианского, так и языческого религиозного опыта. Протестантизм утратил и все тонкости догматов: мессу, исповедь, большую часть литургии и значимость священства служителей культа.

Я должен подчеркнуть, что это суждение не является ценностным, да и не имеет такой цели. Я просто констатирую факты. Протестантизм усилил авторитет Библии как заместителя утраченного церковного авторитета. Но, как показала история, некоторые библейские тексты можно толковать по-разному. Увеличению божественности священного писания не слишком способствовала и научная критика Нового Завета. Под влиянием так называемого научного просвещения огромная масса образованных людей либо покинула церковь, либо стала к ней глубоко равнодушной. Если бы все они были скучными рационалистами или невротичными интеллектуалами, потеря была бы невелика. Но многие из них являются людьми набожными, однако не согласными с ныне существующими формами вероучения. Иначе трудно было бы объяснить удивительное воздействие движения Бухмана ^[74] на более или менее образованные слои населения. Повернувшийся спиной к церкви католик обычно тайно или открыто склоняется к атеизму, тогда как протестант, по возможности, следует за сектантским движением. Абсолютизм католической церкви требует столь же абсолютного отрицания, в то время как протестантский релятивизм допускает различные вариации.

Может показаться, что я слишком углубился в историю христианства, не имея иной цели, кроме объяснения предрассудков по поводу сновидений и индивидуального внутреннего опыта. Но сказанное мною могло бы стать частью моей беседы с нашим пациентом. Я бы сказал ему, что лучше было бы принять его навязчивые идеи о раке всерьез, нежели считать их патологической бессмыслицей. Но принять всерьез, значит признать это как своего рода информацию, диагноз о том факте, что в реально существующей психике возникли затруднения, которые конкретизировались в идею о растущей раковой опухоли. Пациент, конечно, спросил бы: «А что этот рост собой представляет?». И я бы ответил: «Не знаю», ибо я действительно не знаю. Хотя, как я уже отметил раньше, это наверняка компенсаторное или дополняющее бессознательное развитие, о его специфической природе и содержании пока ничего не известно. Речь идет о спонтанном проявлении бессознательного,

основанном на содержании, которого мы не сможем обнаружить в сознании.

Тогда мой пациент, конечно же, любопытствует, а как же я рассчитываю добраться до этого содержания, ставшего источником навязчивого представления. Я сообщу ему в ответ, рискуя повергнуть его в шок, что необходимую информацию нам поставят его сновидения. Мы станем смотреть на них так, словно они проистекают из источника, наделенного умом, целесообразностью и даже как бы личностным началом. Это, без сомнения, смелая гипотеза, и в то же время авантюра, поскольку мы намерены довериться давно дискредитированному существу, само существование которого сегодня по-прежнему отвергается многими психологами и философами. Знаменитый антрополог, которому я изложил свой подход, сделал типичное замечание: «Все это, конечно, интересно, но и опасно». Да, я признаю, что это опасно; столь же опасно, как и сам невроз. Если вы хотите избавиться от невроза, то вам нужно чем-то рисковать. Без известного риска всякое дело не эффективно, это нам слишком хорошо известно. Хирургическая операция по поводу рака также рискованна, и все-таки ее нужно делать. Чтобы быть лучше понятым, я часто поддаюсь искушению и советую моим пациентам — воспринимайте свою психику как некое «тонкое» тело, на котором могут произрастать столь же «тонкие» опухоли.

Предрассудок, согласно которому психика невообразима, а потому ничтожнее дуновения ветра, либо уверенность в том, что она представляет собой некую философскую систему логических понятий — этот предрассудок столь силен, что люди, не осознавая определенное содержание своей психики, считают его несуществующим. Нет ни доверия, ни веры в достоверность функционирования психики за пределами сознания, а анализ сновидений считается просто смехотворным занятием. В этих условиях мое предложение может вызвать наихудшие подозрения. И мне взаправду приходилось выслушивать немало всевозможных аргументов против серьезного отношения к смутным призракам сновидений. И все же в сновидениях мы обнаруживаем, даже без всякого глубокого анализа, те же конфликты и комплексы, существование которых устанавливается с помощью ассоциативного теста. Более того, эти комплексы образуют неотъемлемую часть невроза. Поэтому у нас есть веские основания считать, что сновидения могут предоставить нам не меньше информации о содержании невроза, чем ассоциативный тест. А на деле они дают информации куда больше. Симптом подобен стеблю над землей, но основная часть растения — это широкая сеть подземных корней.

Эта корневая система и образует содержание невроза; она является матрицей комплексов, симптомов и сновидений. У нас есть все основания утверждать, что сновидения отображают именно эти, так сказать подземные психические процессы. И если мы сможем к ним подобраться, значит, сможем достичь «корней» болезни.

Так как в мои цели не входит рассмотрение психопатологии неврозов, я предлагаю избрать другой случай в качестве примера того, как сновидения открывают неизвестные внутренние факты психики. В данном случае сновидцем является также интеллеktуал, наделенный удивительным умом и образованностью. Он был невротиком и обратился ко мне за помощью, чувствуя, что невроз становится непреодолимым и медленно, но верно несет психике разрушение. К счастью, его интеллект еще не пострадал, и он мог пользоваться своим тонким умом. Учитывая это, я возложил на него обязанность самому наблюдать и записывать свои сновидения. Они не анализировались и не объяснялись ему — лишь много позже мы принялись за анализ, так что сновидения, о которых пойдет речь, не содержат никаких привнесений. Они представляют собой последовательность событий так, как их наблюдал во сне пациент, без какого-либо вмешательства. Пациент никогда ничего не читал по психологии, не говоря уж об аналитической психологии.

Поскольку серия состоит из более чем четырехсот сновидений, я могу высказать лишь общее впечатление об этом материале; мною была опубликована подборка из 74 этих сновидений, содержащая мотивы, которые представляют значительный религиозный интерес. Сновидец, стоит об этом упомянуть, был по воспитанию католиком, но уже отошел от веры и не интересовался религиозными проблемами. Он принадлежал к тем интеллеktуалам или ученым, которые приходят в удивление, стоит кому-нибудь озадачить их теми или иными религиозными проблемами. Если придержиvаешься точки зрения, согласно которой бессознательное представляет собой психическое, существующее независимо от сознания, случай нашего сновидца может быть особенно интересен; естественно, допуская, что мы не ошибаемся, говоря о религиозном характере некоторых сновидений. Если же делать акцент только на сознании и не наделять бессознательное способностью к независимому существованию, то было бы крайне интересно выяснить, выводим ли материал сновидений из содержания сознания. В том случае, если факты будут благоприятствовать гипотезе о бессознательном, мы сможем тогда использовать сновидения в качестве источника информации о возможных религиозных тенденциях бессознательного.

Нельзя сказать, чтобы сновидения нашего пациента имели самое прямое отношение к религии. Однако среди четырехсот имеются два сновидения явно религиозного содержания. Я приведу теперь текст, написанный самим сновидцем.

Множество домов, в них нечто театральное, словно какая-то сцена. Кто-то упоминает имя Бернарда Шоу. Упоминается также, что пьеса относится к далекому будущему. Один из домов отмечен вывеской со следующей надписью: «Это вселенская католическая церковь. Это церковь Господа. Все, чувствующие себя орудиями Господа, могут войти». И внизу приписка мелкими буквами: «Церковь основана Иисусом и Павлом», — словно речь идет о фирме, хвастающейся древностью основания. Я говорю приятелю: «Давай зайдем, посмотрим». Он отвечает: «Непонятно, зачем такому множеству людей нужно толпиться, чтобы возникло религиозное чувство». Но я ему возражаю: «Ты — протестант, так что тебе не понять». Тут женщина с одобрением кивает головой. Теперь я сознаю, что на стене церкви висит афиша. На ней следующие слова: «Солдаты! Когда вы почувствуете, что вы во власти Господа, избегайте прямо говорить с ним. Господь словам недоступен. Мы также настоятельно рекомендуем вам не вмешиваться в дискуссию об атрибутах Господа. Это было бы бесполезно, ибо все ценное и важное невыразимо. Подпись: Папа *** (имя, однако, не расшифровать)».

Теперь мы входим в церковь. Интерьер похож скорее на мечеть, чем на церковь. Собственно говоря, есть сходство со Св. Софией. Скамей нет, это производит удивительное пространственное впечатление. Нет и образов. Только обрамленные сентенции на стенах (как в Св. Софии). Одна из сентенций гласит: «Не льсти благодетелю твоему». Та же женщина, которая одобрительно кивала мне раньше, плачет и говорит: «Тут уже ничего не осталось». Я отвечаю: «Я думаю, все в порядке», но она исчезает. Сначала я стою прямо перед колонной, которая мешает видеть, затем меняю положение и вижу перед собой толпу людей. Я не принадлежу им, стою один в стороне. Они произносят следующие слова: «Мы признаем, что находимся во власти Господа. Царство небесное внутри нас». Они повторяют это трижды самым торжественным образом. Затем орган играет фугу

Баха, хор поет. То звучит одна музыка, иногда повторяются следующие слова: «Все остальное только бумага», означающие, что остальное безжизненно.

Когда музыка заканчивается, начинается вторая часть церемонии. Как на студенческих встречах, за серьезными вещами следует веселье. Присутствуют спокойные, зрелые люди. Одни ходят туда-сюда, другие вместе о чем-то разговаривают, они приветствуют друг друга; подается епископальное вино и другие напитки. В виде тоста кто-то желает церкви благоприятного развития, по радиоприемнику передают мелодию в стиле регтайма с припевом: «Чарли нынче тоже в игре». Как будто это представление устроено для того, чтобы выразить радость по поводу какого-то нового члена общества. Священник объясняет мне: «Эти несколько пустопорожние развлечения официально признаны и приняты. Мы должны слегка приспособиться к американским методам. Когда имеешь дело с огромными толпами, это неизбежно. Наше принципиальное отличие от американских церквей в том, что мы подчеркнуто лелеем антиаскетическую линию». И тут я просыпаюсь с чувством огромного облегчения.

Как вам известно, имеются многочисленные работы о феноменологии сновидений, но лишь немногие касаются их психологии. Причина понятна: это деликатное и рискованное предприятие. Фрейд сделал смелую попытку прояснить запутанность психологии сновидений с помощью воззрений, выработанных им в области психопатологии. Как бы я ни восхищался смелостью этой попытки, согласиться с его методом и результатами я не в силах. Он рассматривает сновидение в качестве просто ширмы, за которой тщательно что-то скрывается. Несомненно, невротики стараются скрыть, забыть все неприятное, да и нормальные люди тоже. Вопрос в том, можно ли под эту категорию подводить такое нормальное явление как сновидение. У меня есть сомнения относительно того, что сон есть нечто иное, нежели то, что он собой представляет. Я, скорее, готов сослаться на авторитетное заключение Талмуда, где говорится: «Сновидение является своим собственным исполнением». Иными словами, я принимаю сон как таковой. Сновидение является настолько сложным и запутанным предметом, что я не решился бы делать предположения о его возможных загадках. Вместе с

тем сновидение является, когда сознание и воля в значительной степени погасли. Это естественный продукт, мы обнаруживаем его не только у невротиков. Более того, мы так мало знаем о психологии сновидчества, что нам нужно быть предельно осторожными, привнося в объяснение сновидений чуждые нам элементы.

По всем этим причинам я полагаю, что разбираемое нами сновидение действительно говорит о религии и ее имеет в виду. Поскольку сон тщательно разработан и плотен, это предполагает некую логику и определенную интенцию, т.е. ему предшествовала мотивация бессознательного, которая находит прямое выражение в содержании сновидения. Первая часть сна представляет собой серьезное суждение в пользу католической церкви. Некая протестантская точка зрения, будто религия есть дело индивидуального опыта, развенчивается сновидцем. Вторая часть, более похожая на гротеск, представляет собой адаптацию церкви к решительно мирской точке зрения и заканчивается утверждением в пользу антиаскетической тенденции, которую не могла и не стала бы поддерживать настоящая церковь. Но антиаскетический священник сновидца возводит эту тенденцию в принцип. Одухотворенность и возвышенность представляют собой подчеркнута христианские принципы, и всякое их ущемление было бы равнозначным богохульному язычеству. Христианство никогда не было мирским, никогда не превозносило добрососедские встречи с вином и едой, и более чем сомнительно такое приобретение, как джазовая музыка во время службы. «Спокойные и взрослые» личности, беседующие друг с другом (более или менее по-эпикурейски), напоминают об идеале античной философии, скорее неприятном для современного христианина. В обеих частях подчеркивается важность мессы или толпы.

Таким образом католическая церковь, хотя ей и отдается предпочтение, выступает в паре со странной языческой точкой зрения, несовместимой с фундаментальной установкой христианства. Действительная их несовместимость не явлена в сновидении. Она как бы замалчивается «приятной» атмосферой, где опасные контрасты затемнены и расплывчаты. Протестантская точка зрения — индивидуальное отношение к Богу — здесь придавлена массовой организацией и соответствующим ей коллективным религиозным чувством. Та настоятельность, с которой говорится о толпе, инсинуация по поводу языческих богов представляют интересные параллели тому, что сегодня творится в Европе. Все дивятся язычеству в нынешней Германии, потому что никто не знает, как интерпретировать дионисийский опыт Ницше. Он предварял опыт тысяч, а

затем миллионов немцев, в чьем бессознательном во время войны развивался германский кузен Диониса, а именно — Вотан. В сновидениях немцев, которых я лечил, мне была ясно видна вотановская революция, и в 1918 г. я опубликовал статью, в которой указал на особого рода развитие, которого можно ожидать в Германии. Эти немцы, конечно, не изучали «Так говорил Заратустра» и, безусловно, не были теми молодыми людьми, которые обратились к языческим жертвоприношениям, не имея понятия об опыте Ницше. Поэтому они называли своего бога Вотаном, а не Дионисом. В биографии Ницше вы легко найдете неопровержимые доказательства того, что бог, которого он изначально имел в виду, был на самом деле Вотаном [75]. Будучи филологом и живя в 70-80-е гг. прошлого века, он называл его Дионисом. Если посмотреть с компаративистской точки зрения, у этих богов действительно немало общего.

В сновидении моего пациента нет явной оппозиции к коллективному чувству, массовой религии и язычеству, исключая быстро смолкшего друга-протестанта. Правда, заслуживает внимания любопытное обстоятельство: незнакомая женщина, которая первоначально поддерживала панегирик по поводу христианства, а затем, неожиданно расплакавшись, сказала: «Тут уже ничего не осталось» и безвозвратно исчезла. Кто эта женщина? Для сновидца это расплывчатая и неведомая личность, но когда сон снился ему, он уже знал, что она — та «неведомая», которая часто появлялась в предшествующих сновидениях. Поскольку эта фигура играет огромную роль в мужских сновидениях, у нее имеется техническое обозначение — «Анима», которое было принято потому, что с незапамятных времен в мифах всегда присутствовала идея о сосуществовании мужского и женского начал в одном теле. Психологические интуиции такого рода обычно проецировались в форме божественной пары Сидиги или в идее творца-гермафродита. Эдуард Мэйтленд, биограф Анны Кингсфорд, в наши дни рассказывает о внутреннем опыте бисексуальной природы божества; существует герметическая философия с ее внутренним человеком — гермафродитом и андрогином, который хотя и предстает в мужской форме, всегда носит в себе Еву, т.е. жену свою, «скрытую в его теле», как говорит средневековый комментатор *Hermetis Tractatus Aureus*.

Предположительно, Анима есть психическая репрезентация женских генов, находящихся в меньшинстве в мужском теле. Это вероятно тем более, что Анима не встречается среди образов женского бессознательного. Имеется фигура, играющая равнозначную роль, но это не женский, а мужской образ. Этот мужской образ в психологии женщины получил название «Анимус». Одним из типичных проявлений обеих фигур является

то, что издавна именуется «animosity» — враждебность. Анима вызывает аналогичные настроения, Анимус способствует появлению раздражающих тем, неразумных суждений. В обоих случаях это часто встречающиеся в сновидениях фигуры. Как правило, они олицетворяют бессознательное и придают ему специфически неприятный и раздражающий характер. У бессознательного самого по себе нет этих отрицательных качеств. Они появляются лишь вместе с персонификацией, когда возникают эти фигуры и начинают воздействовать на сознание. Будучи лишь частичными личностями, они имеют характер низших женщины и мужчины — отсюда их воздействие, вызывающее раздражение. Мужчина под этим воздействием становится носителем очень неустойчивого настроения, женщина делается спорщицей и все время высказывает совершенно неуместные мнения.

Определенно негативная реакция Анимы в сновидении о церкви указывает на то, что женское начало сновидца, т.е. его бессознательное, несогласно с его установкой. Несогласие начинается с сентенции на стене: «Не льсти благодетелю твоему», с которой согласен сновидец. Смысл сентенции кажется достаточно здравым, поэтому необъяснимо вызванное им отчаяние женщины. Не углубляясь более в эти мистерии, мы удовлетворимся на время тем фактом, что в сновидении содержится противоречие, что очень важное меньшинство покинуло сцену с явным протестом и не обращает внимания на дальнейшее представление.

Из сновидения мы можем сделать вывод, что бессознательное функционирование ума сновидца производит довольно-таки плоский компромисс между христианством и языческой *joie de vivre* (фр. «радостью жизни»). Продукт бессознательного не выражает явно какой-нибудь точки зрения или окончательного мнения. Это скорее драматическое представление акта размышления. Можно было бы сформулировать его следующим образом: «Как же быть со всей этой религией? Ты ведь католик, не так ли? Тебе этого недостаточно? Но аскетизм! Ну, ладно, даже церковь должна немного приспособливаться — кино, радио, душевные беседы, *five o'clock tea* и т.д. — почему бы не выпить церковного вина и не повеселиться?» Но по какой-то неизвестной причине эта непереносимая таинственная женщина, хорошо известная по многим прежним снам, кажется глубоко разочарованной и уходит.

Должен признаться, что я симпатизирую в данном случае Аниме. Компромисс тут явно поверхностный и дешевый, но он характерен для сновидца, как и для многих других людей, для кого религия хоть что-то значит. Моего пациента религия не касается, и он наверняка не ожидал, что

она будет его касаться хоть каким-то боком. Но он пришел ко мне, переживая серьезную душевную драму. Рационалист и в высшей степени интеллеktуал, он обнаружил, что эта установка его ума, его философия полностью оставляют его перед лицом невроза и сил разложения. Во всем своем мировоззрении он не нашел ничего, что помогло бы ему вновь обрести достаточный контроль над самим собой. Он оказался в ситуации человека, покинутого лелеемыми доселе убеждениями и идеалами. В таком состоянии люди нередко возвращаются к религии детства в надежде найти там хоть какую-то помощь. У пациента это не было, однако, сознательной попыткой или решимостью оживить прежние религиозные верования. Они ему просто снились, т.е. его бессознательное воспроизводило своеобразные суждения о религии. Словно дух и плоть, вечные враги в христианском сознании, примирились друг с другом, смягчили противоречие. Духовное и мирское неожиданно пришли к миру. Эффект оказался гротескным и даже комичным. Неумолимая суровость духа была подорвана чуть ли не античным, сопровождаемым вином и розами, весельем. Сновидение воспроизводило духовную мирскую атмосферу, в которой острота морального конфликта притупилась, боль и расстройство преданы забвению. Если в этом и состояло исполнение желания, то желания сознательного, поскольку именно в этом пациент и так зашел слишком далеко. И он это осознавал, так как вино было одним из его злейших врагов. Сновидение, напротив, является безучастной констатацией духовного состояния пациента. Это картина выродившейся религии, испорченной миром, инстинктами толпы. На место нуминозности божественного опыта становится религиозная сентиментальность — хорошо известная характеристика религии, утратившей живую тайну. Легко понять, что такая религия неспособна помочь или возыметь какой-либо другой моральный эффект.

В целом сновидение, безусловно, неблагоприятно для пациента, хотя проглядывают другие аспекты, наделенные более положительной природой. Редко бывает так, чтобы сновидения были исключительно позитивны или негативны. Как правило, присутствуют обе стороны, но одна из них обычно преобладает. Понятно, что такого рода сон представляет психологу достаточно материала для того, чтобы поставить проблему религиозной установки. Если бы в нашем распоряжении имелся лишь этот сон, то глубинное его значение едва ли было бы нам доступно. Но у нас есть целая серия сновидений, в которых появляется эта странная религиозная проблема. Один сон сам по себе я обычно не берусь толковать; как правило, он принадлежит серии. Подобно непрерывности сознательной

жизни (регулярно прерываемой сном) имеется, вероятно, и непрерывность бессознательных процессов, в которой даже меньше разрывов, чем в сознании. Во всяком случае, мой опыт говорит о том, что сновидения являются звеньями в цепи бессознательных событий. Чтобы пролить свет на глубинные основания данного сновидения, нам нужно вернуться по этой цепи и найти положение этого сна в серии из четырехсот сновидений. Мы обнаруживаем тогда, что этот сон вклинивается между двумя другими сновидениями, имеющими жуткий характер. Предшествующий сон сообщает о собрании множества народа, о магической церемонии с целью «воссоздать гиббона». Последующий сон также имеет дело со сходной темой — магическим преобразованием животных в людей.

Оба сна крайне неприятны и тревожны для пациента. В то время как сон, где присутствует церковь, как бы движется по поверхности и представляет мнения, которые в иных обстоятельствах он мог бы помыслить сознательно, эти два сновидения имеют странный и чуждый характер, а эмоциональный их эффект таков, что сновидец по возможности хотел бы их избежать. Собственно говоря, смысл этого сновидения буквально таков: «Если ты убежишь, то все потеряно». Это замечание любопытным образом совпадает со словами неведомой женщины: «Тут уже ничего не осталось». Мы можем вывести из этих замечаний предположение о том, что сон с церковью был попыткой бегства от других сновидений, имевших место раньше или позже, и наделенных куда более глубоким значением.

II. Догматы и естественные символы

В описании первого из этих сновидений, что предшествовало сну о церкви, говорится о церемонии, с помощью которой воссоздается обезьяна. Чтобы пересказать всю эту процедуру потребовалось бы изложить слишком много подробностей. Я вынужден ограничиться констатацией того, что «обезьяна» относится к инстинктивной личности сновидца, которая полностью игнорировалась им во имя исключительно интеллектуальной установки сознания. В результате инстинкты взяли над ним верх и периодически атаковали его неконтролируемыми вспышками. «Воссоздание» обезьяны означает перестройку инстинктивной личности в рамках иерархии сознания. Такая реконструкция возможна только вместе с важными изменениями установки сознания. Естественно, пациент опасался бессознательных тенденций, поскольку ранее они обнаруживали себя в самой неблагоприятной форме. Последовавший затем сон с церковью представляет собой попытку найти убежище от этого страха под кровом религии. Третий сон о «преображении животных в людей» — очевидным образом продолжает тему первого, т.е. воссоздания обезьяны, с единственной целью — трансформировать ее затем в человеческое существо. Иными словами, чтобы стать новым существом, пациент должен пройти через важные изменения, путем реинтеграции ранее отколотой инстинктивности — тем самым он сможет стать новым человеком.

Наше время забыло древние истины, гласившие о смерти ветхого человека и творении нового, о духовном возрождении и прочем старомодном «мистическом абсурде». Моего пациента — современного ученого — не раз охватывала паника, когда он понимал, какую власть над ним обрели подобные мысли. Он опасался безумия, а между тем две тысячи лет назад человек приветствовал бы такие сновидения в радостной надежде на магическое возрождение и обновление жизни. Однако современная установка — это горделивый взгляд на прошлое как на тьму предрассудков, средневекового и первобытного легковерия, это забвение того, что сама эта установка опирается на всю прошлую жизнь — нижние этажи, на которых покоится небоскреб рационального сознания. Без этих нижних этажей наш ум повис бы в воздухе. Не удивительно, что это нервирует. Подлинная история развития человеческого сознания хранится не в ученых книгах, она хранится в психической организации каждого из нас.

Должен признать, что идея об обновлении принимает формы, которые легко могут шокировать современное сознание. Трудно, если не невозможно, соединить образ «возрождения» с картинами, которые рисуют нам сновидения. Прежде чем обратиться к намекам на это странное и неожиданное преобразование, следует уделить внимание другому явно религиозному сновидению, на которое я мельком указывал ранее. Если сновидение с церковью было одним из сравнительно ранних в данной серии, то следующий сон принадлежит к позднейшим стадиям процесса. Вот его подробная запись.

Я вхожу в торжественное здание, именуемое «домом внутреннего спокойствия и самососредоточенности». Внизу множество горящих свечей, образующих как бы четыре пирамиды. У дверей дома стоит старец. Люди входят, они не разговаривают друг с другом, чаще всего они замирают, чтобы сконцентрироваться. Старец у дверей рассказывает мне о посетителях этого дома и говорит: «Покидая его, они чисты». Теперь я вхожу в дом, я обрел способность полной концентрации. Голос говорит: «То, что ты делаешь, опасно. Религия — это не налог, уплаченный тобой для того, чтобы избавиться от женского лика, ибо этот лик необходим. Горе тому, кто пользуется религией как заместителем другой стороны душевной жизни. Они заблуждаются и будут прокляты. Религия — не замена, но окончательная завершенность, приданная всякой иной деятельности души. Из полноты жизни родится твоя религия, только тогда будешь ты благословенным». Когда заканчивается последняя фраза, слышится тихая музыка, нечто простое играют на органе, отдаленно напоминающее «волшебство огня» (Feuerzauber) Вагнера. Покидая дом, я вижу пламенеющую гору и чувствую, что этот неугасимый огонь должен быть священным.

Сновидение произвело на пациента глубокое впечатление. Для него это был торжественный и многообещающий опыт, один из тех, что производят полную перемену в отношениях с жизнью и с человечеством. Нетрудно увидеть в этом сновидении параллели с тем, где снилась церковь. Только на сей раз церковь стала «домом торжества» и «самососредоточенности». Нет никаких признаков службы или других атрибутов католической церкви. Единственным исключением являются

горящие свечи, собранные в символическую форму, заимствованную, вероятно, из католического культа. Свечи образуют четыре пирамиды, которые, видимо, предуготовливают заключительное видение пламенеющей горы. Число четыре регулярно возникало в его сновидениях — оно играет очень важную роль. Священный огонь, согласно наблюдениям самого пациента, имеет отношение к «Святой Иоанне» Бернарда Шоу. «Неугасимый огонь» — это хорошо известный атрибут Божества не только в Ветхом завете, но и как *allegoria Christi* в неканонической логии [76]. Со времен Гераклита жизнь изображалась как «вечно живущий огонь», и так как Христос называет себя жизнью, то это неканоническое высказывание становится понятным и даже достоверным. Символика огня как «жизни» входит в структуру сновидения — подчеркивается «полнота жизни» как единственный законный источник религии. Четыре огненные вершины имеют здесь почти ту же функцию, что и икона, обозначающая присутствие божества (или равнозначной ему идеи). Как я отмечал ранее, число четыре играет в этих сновидениях важную роль, оно всегда отсылает к идее, родственной пифагорейскому *Quaternarium* [77].

В обсуждаемом сновидении четверица выступает как самый значимый образец религиозного культа, созданный бессознательным. Сновидец входит в «дом самососредоточенности» в одиночестве, а не с другом, как это было в сновидении с церковью. Здесь он встречает старца, который уже появлялся ранее в его снах как мудрец, указывавший сновидцу то место на земле, которому последний принадлежит. Старец разъясняет, что культ по своему характеру является очистительным ритуалом. Однако из текста сновидения не вполне ясно, о какого рода очищении идет речь, от чего нужно очиститься. Единственным ритуалом оказывается концентрация или медитация, ведущая к экстатическому явлению голоса. Вообще, в этой серии сновидений часто встречается голос. Им всегда произносятся властные заявления или приказы, имеющие либо характер истин на уровне здравого смысла, либо суждений с намеком на философскую глубину. Как правило, это заключительное суждение, звучит под конец сна и, как правило, столь ясно и убедительно, что у сновидца нет против него никаких возражений. Оно имеет характер истины, не подлежащей обсуждению, а потому оно часто предстает как финальный и абсолютно значимый вывод из долгого бессознательного размышления, после тщательного взвешивания всех аргументов. Часто этот голос принадлежит властной фигуре — военачальнику, капитану корабля, старому врачу. Иногда, как и в

данном случае, присутствует один голос, идущий как бы ниоткуда.

Интересно то, как этот интеллеktуал и скептик воспринимал голос. Сами суждения часто совсем ему не нравились, но все же он принимал их без вопросов и даже со смирением. Таким образом, голос являлся на протяжении многих сотен тщательно записанных сновидений как важный и даже решающий образ бессознательного. Поскольку данный пациент ни в коем случае не является единственным наблюдавшимся мною пациентом с феноменом голоса в сновидениях и в других специфических состояниях, я должен был принять как факт то, что бессознательный ум временами может обретать интеллект и целесообразность, которые намного превосходят сознательное видение. Не вызывает сомнений и то, что голос — это один из основных религиозных феноменов, его можно наблюдать и в тех случаях, когда сознание, так сказать, занято темами, весьма далекими от религиозных. Схожие наблюдения нередки и в других случаях, а потому я должен признать, что понимаю эти данные только так, а не иначе. Я часто сталкивался с возражением, согласно которому мысли, если они провозглашены, могут принадлежать исключительно самому индивиду. Возможно, это и так, но своей мыслью я называю ту, что помыслена мною, подобно тому, как я называю деньги своими, если заработал или получил их сознательно и законным путем. Если некто решит преподнести мне деньги в качестве подарка, то я ведь не могу сказать своему благодетелю: «Благодарю Вас за мои собственные деньги», хотя позже я уже могу заявить, что это мои деньги. Точно такая же ситуация и с голосом. Он дает мне какой-то материал, подобно другу, сообщающему мне о своих идеях. Было бы непорядочно, да и неверно, считать, будто сказанное им — это мои идеи.

Вот почему я провожу принципиальное различие между тем, что было произведено и присвоено моими собственными сознательными усилиями, и тем, что ясно и безоговорочно является продуктом бессознательного ума. Кто-то захочет возразить, что бессознательный ум все же принадлежит мне, а потому такое различие излишне. Но я не могу сказать с уверенностью, является ли бессознательный ум — моим, так как понятие «бессознательное» предполагает, что я даже не осознаю его наличия, фактически, понятие «бессознательного ума» является просто удобным предположением. На деле я совершенно бессознателен, иначе говоря, совсем не знаю, откуда доносится этот голос. Я не только не могу воспроизвести этот феномен по своей воле, но я не в силах предугадать и содержание того, что он может до меня донести. Поэтому было бы самонадеянно считать, будто голос мой принадлежит моему уму. Это было

бы не совсем точно. Тот факт, что голос воспринимается вами в вашем сновидении, ничего не доказывает, ибо вы можете слышать и шум на улице, который никак своим не назовете. Только при одном условии вы могли бы на законных основаниях называть голос своим собственным, а именно, если вы считаете свою сознательную личность частью целого, так сказать меньшим кругом, входящим в больший. Мелкий банковский клерк, который водит друга по городу и показывает ему на здание банка со словами: «А вот мой банк», — пользуется той же привилегией.

Мы можем предположить, что человеческая личность состоит из двух частей: во-первых, это сознание и все то, что им покрывается; во-вторых, это расплывчатые глубинные регионы бессознательной психики. Если первое можно более или менее ясно определить и очертить, то целостность человеческой личности необходимо признать недоступной для полного описания или определения. Другими словами, каждая личность содержит в себе некую беспредельную и не поддающуюся определению часть, ибо ее сознательная и наблюдаемая часть не включает в себя ряд факторов, существование которых мы вынуждены, однако, предполагать, чтобы иметь возможность объяснять наблюдаемые случаи. Вот эти-то неизвестные факторы и образуют то, что мы называем бессознательным. У нас нет представления о содержании этих фактов, поскольку мы наблюдаем только их следствия. Мы можем только предположить, что они имеют психическую природу, сравнимую с содержаниями сознания, хотя полной уверенности в этом у нас нет. Но стоит лишь представить себе, что подобие существует, и нам уже не удержаться от дальнейшего развития мысли. Так как содержания нашего ума сознательны и воспринимаются лишь при ассоциации с Эго, значит, феномен голоса, наделенного личностным характером, также может принадлежать центру, но уже не тождественному нашему сознательному Эго.

Такое рассуждение допустимо, если мы будем считать Эго подчиненным или включенным в Самость — центр тотальной, беспредельной и не поддающейся определению психической личности. Когда философские аргументы привлекаются лишь для того, чтобы удивить своей сложностью, этот прием не приводит меня в состояние восторга. Хотя мои доказательства могут показаться трудными для понимания, они, по крайней мере, представляют собой честную попытку осмысления наблюдаемых фактов. Проще говоря, так как мы далеки от всезнания, то практически любой опыт, факт или объект содержит в себе нечто неведомое. Так что если мы толкуем о тотальности опыта, то слово «тотальность» может относиться лишь к сознательной части опыта. А так

как мы не можем предположить, что наш опыт покрывает собой тотальность объекта, то очевидно, что абсолютная тотальность должна в себя включать еще и ту часть, которая в опыт не вошла. Сказанное верно относительно всякого опыта, а в равной степени и психики, чья абсолютная тотальность покрывает большую часть сознания. Иными словами, психика не является исключением из общего правила, согласно которому мы устанавливаем что-либо о вселенной ровно настолько, насколько это позволяет нам наша психическая организация.

Мои научные исследования вновь и вновь показывали, что определенные содержания психики имеют своим источником слои более глубокие, нежели сознание. Эти слои часто содержат в себе видение или знание более высокого порядка, чем то, что в состоянии произвести сознание. У нас имеется для таких явлений подходящее слово — интуиция. Произнося это слово, большая часть людей испытывает приятное ощущение — словно употребив его, мы смогли что-то себе объяснить. При этом не принимается во внимание тот факт, что не вы осуществляете интуицию — наоборот, это всегда она к вам приходит. У вас есть предчувствие, оно само в вас случилось, а вы его просто улавливаете, если достаточно умны и проворны. Поэтому голос во сне со священным домом я объясняю как принадлежащий более совершенной личности, к которой сознательное «Я» сновидца относится как часть к целому. В этом причина того, что голос демонстрирует ум и ясность мысли, превосходящие наличное сознание сновидца. Такое превосходство является причиной безусловного авторитета, коим наделен голос.

В том, что произносит этот голос, содержится своеобразная критика установок сновидца. В сновидении с церковью он пытался примирить две стороны жизни при помощи какого-то дешевого компромисса. Как мы уже знаем, неизвестная женщина, Анима, не согласилась с этим и покинула сцену. В последнем сновидении голос, кажется, занял место Анимы — с той разницей, что вместо эмоционального протеста теперь звучит властная речь о двух типах религии. Согласно прозвучавшему приговору, сновидец склонен использовать религию как замещение «образа женщины». Под «женщиной» подразумевается Анима. Это подтверждается следующим изречением, гласящим, что религия используется как заменитель «другой стороны душевной жизни». Она представляет женское начало, лежащее за порогом сознания, т.е. принадлежащее так называемому бессознательному уму. Критику, следовательно, можно понять так: «Ты обращаешься к религии, чтобы бежать от собственного бессознательного. Ты используешь ее как заменитель части своей душевной жизни. Но религия — это плод и

кульминация полноты жизни, содержащей обе эти стороны».

Тщательное сопоставление содержания этого сна с другими сновидениями той же серии безошибочно показывает, что представляет собой «другая сторона». Пациент все время пытался игнорировать свои эмоциональные нужды. Он опасался, что они могут вовлечь его в неприятности, например, приведут его к женитьбе и ко всякого рода обязанностям — любви, преданности, доверию, эмоциональной зависимости и вообще к покорности душевным нуждам. Обязанности эти не имели ничего общего ни с наукой, ни с академической карьерой; более того, само понятие «душа» было для него каким-то интеллектуальным непотребством, таким, что и прикоснуться страшно. «Таинство» души для моего пациента — это некое иносказание, ставящее его в тупик. Он ничего не знал о религии, кроме того, что она представляет собой вероучение, и решил, что ею можно заменить определенного рода эмоциональные потребности — их можно обойти, если ходишь в церковь. Предрассудки нашего века сказались на уровне его понимания. С другой стороны, голос сообщает ему нечто нарушающее всякие условности, неортодоксальное, шокирующее: религия принимается всерьез, ставится на самую вершину жизни. Причем жизни, включающей в себя «другую сторону» и подрывающей тем самым любезные сердцу интеллектуальные и рационалистические предрассудки.

Это был настолько серьезный переворот в сознании, что мой пациент часто опасался, что сойдет с ума. Должен сказать, имея представление о типичных интеллектуалах сегодняшнего и вчерашнего дня, что попавшему в такую переделку человеку можно посочувствовать. Всерьез считаться с «образом женщины», другими словами, с бессознательным — какой удар по просвещенному здравому смыслу! Я начал курс лечения только после того, как пациент записал первую серию из примерно 350 сновидений. Я получил тем самым полное представление о всех нюансах его неупорядоченного опыта. Не удивительно, что он хотел бросить это предприятие. К счастью, у этого человека была своя «религия»: он «тщательно принимал во внимание» свой опыт и в достаточной мере верил в него, что помогало ему держаться испытанного и продолжать начатое нами дело. На руку оказалось и то обстоятельство, что пациент был невротиком: стоило ему проявить недоверие к опыту, попытаться отрицать голос, как невротическое состояние тут же возвращалось. Он просто не мог «погасить огонь», и был принужден признать непостижимо нуминозный характер своего опыта. Он был вынужден примириться с тем, что неугасимый огонь был «священным». Таковым было неременное условие

его исцеления. Конечно, можно было бы посчитать этот случай исключением из правил — подобно тому, как все подлинно человеческие и совершенные личности суть исключения. Верно, что подавляющее большинство образованных людей нельзя отнести к цельным личностям, а вместо истинных ценностей они наделены множеством суррогатов. Такое существование неизбежно вызывает невроз, как у нашего пациента, так и у множества других людей.

То, что у нас принято называть «религией», в такой степени является подделкой, что я часто спрашиваю самого себя: не выполняет ли такого рода «религия» (я предпочитаю называть ее вероучением) важную функцию в человеческом обществе? Несомненная цель замещения — поставить на место непосредственного опыта некий набор пригодных символов, подкрепленных твердыней догмата и ритуала. Католическая церковь поддерживает их всем своим непререкаемым авторитетом, протестантская церковь (если этот термин еще применим) настаивает на вере и евангельском благовестии. Пока эти два принципа работают, люди надежно закрыты от непосредственного религиозного опыта. Даже если нечто подобное с ними и случится, они могут обратиться к церкви, где им объяснят — пришел ли этот опыт от Бога или от дьявола, принять его или отвергнуть.

Мне по роду своей деятельности приходилось встречать людей, которые имели подобный непосредственный опыт и не пожелали подчиниться догматическому авторитету. Мне приходилось наблюдать, как они проходили все стадии исполненных страсти конфликтов, переживали страх безумия, отчаянную путаницу, депрессии, которые были одновременно гротескными и наводящими ужас. Так что я вполне сознаю чрезвычайную важность догмата и ритуала — по крайней мере в качестве методов умственной гигиены. Если мой пациент — католик, я неизменно советую ему исповедоваться и причащаться, чтобы защитить себя от непосредственного опыта, который может оказаться слишком тяжелой ношей. С протестантами обычно много сложнее, поскольку догматы и ритуалы сделались настолько бледными и слабыми, что в значительной степени утратили свою эффективность. Исповедь, как правило, отсутствует, а пасторы разделяют со своей паствой общую нелюбовь к психологическим проблемам и, к несчастью, общее для них психологическое невежество. Католический «руководитель совести», как правило, владеет несопоставимо большим психологическим мастерством. Более того, протестантские пасторы получают на теологическом факультете научную подготовку, которая, в силу господствующего критического духа,

подрывает наивность веры, в то время как в подготовке католического священника подавляющую значимость имеет историческая традиция, что способствует укреплению авторитета института церкви.

Конечно, я мог бы, как врач, принадлежать к сторонникам так называемого научного вероучения, и свести содержание невроза к вытесненной детской сексуальности или воле к власти. С помощью такого умаления психики можно было бы защитить известное число пациентов от риска появления и переживания непосредственного опыта. Но я знаю, что эта теория лишь частично истинна, т.е. улавливает только отдельные поверхностные аспекты невротической психики. А я не могу убеждать моих пациентов в том, во что сам не верю безоговорочно. Тогда мне могут возразить: «Но вы же советуете католикам ходить в церковь и исповедоваться — в таком случае вы пропагандируете то, во что сами не верите», — имея в виду, что я протестант. В ответ на такую критику я должен сразу заявить, что стараюсь вообще обходиться без проповеди моих верований. Конечно, я держусь моих убеждений, но они не выходят за пределы того, что я считаю своими действительными познаниями. Я убежден в том, что я знаю. Все остальное — это гипотезы, и я отношу к Неведомому множество самых разнообразных вещей. Они меня не касаются. Они начнут меня касаться, если я почувствую, что должен знать о них что-нибудь.

Поэтому, если пациент убежден в исключительно сексуальном происхождении своего невроза, то я не стану ему препятствовать, ибо знаю, что такое убеждение, особенно если оно глубоко укоренилось, является превосходной защитой от приступов ужасающей неопределенности непосредственного опыта. Пока эта защитная стена держится, я не стану ее ломать, так как знаю, что должны существовать какие-то весомые причины такой узости кругозора пациента. Но если сновидения начнут разрушать его защитительную теорию, то я буду поддерживать более широкую личность, что я и делал в тех случаях, когда дело касалось описанных выше сновидений. Точно так же и по тем же мотивам я поддерживаю гипотезы верующего католика, но до тех пор, пока они работают. В любом случае я поддерживаю защитные средства и не задаю академических вопросов о том, насколько истинны наши представления об этой защите. Мне довольно того, что она работает.

Что же касается нашего пациента, то надо сказать, что в данном случае стена католической защиты рухнула задолго до того, как я с ним столкнулся. Он посмеялся бы надо мной, посоветуй я ему исповедоваться или нечто в этом роде. Точно так же он посмеялся бы и над сексуальной

теорией, которая тоже не оказала бы ему поддержки. Но я всегда давал ему ясно понять, что целиком нахожусь на стороне услышанного им во сне внутреннего голоса, в коем я видел часть его будущей цельной личности, назначение которой состояло в том, чтобы освободить нашего пациента от его односторонности.

Для интеллектуальной посредственности, со свойственным ей просвещенным рационализмом, всеупрощающая научная теория тоже является очень хорошим защитным средством — в силу потрясающей веры современного человека во все, на что приклеен ярлык науки. Такой ярлык сразу успокаивает, почти так же как “*Roma locuta, causa finita*”. Сколь бы утонченной ни была научная теория, с психологической точки зрения сама по себе она имеет меньшую ценность, нежели религиозный догмат. Причина здесь весьма проста: ведь теория по необходимости является в высшей степени абстрактной, совершенно рациональной, в то время как догмат выражает посредством образа нечто иррациональное. Иррациональный факт, каковым является и психика, куда лучше передается в образной форме. Более того, догмат обязан своему существованию, с одной стороны, так называемому непосредственному опыту «откровения» (богочеловек, крест, непорочное зачатие, Троица и т.д.), с другой — сотрудничеству многих умов, которое не прекращалось на протяжении веков. Быть может, не совсем понятно, почему я называю некоторые догматы «непосредственным опытом», тогда как догмат исключает именно непосредственный опыт. Однако упомянутые мною христианские догматы характерны не только для христианства. Они столь же часто встречаются в языческих религиях и, кроме того, могут спонтанно появиться вновь и вновь в форме самых разнообразных психических явлений, подобно тому, как в отдаленном прошлом они имели своим истоком галлюцинации, сновидения, состояния транса. Они возникли, когда человечество еще не научилось целесообразно использовать умственную деятельность. Мысли пришли к людям до того, как они научились производить мысли: они не думали, а воспринимали свои умственные функции. Догмат подобен сновидению, он отражает спонтанную и автономную деятельность объективной психики, бессознательного. Такой опыт бессознательного представляет собой значительно более эффективное средство защиты от непосредственного опыта, нежели научная теория, которая не принимает во внимание эмоциональную значимость опыта. Напротив, догмат в этом отношении необычайно выразителен. На место одной научной теории скоро приходит другая, догмат же неизменен веками. «Возраст» страдающего богочеловека, по крайней мере, пять тысячелетий, а Троица,

наверное, еще старше.

Догмат представляет душу полнее теории, ибо последняя выражает и формулирует только содержание сознания. Более того, теория должна передавать живое существо абстрактными понятиями, догмат же способен выражать жизненный процесс бессознательного в форме драмы раскаяния, жертвоприношения и искупления. С этой точки зрения поразительна протестантская схизма. Поскольку протестантизм стал верованием предприимчивых германских племен с характерным для них любопытством, приобретательством, беспокойством, то вполне вероятно, что эти особенности характера не вполне согласовывались с церковным миром, по крайней мере, на долгое время. Видимо, в церкви слишком многое сохранялось от Imperium Romanum или Pax Romana, чрезмерно много для их еще недостаточно дисциплинированной энергии. Вполне возможно, что им нужен был не ослабленный, менее контролируемый опыт Бога, как это часто случается с предприимчивыми и беспокойными людьми, слишком юными для принятия любой формы консерватизма или самоотречения. Поэтому они отказались от посредничества церкви между Богом и человеком (одни в большей степени, другие — в меньшей). Убрав защитные стены, протестант утратил священные образы, выражающие важные факторы бессознательного. Тем самым высвободилось огромное количество энергии, которая устремилась по древним каналам любопытства и приобретательства, из-за чего Европа сделалась матерью драконов, пожравших большую часть земли.

С тех пор протестантизм становится рассадником расколов и в то же самое время источником быстрого роста науки и техники, настолько привлекших к себе человеческое сознание, что оно забыло о неисчислимых силах бессознательного. Потребовались катастрофа великой войны и последующие проявления чрезвычайного умственного расстройств, чтобы возникло сомнение в том, что с человеческим умом все в порядке. Когда разразилась война, мы были уверены, что мир можно восстановить рациональными средствами. Теперь же мы наблюдаем удивительное зрелище — государства, присвоившие себе древние теократические притязания на тотальность, которые неизбежно сопровождаются подавлением свободы мнений. Мы вновь видим людей, готовых перерезать друг другу глотку ради детски наивных теорий о возможности сотворения рая на земле. Не слишком трудно заметить, что силы подземного мира — если не сказать ада, — ранее скованные и служившие гигантской постройке ума, творят ныне или пытаются создать государственное рабство и государство-тюрьму, лишённое всякой интеллектуальной или духовной

привлекательности. Сегодня немало людей убеждены в том, что простого человеческого разума уже недостаточно для решения громадной задачи — заново усмирить вулкан.

Все это развитие подобно року. Я не стал бы возлагать вину за него на протестантизм или Возрождение. Несомненно одно — современный человек, будь он протестантом или нет, утратил защиту церковных стен, старательно возродившихся и укреплявшихся с римских времен. Эта утрата приблизила его к зоне мироразрушающего и мирозозидающего огня. Темпы жизни ускорились, она сделалась гораздо интенсивнее. Наш мир захлестывают волны беспокойства и страха. Протестантизм был и остается великим риском, и в то же самое время — великой возможностью. Если он будет и далее распадаться как церковь, это грозит человеку лишением всяких духовных предохранителей и средств защиты от непосредственного опыта сил бессознательного, ждущих высвобождения. Посмотрите на всю невероятную дикость, которая творится в нашем так называемом цивилизованном мире, — все это зависит от людей, от состояния их ума! Посмотрите на дьявольские орудия разрушения! Они были изобретены совершенно безобидными джентльменами, разумными и уважаемыми гражданами, которыми нам так хочется стать. А потом весь мир взрывается, и наступает неопиcуемый ад опустошения, и никто за это, кажется, не несет ответственности. Это происходит словно само собой, но ведь это творение человека. Пока каждый из нас уверен, что он представляет собой лишь собственное сознание, превосходно исполняющее свои обязанности и служащее добыче скромного достатка, никто не замечает того, что вся эта рационально организованная толпа, именуемая государством или нацией, влекома какой-то безличной, неосязаемой, но ужасной силой, никем и ничем неостановимой. Эту страшную силу объясняют по большей части страхом соседней нации, в которую словно вселился злобный дьявол. Так как никому не ведомо, насколько сам он одержим и бессознателен, то собственное состояние просто проецируется на соседа, а потому священным долгом объявляется приобретение самых мощных пушек и самых ядовитых газов. Хуже всего то, что это верно: ведь соседи находятся во власти того же неконтролируемого страха. В сумасшедших домах хорошо известно, что самыми опасными являются пациенты, движимые не гневом и не ненавистью, а страхом.

Протестант остался в одиночестве перед Богом. У него нет исповеди, отпущения грехов, нет никакой возможности искупления *opus divinum*. Он должен в одиночестве переваривать собственные грехи, не имея никакой уверенности относительно божественной благодати, сделавшейся

недостижимой по причине отсутствия пригодного ритуала. Протестантское сознание сделалось поэтому бдительным, подобно нечистой совести это сознание обрело неприятную склонность вмешиваться в жизнь и затруднять ее людям. Но тем самым протестант достиг уникальной способности осознавать свои грехи, каковая совершенно недостижима для католического сознания, ибо исповедь и отпущение грехов всегда готовы уменьшить чрезмерную напряженность. Протестант же предан этой напряженности, обостряющей его совесть. Последняя — в особенности нечистая совесть — может быть даром небесным, подлинной благодатью, если она выступает как высшая критичность по отношению к самому себе. Самокритичность, интроспективная пронизательность — это необходимое условие постижения собственной психологии. Если вы сделали что-нибудь вас смущающее и спрашиваете себя, что же вас толкнуло на подобное действие, то средством обнаружения подлинных мотивов вашего поведения будет нечистая совесть, наделенная соответствующей способностью к различению. Только тогда вы способны увидеть, какие мотивы направляют ваши поступки. Жало нечистой совести даже прищипывает вас, чтобы вы обнаруживали вещи, которые ранее не осознавались. Тем самым вы можете пересечь порог бессознательного и уловить те безличные силы, которые делают вас бессознательным инструментом того убийцы, который сокрыт в человеке. Если протестант сумел пережить полную утрату церкви и все же остается протестантом, т.е. беззащитным перед лицом Бога человеком, не защищенным более какими бы то ни было стенами или общинами, то у него имеется уникальная духовная возможность непосредственного религиозного опыта. Не знаю, удалось ли мне передать, что означал для моего пациента опыт бессознательного.

Объективной мерки для ценности такого опыта не существует. Мы должны принимать его в соответствии с той значимостью, какую этот опыт имеет для переживающей его личности. Вас может удивить тот факт, что при внешней бесполезности некоторые сновидения значат нечто для разумных личностей. Но если вы не принимаете того, что эта личность вам говорит, или не можете поставить себя на ее место, тогда и не судите. *Genius religiosus* (лат. «божественный дух») — это ветер, который дышит, где хочет. Нет такой архимедовой точки опоры, с позиций которой можно было бы судить, ибо психика неотличима от своих проявлений. Психика есть объект психологии и, роковым образом, является одновременно субъектом — от этого факта нам никуда не деться.

Некоторые сновидения, выбранные мною в качестве примера «непосредственного опыта», для неопытного глаза, безусловно, не

представляют собой ничего выдающегося. Они неброски, будучи скромными свидетельствами индивидуального опыта. Они выглядели бы поинтереснее, если бы я мог представить всю их последовательность во всем богатстве символического материала, вынесенного на поверхность всем ходом этого процесса. Но даже вся эта серия сновидений не сравнится по красоте и выразительности с любой составной частью традиционного вероучения. Последнее всегда является результатом, плодом работы множества умов на протяжении многих веков. Вероучение очищено от всех странностей, недостатков и пороков индивидуального опыта. Но при этом именно индивидуальный опыт, каким бы бедным он ни был, обладает одним важным преимуществом: он являет собой непосредственную жизнь, несет в себе живое биение пульса дня сегодняшнего. Для ищущего истину он убедительнее самой лучшей традиции. Непосредственная жизнь всегда индивидуальна, ибо бег жизни индивидуален; все, что связано с индивидом, уникально, преходяще, несовершенно — особенно, когда речь идет о сновидениях и им подобных продуктах умственной деятельности. Никому другому такие сны не приснятся, даже если у многих те же проблемы. Но как не может быть абсолютно уникального индивида, так невозможны и абсолютно уникальные по своему качеству продукты индивидуального развития.

Даже сновидения состоят из в высшей степени коллективного материала — точно так же как в мифологии и фольклоре различных народов некоторые мотивы повторяются чуть ли не в идентичной форме. Я назвал эти мотивы архетипами, под которыми я понимаю формы и образы, коллективные по своей природе, встречающиеся практически по всей земле как составные элементы мифов и являющиеся в то же самое время автохтонными индивидуальными продуктами бессознательного происхождения. Архетипические мотивы берут свое начало от архетипических образов в человеческом уме, которые передаются не только посредством традиции или миграции, но также с помощью наследственности. Эта гипотеза необходима, так как даже сложные архетипические образы могут спонтанно воспроизводиться без какой-либо традиции.

Теория предсознательных, изначальных идей никоим образом не является моим собственным изобретением, на что указывает уже термин «архетип», принадлежащий к первым векам нашей эры. В применении к психологии мы обнаруживаем эту теорию в работах Адольфа Бастиана, а затем вновь у Ницше. Во французской литературе Юбер, Мосс и Леви-Брюль высказывали сходные идеи. Я дал лишь эмпирическое обоснование

теории того, что ранее называлось изначальными, или простыми, идеями, «категориями» или «habitudes directrices de la conscience» (фр. «направляющими привычками сознания»), «representations collectives» (фр. «коллективными представлениями») и т.д.

Во втором из обсуждавшихся выше сновидений мы встречались с архетипом, которому я еще не уделял внимания. Это особое сочетание горящих свечей, образующих как бы четыре пирамиды. Тут подчеркивается символическая значимость числа четыре, поскольку пирамиды занимают место иконостаса, священного образа. Храм называется «домом самососредоточенности», поэтому мы можем предположить, что этот символ служит для обозначения алтаря. Tetractus, если воспользоваться пифагорейским термином, действительно относится к «самососредоточенности», как о том ясно свидетельствует сон пациента. Этот символ появляется и в других сновидениях, обычно в форме круга, разделенного на четыре части, в некоторых сновидениях пациента из той же серии он принимает также форму неразделенного круга, цветка, квадратной площади или комнаты, четырехугольника, глобуса, часов, симметричного сада с фонтаном посередине, четырех людей в лодке, в самолете или за столом, четырех стульев вокруг стола, четырех цветов, колеса с восемью спицами, звезды или солнца с восемью лучами, круглой шляпы, разделенной на восемь частей, медведя с четырьмя глазами, квадратной тюремной камеры, четырех времен года, корзинки с четырьмя орехами, мировых часов с диском, разделенным на $4 \times 8 = 32$ подразделения, и т.д. Эти символы четверичности встречаются 71 раз в серии из четырехсот сновидений. Данный случай не является чем-то исключительным.

Я наблюдал много случаев, где встречается число четыре — оно всегда имело бессознательные истоки. Иначе говоря, образ приходил в сновидении, а сновидец не имел представления о его смысле и никогда ранее не слышал о символическом значении четверицы. Иное дело — число три, поскольку Троица представляет собой общепризнанное и доступное каждому символическое число. Но четверка нам, в особенности современным ученым, говорит не больше, чем любое другое число. Числовой символизм со всей своей заслуживающей почтения историей представляет собой область знания, целиком и полностью лежащую за пределами сознания нашего сновидца. Если сновидения в этих условиях столь настойчиво говорят о важности четверки, то у нас есть полное право считать ее происхождение бессознательным. Нуминозный характер четверицы очевиден во втором сновидении. Из этого факта мы должны

сделать вывод, что сновидение указывает на значения, которые мы называем «священными». Так как сновидец не в силах проследить связь этого факта с каким-нибудь сознательным источником, я применяю сравнительный метод, чтобы выявить значение символики.

Конечно, в объеме данной книги дать полное представление об этой процедуре сравнения невозможно. Я вынужден ограничиться простыми наметками. Поскольку многие содержания бессознательного кажутся остатками прошлых ментальных состояний, нам нужно вернуться всего на несколько сот лет назад, чтобы достичь сознания того уровня, которое образует параллель этим содержаниям бессознательного. В нашем случае мы можем отойти назад менее чем на триста лет, чтобы обнаружить себя среди ученых и натурфилософов, которые самым серьезным образом обсуждали проблему *quaratura circuli*. Эта малопонятная проблема сама была психологической проекцией куда более древних и совершенно бессознательных предметов. Но в те дни они еще знали, что круг означает Божество. «*Deus est figura intellectualis, cuius centrum est ubique, circumferentia vero nusquam*» (лат. «Бог есть умопостигаемая фигура, чей центр повсюду, окружность же нигде»), как говорил один из этих философов, повторяя Св. Августина. Такой интroversивный и интроспективный человек как Эмерсон не мог не столкнуться с той же идеей, и он тоже цитирует Св. Августина. Образ круга — совершеннейшая форма со времен платоновского «Тимея», высшая власть в герметической философии — передавал также самую совершенную субстанцию — золото, применялся для обозначения *anima mundi* или *anima mediae naturae* (лат. «души мира, души сердцевины природы»), для обозначения света первотворения. А так как макрокосм, Великий мир, был создан творцом *in forma rotunda, quae in puncto requiescit* (лат. «в форме круга или шара»), то малейшая частица мира — точка также наделена этой совершенной природой. Как говорит философ: «*Omniū figurarum simplicissima et perfectissima primo est rotunda, quae in puncto requiescit*» (лат. «Из всех фигур простейших и совершеннейших первая есть круг, который покоится в точке»). Этот образ Божества, спящего и сокрытого в материи, именовался алхимиками изначальным хаосом, или райской землей, круглой рыбиной в море, либо же просто *rotundum*, или яйцом. Это круглое нечто обладало как бы ключом, с помощью которого можно было проникнуть внутрь материи. Как говорится в «Тимее», только демиург, совершенное существо, способен отворить тетрактис, заключающий в себе четыре элемента, т.е. четыре составные части круглого мира. В одном из авторитетнейших с XIII в. источников — *Turba Philosophorum* — говорится, что *rotundum* может

разложить медь на четыре составляющие.

Также желанное *aurum philosophicum* было круглым. Мнения разделились относительно процедуры, с помощью которой можно достичь спящего демиурга. Одни надеялись уловить его в форме первоматерии, содержащий в себе особую концентрацию субстанции или особый ее род. Другие пытались создать круглую субстанцию своеобразным синтезом. Аноним говорит: «Сделай из мужчины и женщины круглый круг, извлеки из него четырехугольник, а из него треугольник. Сделаешь круг круглым, и ты получишь философский камень» Этот чудесный камень символизировался совершенным живым существом — гермафродитом по своей природе, соответствующим «сфере» Эмпедокла [78], андрогину, круглому двуполому существу Платона. Еще в начале XIV в. ляпис сравнивался Петрусом с Христом, как *allegoria Christi*. Но в *Aurea Hora*, трактате псевдо—Фомы XIII в., таинство камня столь же первостепенно, как и таинства христианской религии. Я упоминаю эти факты лишь для того, чтобы показать, что круг или шар, содержащий четверку, обозначал божество для большого числа наших образованных предков.

Из латинских трактатов также видно, что таинственный демиург, спящий или сокрытый в материи, идентичен так называемому *homo philosophicus*, второму Адаму. Под последним подразумевается высший духовный человек, Адам Кадмон [79], часто отождествляемый с Христом. В то время как первый Адам был смертен, ибо был создан из четырех тленных элементов, второй состоит из единой чистой и нетленной сущности. Псевдо—Фома говорит так: «*Secundus Adam de puris elementis in aeternitatem transivit. Ideo quia ex simplici et pura essentia constat, in aeternum manet*» (лат. «Второй Адам переходит из чистейших элементов в вечность. Он пребывает в вечности, поскольку состоит из простых и чистых сущностей»). Можно сослаться также на слова раннего латинизированного арабского философа, называвшегося Сениор, — знаменитого и авторитетного на протяжении всех Средних веков: «Есть одна субстанция, которая никогда не умирает, ибо она упорствует в непрерывном возрастании». Этой субстанцией и является второй Адам.

Из этих цитат видно, что круглая субстанция, разыскиваемая философами, представляла собой проекцию чего-то сходного по своей природе с символикой наших сновидений. У нас имеются исторические документы, доказывающие, что сны, видения, даже галлюцинации часто примешивались в великие философские труды. Наши праотцы с их наивной умственной конституцией прямо проецировали содержания

бессознательного на материю. Такие проекции она могла легко принять, поскольку в то время материя была практически неведомым и непонятным сущим. А там, где человек встречается с чем-нибудь целиком таинственным, он без всякой критичности проецирует на это нечто свои догадки. Так как в наши дни химическая материя хорошо известна, мы уже не можем заниматься подобным проецированием с прежней легкостью, как это делали наши предки. Мы должны, наконец, признать, что тетрактис по своей природе представляет собой нечто психическое; и мы даже не знаем, не окажется ли это тоже проекцией в более или менее отдаленном будущем. Пока что удовлетворимся тем фактом, что идея Бога, полностью отсутствующая в сознании современного человека, возвращается в форме, которая сознательно была ему известна три или четыре столетия тому назад. Нет нужды доказывать, что эти исторические сведения были совсем не известны моему пациенту. Можно сказать вслед за поэтом-классиком: «Naturam exepellas furca tamen usque recurret» (лат. «Изгоняемая вилами природа, однако, все вновь возвращается»).

Идея тех древних философов заключалась в том, что Бог проявил себя, прежде всего, в творении четырех элементов. Они символизировались четырьмя частями круга. Так, мы читаем в коптском гностическом трактате «Codex Brucianus» о Единорожденном (Моногеносе или Антропосе): «Он тот же, кто пребывает в монаде, которая в Сете (творце) и которая пришла из места, о коем никто не скажет, где оно... Из него пришла монада, подобно кораблю, нагруженному добрыми товарами, и подобно полю, полному всякого рода деревьев, и подобно граду, заселенному всеми расами людскими... и его покрывалу, окружающему его подобно крепостной стене с двенадцатью воротами... это тот же Град Матери Единорожденного». В другом месте сам Антропос есть град, а членами его являются четверо ворот. Монада же — искра света, атом Божества. Моногенос мыслится стоящим на гетраласс — платформе, опирающейся на четыре колонны, соответствующей четверичности христианских Евангелий; или подобным Тетраморфу, скачущему символическому животному церкви, состоящему из символов четырех евангелистов: ангела, орла, быка или тельца, льва. Аналогия между этим текстом и Новым Иерусалимом очевидна.

Деление на четыре, синтез четырех, чудесное появление четырех цветов и четыре стадии работы: *nigredo*, *dealbatio*, *rufefactio*, *citritas* — таковы постоянные заботы древних философов. Четверица символизирует части, качества и стороны Единого. Но почему мой пациент повторяет эти древние спекуляции? Не знаю, почему именно он; знаю только, что это не

исключительный пример — та же символика спонтанно воспроизводилась во многих других случаях под моим (или моих коллег) наблюдением. В действительности я не считаю, что пациенты получили эту символику от времен трехсот—четырехсотлетней древности. Просто тот век был одним из периодов, когда эта архитипическая идея выходила на первый план. Идея эта намного старше средневековья, как это показывает уже «Тимей». Но это и не классическое или египетское наследие, ибо обнаруживается она практически повсюду и во все времена. Достаточно вспомнить, например, сколь большую значимость придают четверице американские индейцы.

Хотя четверица является древним, предположительно, доисторическим символом, всегда ассоциировавшимся с идеей мирозозидающего божества, она, тем не менее, редко осознается в этом качестве теми современными людьми, кому явлен ее образ. Меня всегда интересовало, как станут ее истолковывать люди, предоставленные собственным оценкам и слабо осведомленные в истории символа. Поэтому я старался не вмешиваться со своими мнениями и, как правило, обнаруживал, что люди видели в четверице символ самих себя или чего-то иного в них самих. Они чувствовали в ней нечто им принадлежащее, своего рода творческую почву, жизнестроительное солнце в глубинах бессознательного. Хотя легко заметить, что образы четверицы часто были чуть ли не репликой видения Иезекииля, они улавливали аналогию крайне редко, даже если были знакомы с этим видением, — впрочем, такое знакомство на сегодняшний день явление почти исключительное. То, что можно назвать чуть ли не систематической слепотой, есть лишь следствие предрассудка, согласно которому божество находится вонне человека. Хотя предрассудок этот отнюдь не только христианский, есть религии, которые совсем его не разделяют. Напротив, как некоторые христианские мистики они настаивают на сущностном тождестве Бога и человека — либо в форме априорного тождества, либо как цель, которую необходимо достичь путем определенного рода практики и инициации, известных нам, например, по метаморфозам Апулея, не говоря уж о методах йоги.

Применение сравнительного метода показывает, что четверица является более или менее непосредственным образом Бога, проявляющего себя в творениях. Мы можем, поэтому, сделать вывод, что спонтанно воспроизводимая в сновидениях людей четверица означает то же самое — Бога внутри. Несмотря на то, что в большинстве случаев люди не осознают этой аналогии, интерпретация может быть, тем не менее, истинной. Если принять во внимание тот факт, что идея Бога представляет собой «ненаучную» гипотезу, то нам понятно, почему люди запомнили о таком

мышлении. Даже если они лелеют некую веру в Бога, их отпугивает идея Бога внутри них самих — по причине религиозного воспитания, которое всегда умалало эту идею как «мистическую». Но именно эта «мистическая» идея усиливается естественными тенденциями бессознательного. И я сам, и мои коллеги знаем столько случаев, когда развивалась эта символика, что мы более не сомневаемся в ее существовании. Мои наблюдения, кстати, датированы 1914 г., но прошло еще 14 лет, прежде чем я решился опубликовать их.

Было бы ошибкой расценивать мои наблюдения как попытку доказательства бытия Бога. Эти наблюдения доказывают только существование архетипического образа Божества — с точки зрения психологии мы больше ничего не можем утверждать о Боге. Но, поскольку этот архетип принадлежит к очень важным и влиятельным, его сравнительно частое появление представляет собой немаловажный фактор для любой *theologia naturalis* (лат. «естественной теологии»). Так как нередко опыт этих явлений в высшей степени нуминозен, то он относится к религиозному опыту.

Я не могу не привлечь ваше внимание к любопытному обстоятельству: в то время как центральным христианским символом является Троица, бессознательное символизируется в четверице. Собственно говоря, даже ортодоксальная христианская формула не полна, так как догматический принцип существования зла не присутствует в Троице и связывается с довольно неудобным существованием дьявола. Поскольку тождество Бога и человека представляет собой еретическое допущение, то и тезис о «Боге внутри» можно расценивать как противоречащий догмату. Но четверица, в том виде как она понимается современным сознанием, прямо предполагает и «Бога внутри» и тождество Бога с человеком. Вопреки догмату здесь имеется не три, а четыре стороны. Отсюда легко сделать вывод, что четвертая сторона представляет дьявола. Хотя у нас есть логия: «Я и Отец мой едины. Кто видит меня, видит и Отца», — богохульством и безумием посчитали бы такое подчеркивание догматичной человечности Христа, что человек может отождествиться с Христом и его *homoousia*. Но подразумевается именно это, а потому с ортодоксальной точки зрения природная четверица может быть объявлена «*diabolica fraus*» (лат. «дьявольским обманом») — главным свидетельством чего является ассимиляция четвертой стороны, представляющей предосудительную часть христианского космоса. Церковь, как я полагаю, лишает законной силы всякую попытку принять всерьез эти результаты. Более того, она должна осуждать любую попытку приобщиться к этому опыту, поскольку она не

может признать, что природа соединяет то, что было ею разделено. Голос природы ясно слышим во всех связанных с четверицей явлениях, а это пробуждает старые подозрения по поводу всего, что связано с бессознательным. Вот почему научное исследование сновидений (а это та же древняя неоромантика) столь же достойно порицания, как и алхимия. Дело в том, что в латинских алхимических трактатах можно найти параллели психологии сновидений, а потому эти трактаты равно исполнены ереси. Для секретности и защитительных метафор имелись достаточные основания. Символические утверждения древней алхимии исходят из того же бессознательного ума, что и современные сновидения — они в равной степени являются гласом природы.

Если бы мы по-прежнему жили в средневековом мире, где не было серьезных сомнений по поводу последних оснований, где вся история мира начиналась с книги Бытия, мы могли бы с легкостью отмахнуться от сновидений и всего им подобного. К сожалению, мы живем в современном мире, где последние основания сомнительны, где надо принимать во внимание богатую предысторию, где люди убеждены в том, что если нуминозный опыт вообще имеет место, то это опыт психический. Нам уже не дано вообразить себе эмпирию, вращающегося вокруг трона Господня, и мы уже не мечтаем найти Его где-то за пределами галактических систем. Убежищем тайн становится человеческая душа, для эмпирика весь религиозный опыт сжимается до особого состояния ума. Чтобы узнать нечто о значении религиозного опыта для тех, кто его имеет, мы можем сегодня изучать любые его формы. Если он что-нибудь значит, то он значит все для тех, кто его имеет. К этому неизбежному выводу приходишь после тщательного изучения наличного материала. Религиозный опыт можно было бы даже определить как в высшей степени ценный для того, кто его испытывает — каким бы ни было его содержание. В духе старого вердикта «*extra ecclesiam nulla salus*», современность обращается к душе как к последней своей надежде. Где же еще можно найти такой опыт? Ответ сходен с ранее мною приведенным — им будет голос природы. Всем, кто занят проблемой духовности человека, придется столкнуться с новыми трудными вопросами. Психические осложнения у моих пациентов заставили меня попытаться всерьез рассмотреть, по крайней мере, некоторые необычайные значения производимой бессознательным символики. Подробное обсуждение интеллектуальных и этических следствий этой проблемы завело бы нас слишком далеко, поэтому я вынужден ограничиться иносказанием.

Главные символические фигуры любой религии всегда выражают

определенную моральную и интеллектуальную установку. В качестве примера я мог бы взять крест со всеми его многообразными религиозными значениями. Другим главным символом является Троица. Она имеет исключительно мужской характер. Бессознательное, однако, превращает ее в четверицу, которая одновременно есть единое, подобно тому, как три лица в Троице являются единым Богом. Древние натурфилософы представляли Троицу как «*imaginata in natura*» (лат. «представленную в природе»), как три «бестелесных», или «*Spiritus*», или «*volatilia*», а именно, как воду, воздух и огонь. Четвертая составная часть — это земля, или тело.

Символом последнего была для них Дева. Так они добавляли женский элемент к своей физической Троице, создавая тем самым четверицу или *circulus quadratus* (лат. «квадратный круг»), символом коего был гермафродитический *Rebis, filius sapientie* (лат. «Ребис, сын премудрости»). Средневековые натурфилософы, несомненно, полагали землю и женское начало четвертым элементом. Принцип зла прямо не упоминается, но он проступает в ядовитости *prima materia* и других иносказаниях. В современных сновидениях четверица есть продукт бессознательного. Как я отмечал в первой лекции, бессознательное часто олицетворяется как Анима, женская фигура. Символ четверицы очевидным образом исходит от нее. Она выступает как матрица четверицы, как *Mater Dei*, подобно земле, понимавшейся как Богоматерь. Но так как женщина, как и зло, исключены из Божества в догмате о Троице, злое начало также образует часть религиозного символа, если последний выступает в форме четверицы. Не требуется особого воображения, чтобы догадаться о далеко идущих духовных последствиях такого развития.

III. История и психология естественного символа

Хотя я не против философского любопытства, но все же предпочитаю не погружаться в обсуждение этических и интеллектуальных аспектов проблемы, поднятых символом четверицы. Достаточно осмысленными и далеко идущими являются его психологические следствия, играющие значительную роль в практике лечения. Так как нас здесь интересует не психотерапия, а религиозная сторона психических феноменов, я был вынужден, обратившись к психопатологии, извлечь эти исторические символы и фигуры из-под слоя могильной пыли. Будучи молодым психиатром, я ни за что не мог бы себе представить, что придется заниматься чем-то подобным. Поэтому я не удивляюсь, если затянувшееся обсуждение символа четверицы, квадратуры круга и еретических попыток подправить догмат о Троице покажется несколько искусственным и натянутым. Однако в том-то и дело, что все мои рассуждения о четверице, по сути, есть лишь прискорбно краткое и неадекватное введение к обсуждению следующей, заключительной части рассматриваемого нами парадигматического случая.

Уже в самом начале анализируемой серии сновидений появляется круг. Он принимает, например, форму змеи, описывающей кольцо вокруг сновидца. В последующих снах он возникает вновь в виде часов, круга с точкой посередине, круглой цели для стрельбы; иногда он принимает образ вечного двигателя, меча, глобуса, круглого стола, бассейна и т.п. Квадрат появляется в форме городского сквера или сада с фонтаном посередине. Несколько позже квадрат связывается с круговым движением: люди, которые ходят кругами по скверу, магическая церемония (преображение животных в людей), происходящая в квадратной комнате, где по углам лежат четыре змеи, а люди ходят от одного угла к другому; сновидец, объезжающий сквер в такси; квадратная тюремная, вращающаяся пустая клетка и т.д. В других сновидениях круг представлен вращением, четырьмя детьми, несущими, например, «темное кольцо» и идущих кругами. Круг появляется в комбинации с четверицей, как серебряная чаша с четырьмя стульями. Особое внимание уделяется центру. Он символизируется яйцом посреди круга, звездой, составленной из отряда солдат, звездой, вращающейся в середине круга, кардиальные точки которого обозначают четыре времени года, полюсом, драгоценным камнем и т.д.

Все эти сновидения неизменно приводили к одной и той же картине,

которая являлась пациенту в форме неожиданного визуального впечатления. Ему уже случалось наблюдать такие видения, но на этот раз опыт был особенно сильным. Как он говорит об этом сам: «Это было впечатление самой совершенной гармонии». В таком случае не важно, каковы наши впечатления или что мы об этом думаем. Главное, каковы чувства самого пациента: это его опыт, и если он имел на него глубокое преобразующее воздействие, то нет нужды возражать против него. Психолог может лишь отметить этот факт, и, если он считает эту задачу себе по силам, он может попытаться понять, почему это видение оказало такое воздействие на данную личность. Видение было поворотным пунктом в психологическом развитии пациента. Его можно было бы назвать — на языке религии — обращением. Вот буквальная запись видения:

Вертикально и горизонтально расположены два круга с общим центром. Это мировые часы. Их несет черная птица (пациент обращается здесь к предшествующему сновидению, где черный орел нес золотое кольцо). Вертикальный круг представляет собой голубой диск с белым ободом, разделенный на $4 \times 8 = 32$ части. По диску вращается рука. Горизонтальный круг — четырехцветный; четыре маленьких человечка стоят на нем и переносят стрелку, а по кругу лежит золотое кольцо (из прежнего видения). У мировых часов три ритма, или биения:

Малое биение: рука на голубом вертикальном диске перемещается на одно полуминутное деление ($1 / 32$).

Среднее биение представлено полным обращением руки. Одновременно горизонтальный круг перемещается на полуминутное деление.

Большое биение: 32 средних биения равны одному обращению золотого кольца.

Видение подводит итог всем иносказаниям и в предшествующих снах. Оно кажется попыткой создания осмысленного целого из ранее фрагментарных символов — круга, шара, квадрата, вращения, часов, звезды, креста, четверицы, времени и т.д. Конечно, нелегко понять, почему такая абстрактная структура вызывает чувство «самой совершенной

гармонии». Но если вспомнить о двух кругах в платоновском «Тимее», о гармоничной закругленности *anima mundi*, мы можем найти путь к пониманию. Термин «мировые часы» вновь возвращает нас к античной концепции музыкальной гармонии сфер. Речь идет о своего рода космологической системе. Если в данном случае мы имеем дело с видением твердыни небесной в ее медленном вращении, либо в таком виде предстает постепенное движение солнечной системы, тогда мы можем понять и оценить совершенную гармонию возникшей картины. Мы имеем основания также предположить, что платоновское видение космоса легким проблеском пробивается здесь сквозь туман полусознательного состояния. И все же есть в этом видении пациента нечто такое, что не согласуется с гармоничным совершенством платоновских представлений. Два круга различны по своей природе. Различны не только их движения, но и цвета. Вертикальный круг голубой, горизонтальный содержит четыре цвета, он с золотым ободом. Голубой круг вполне может символизировать голубую полусферу неба, тогда как горизонтальный «представляет» горизонт и четыре стороны света, персонифицированные в четырех цветах (в более раннем сновидении кардинальные точки представляли то в виде четверых детей, то четырех времен года). Эта картина сразу напоминает о средневековых образах мира в форме круга, или *rex elonae* с четырьмя евангелистами ^[80], или же *melothesia*, где горизонтом служил Зодиак. Образ торжествующего Христа, кажется, выводим из сходных изображений Тора и четырех его сыновей. Можно сослаться также и на восточные аналогии: буддистские мандалы, или круги, обычно тибетские по своему происхождению. Они представляют собой, как правило, круглую падму или лотос, в который вписано квадратное священное здание с четырьмя воротами, указывающими на четыре стороны света и четыре времени года. В центре находится Будда, чаще всего в соединении с Шивой и его Шакти или равнозначным символом *dogje* (молнии). Эти круги являются янтрами, или ритуальными орудиями, служащими созерцанию, концентрации и окончательной трансформации сознания йога в божественное всесознание.

Сколь бы поразительными ни казались эти аналогии, они не вполне нас удовлетворяют, ибо все они до такой степени подчеркивают значение центра, что кажутся созданными лишь для того, чтобы выразить важность центральной фигуры. В нашем же случае центр пуст. Это просто математическая точка. Что же касается аналогичных кругов, то они символизируют мирозозидающее и правящее миром Божество, либо человека в его зависимости от небесных созвездий. В нашем случае в качестве символа предстают часы, обозначающие время. Единственным

известным мне аналогом такого символа является изображение гороскопа: у него также есть четыре кардинальные точки и пустой центр. Отмечу и еще одно любопытное совпадение: в предшествующих сновидениях неоднократно замечалось, что вращение происходит обычно справа налево. У гороскопа имеется двенадцать домов, и движение от одного к другому идет налево, т.е. против часовой стрелки. Но гороскоп состоит только из одного круга, и, кроме того, в нем нет сочетания двух явно различных систем. Так что гороскоп не является удовлетворительным аналогом, хотя он и может пролить некоторый свет на временной аспект нашего символа. Мы были бы вынуждены оставить наши попытки найти психологические параллели, если бы не существовала настоящая сокровищница средневековой символики. По счастливой случайности, я познакомился с малоизвестным средневековым автором, Гийомом де Дигюйвилем, приором Шалисского монастыря, нормандским поэтом, написавшим три «пелеринажа» между 1330 и 1355 гг. Они называются *Le Pelerinage de la Vie Humaine, de l'Ame et de Jesus Christ*. В последнем из странствий — *Chant du Pelerinage de l'Ame* — мы находим видение рая.

Рай состоит из сорока девяти вращающихся сфер. Они называются «*siecles*», столетиями, будучи прототипами или архетипами земных столетий. Но как объясняет Гийому ангел, который служит ему вожатым, церковное выражение *in saecula saeculorum* означает вечность, а не обычное время. Золотые небеса окружают все сферы. Когда Гийом смотрит вверх на золотое небо, он неожиданно замечает малый круг, размером всего около трех футов шириной и цвета сапфира. Он говорит об этом круге: «*Il sortait du ciel d'or en un point et y rentrait d'autre part et il en faisait le tour*» (фр. «Он сошел с золотого неба в одной точке и вернулся к ней с другой стороны, сделав, таким образом, целый круг»). Очевидно, что голубой круг вращался, подобно диску, по большому кругу, который рассекал золотую небесную сферу. Здесь две различные системы, золотая и голубая — одна проходит сквозь другую. Что представляет собой голубой круг? Ангел вновь поясняет изумленному Гийому:

Ce cercle que tu vois est le calendrier,
Qui en faisant son tour entier,
Montre les Saints les journees,
Quand elles doivent etre fetees.
Chacun en fait le cercle en tour
Chacune etoile y est pour joir,
Chacun soleil pour l'espace

De jours trente ou Zodiaque

Сей календарный круг за годом год
Свершает неизменный оборот,
Указывая имена святых
И дни, когда нам чтить пристало их.
Они спешат по кругу чередой,
И каждый день — под собственной звездой.
А тридцать дней на каждый звездный знак
Все вместе нам составят Зодиак.

(Перевод с фр. Ю. Стефанова)

Голубой круг — это церковный календарь. Таким образом, мы имеем еще одну параллель — временное начало. Напомним, что в видении нашего пациента время измеряется тремя биениями. Календарный круг Гийома примерно трех футов в диаметре. Более того, когда Гийом смотрит на голубой круг, неожиданно появляются три духа, облаченные в пурпур. Ангел объясняет, что пришло время праздника в честь этих трех святых, и продолжает речь о Зодиаке в целом. Когда он подходит к Рыбам, то упоминает о празднике двенадцати рыбаков, который предшествует Св. Троице. Здесь Гийом вмешивается и говорит ангелу, что никогда не понимал вполне символа Троицы. Он просит ангела смилостивиться и объяснить таинство. На что тот отвечает: «Итак, есть три главных цвета: зеленый, красный и золотой. Их можно увидеть вместе в хвосте павлина». И добавляет: «Всемогущий царь, соединяющий воедино три цвета, разве он не может сделать так, чтобы одна субстанция была тремя? Золотой цвет, говорит он, принадлежит Отцу, красный — Сыну, а зеленый — Духу Святому». Затем ангел предупреждает поэта, чтобы тот не задавал более вопросов, и исчезает.

К счастью, мы успели узнать от ангела, что тройка относится к Троице. Теперь нам становится понятным, что прежде наше обращение к области мистической спекуляции не было неуместным. Одновременно мы сталкиваемся и с мотивом цветов, но, к сожалению, у нашего пациента их четыре, тогда как у Гийома, вернее, у ангела, речь идет только о трех: золотом, красном и зеленом. Мы можем здесь сослаться на первые слова из «Тимея»: «Один, два, три — а где же четвертый?» Или процитировать те же слова из «Фауста» Гёте — из знаменитой сцены с кабирами во второй

части, где они приносят из-за моря таинственный «суровый образ». Четыре человечка из нашего видения — это гномы, или кабиры. Они представляют четыре стороны света и четыре времени года, а также четыре цвета. В «Тимее», в «Фаусте» и в «Странствии» число четыре отсутствует. Этим отсутствующим цветом, очевидно, является синий. Это он принадлежит к серии из желтого, красного и зеленого. Почему синий отсутствует? Что-то здесь не в порядке, но с чем: с календарем, временем — или с синим цветом? Старый бедняга Гийом наверняка споткнулся о ту же проблему: трое здесь, а где же четвертый? Он был, конечно, готов услышать о Троице, которую, по его словам, он никогда вполне не понимал. Подозрительно и то, что ангел поспешил улететь перед тем, как Гийом задаст еще несколько неудобных вопросов.

Я предполагаю, что Гийом был в бессознательном состоянии, когда отправился на небеса, иначе он наверняка сделал бы некоторые выводы из увиденного. Что же он видел? Прежде всего сферы, населенные теми, кто достиг вечного блаженства. Затем он заметил золотое небо, где пребывает на золотом троне Царь Небесный, а рядом с ним Царица Небесная, сидящая рядом на круглом троне из коричневого кристалла. Последняя деталь относится к тому предполагаемому факту, что Мария перенеслась на небо телесно, как единственное смертное существо, коему было позволено соединиться с телом до воскресения из мертвых. В подобных образах царем обычно выступает Христос в соединении со своею невестой — Церковью. Но чрезвычайно важно то, что царь, будучи Христом, есть одновременно и Троица, а число четыре представлено царицей. Церковное одеяние Марии голубого цвета; она есть земля, покрытая голубым покрывалом небес. Но почему же тогда не упомянута Богоматерь? Согласно догмату, она не божественна, но лишь блаженна. Более того, она представляет землю, которая также есть тело — со всею его тьмой. По этой причине она, всемилостивая, служит ходатаем, просит за всех грешников.

Из этих драгоценных осколков средневековой психологии мы получаем некоторое представление о достоинствах мандалы нашего пациента. Она соединяет четыре стороны, которые гармонично работают вместе. Мой пациент был воспитан как католик, а потому непроизвольно столкнулся с той же проблемой, которая доставляла немалое беспокойство старому Гийому. Это была поистине великая проблема Средних веков, проблема Троицы и исключенного из нее элемента. То есть это — весьма условное признание женского начала, земли и тела, которые уже были, в виде лона Марии, священным местом пребывания Божества и необходимым связующим звеном в божественной цепи искупления.

Видение моего пациента — это символический ответ на вековечный вопрос. Наверное, в этом заключается глубинная причина того, что образ мировых часов произвел на него впечатление «самой совершенной гармонии». Оно было первым намеком на возможное разрешение опустошительного конфликта между материей и духом, между желаниями плоти и любовью к Богу. Жалкий и бездейственный компромисс в том сне, где привиделась церковь, был полностью превзойден этим видением мандалы, в котором примирены все противоположности. Если нам будет позволено привести здесь пифагорейскую идею, согласно которой душа есть квадрат, то мандала выражала бы Божество посредством троичного ритма, а душу — через статичную четверицу, т.е. через круг, разделенный на четыре цвета. Сокровенным смыслом ее было бы тогда единение души с Богом.

Поскольку мировые часы также представляют *quadratura circuli* и *perpetuum mobile*, эти два предмета, занимавшие средневековый ум, находят адекватное выражение в нашей мандале. Золотое кольцо (и все в нем содержащееся) представляет четверицу в форме четырех кабиров и четырех цветов; голубой круг — Троицу и движение времени — в согласии с Гийомом. В нашем случае голубой круг движется быстрее, золотой медленнее. В то время как голубой круг кажется несколько неуместным на золотом небе Гийома, в нашем случае круги гармонично сочетаются. Троица тут — жизнь, «биение» всей системы с троичным ритмом, основанном, однако, на ритме с 32 делениями, где множитель — четверка. Таким образом, круг и четверица, с одной стороны, и троичный ритм — с другой, настолько проникают друг в друга, что одно содержится в другом. В версии Гийома Троица дана очевидно, тогда как четверица сокрыта в дуальности Царя и Царицы Небесной. Кроме того, голубой цвет принадлежит здесь не царице, а календарю, представляющему время с характерными тринитарными атрибутами.

Взаимопроникновение здесь близко нашему случаю. Взаимные проникновения качеств и содержаний типичны для символов. Мы обнаруживаем это также в христианской Троице, где Отец содержится в Сыне, Сын — в Отце, а Дух Святой содержится в Отце и Сыне или проникает в них обоих. Движение от Отца к Сыну представляет временное начало, тогда как пространственное начало олицетворяется *Mater Dei* (материнское качество первоначально принадлежало Духу Святому, именуемому *Sophia-Sapientia* некоторыми ранними христианами). Это женское качество было невозможно полностью искоренить, оно донныне присутствует по крайней мере в символе Духа Святого — в «Голубе Духа

Святого». Но четверица полностью отсутствует в догмате, хотя она рано возникла в церковной символике. Я имею в виду равносторонний крест, заключенный в круг, торжествующего Христа с четырьмя евангелистами, Тетраморфа и т.д. В позднейшей церковной символике «Мистической розы, жертвенного сосуда, источника знамений, огражденного сада», выступают атрибутами Mater Dei и одухотворенной земли.

Наша мандала есть абстрактный, чуть ли не математический образ некоторых главных проблем, многократно обсуждавшихся в средневековой христианской философии. Абстрактность ее столь велика, что не приди к нам на помощь видение Гийома, мы могли бы проглядеть широкую историческую систему ее корней. Пациент не обладал каким-либо знанием такого исторического материала. Он знал лишь то, что известно каждому получившему в детстве поверхностное религиозное воспитание. Он сам не видел никакой связи между мировыми часами и любой религиозной символикой. И это вполне понятно, поскольку видение на первый взгляд ничем не напоминает о религии. И все же оно пришло вскоре после сновидения с «домом самососредоточения». К тому же оно было ответом на проблему трех и четырех, поставленную более ранним сном, где привиделось четырехугольное пространство, на четырех сторонах которого стояли четыре кубка, которые были наполнены окрашенной в разные цвета водой. Один кубок был желтым, другой — красным, третий зеленым, а четвертый был бесцветным. Синий цвет отсутствует, хотя он был связан с тремя другими цветами в предшествующем видении, где медведь появился в глубине пещеры. У него было четыре глаза, испускавшие красный, желтый, зеленый и синий лучи. А в последнем сновидении синий цвет вдруг исчезает. В то же время обычный квадрат сменился прямоугольником, какого раньше не было. Причиной явного нарушения порядка было сопротивление женскому началу, представленному Анимой. Во сне с «домом самососредоточения» голос подтверждает этот факт. Он говорит: «То, что ты делаешь, — опасно. Религия — это не налог, который ты платишь, чтобы избавиться от женского образа, ибо этот образ необходим». «Женский образ» — и есть «Анима».

Сопротивление Аниме нормально для мужчины, поскольку, как было сказано выше, она представляет бессознательное со всеми присущими ему тенденциями и содержаниями, которые в силу различных действительных причин исключались ранее из сознательной жизни. Одни из этих тенденций подавляются, другие — вытесняются. Как правило, подавляются те тенденции, которые представляют антисоциальные элементы в психической структуре человека, — то, что я называю «статистическим

преступником» в каждом из нас. Иначе говоря, эти элементы подавляются сознательно, мы ими распоряжаемся по своей воле. Что же касается тех тенденций, которые просто вытесняются, то они, как правило, просто сомнительны по своему характеру. Они не являются заведомо антисоциальными, скорее, они неудобны, нарушают социальные условности. В равной степени сомнительны и мотивы их вытеснения. Одни люди поступают так просто из трусости, другие из-за приверженности чисто конвенциональной морали, третьи — чтобы выглядеть респектабельно. Вытеснение — это некий полусознательный и нерешительный отход от вещей, выскользающих из рук словно чересчур горячие пирожки, — либо очеренение слишком высоко висящих гроздей винограда, либо отыскивание обходных путей — лишь бы не осознавать собственные желания.

Фрейд открыл вытеснение в качестве одного из главных механизмов возникновения невроза. Подавление ставит перед сознанием проблему морального выбора, тогда как вытеснение есть довольно-таки имморальная «склонность» для избавления от неприятных решений. Подавление может вызвать беспокойство, конфликт, страдание, но обычно почти никогда не вызывает невроза. Невроз — это замещение оправданного страдания. Если исключить «статистического преступника», остается обширная область низких качеств и примитивных склонностей, принадлежащих психической структуре человека, который куда менее идеален и более примитивен, чем нам хотелось бы. У нас есть некие идеи о том, как должно жить цивилизованное, воспитанное, или моральное существо. Иногда нам удается соответствовать этим амбициозным ожиданиям. Но природа неравномерно наделяла своих детей дарами. Есть люди, которые могут себе позволить жить пристойно и респектабельно, т.е. у них не видно никаких явных прегрешений. Либо грехи у них малые, если они вообще грешат, либо грехи скрыты даже от собственного сознания. Мы снисходительны к грешникам, не осознающим собственных грехов. Хотя закон иногда наказывает бессознательность, практика церковной исповеди относится только к деяниям, которые вы сами соединяете с чувством греховности. Но природа не столь снисходительна к бессознательным грешникам. Она наказывает столь же сурово, как если бы они совершали сознательный поступок. Как заметил однажды старый благочестивый Драммонд, мы видим, что у высокоморальных людей, не сознающих, что у них есть другая сторона, развиваются особая раздражительность, адски злобные настроения, которые делают их невыносимыми для родственников. Слава об их святости может расходиться далеко, но жизнь со святыми может

вызвать у менее одаренных морально индивидов комплекс неполноценности или даже дикий взрыв аморальности. Подобно интеллекту, мораль является даром. Вам не вогнать ее в систему, где она не произрастает естественным образом — так вы можете только отравить ею все остальное.

К несчастью, человек в целом, без сомнения, хорош куда менее, чем он о себе думает или чем ему хотелось бы быть. Каждому из нас сопутствует в жизни Тень, и чем меньше она присутствует в сознательной жизни индивида, тем чернее и больше эта Тень. Если нечто низкое осознается, у нас всегда есть шанс исправиться. Более того, тогда оно находится в постоянном контакте с другими интересами и может благодаря этому постепенно перемениться. Но если это низкое вытеснено и изолировано от сознания, то его уже никогда не исправить. Кроме того, в момент, когда мы не отдаем себе отчета, оно способно прорваться наружу. За этот бессознательный сучок цепляются все наши самые добрые намерения. Мы несем в себе наше прошлое, а именно, примитивного, низкого человека с его желаниями и эмоциями. Лишь приложив значительные усилия, мы можем освободиться от этой ноши. Если дело доходит до невроза, то мы неизменно сталкиваемся с сильно увеличившейся Тенью. И если мы хотим излечить невроз, нам нужно найти способ сосуществования сознательной личности человека и его Тени.

Это очень серьезная проблема для тех, кто либо сам относится к данной категории, либо обязан помогать другим. Простое подавление Тени столь же малоцелительно, как обезглавливание в качестве средства от головной боли. Разрушение морали тоже не поможет, ибо оно было бы убийством нашего лучшего «Я», без которого и Тень лишается смысла. Примирение этих противоположностей является важной проблемой, ею занимались даже в античности. Так, мы знаем о легендарной личности II в. н.э. Карпократа—гностика [\[81\]](#), что слова «мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним» он толковал следующим образом: противник есть человек плотский. Так как живое тело является необходимой составной частью личности, текст следует читать так: «Мирись с собою скорее, пока ты на пути к себе» [\[82\]](#). Естественно, более здравый ум отцов церкви не позволял им оценить всю изощренность и тонкость этого аргумента, являющегося, с современной точки зрения, необычайно практичным. Он был также опасным и таковым по-прежнему является — самой жизненной и самой щекотливой проблемой цивилизации, забывшей, почему жизнь должна быть жертвенной, т.е.

приноситься в жертву идее более высокой, чем человек. Человек может претерпеть тяжелейшие испытания, если он видит в них смысл. Вся трудность заключается в создании этого смысла. Таковым должно быть естественным образом возникшее убеждение, а самые убедительные изобретения человека — дешевые подделки, которые неубедительны в сравнении с его желаниями и страхами.

Если бы вытесненные склонности, называемые мною Тенью, были только в том, то не возникало бы особых проблем. Но Тень — это не что-то целиком скверное, а просто низшее, примитивное, неприспособленное и неудобное. В нее входят и такие низшие качества, детские и примитивные, которые могли бы обновить и украсить человеческое существование, но «сего не дано». Образованная публика, цвет нашей нынешней цивилизации, оторвалась от своих корней и готова вообще утратить связь с землей. Сегодня нет цивилизованной страны, где низшие слои не находились бы в беспокойстве и недовольном состоянии. У иных европейских наций это захватывает и высшие слои. Такое положение дел есть демонстрация наших психологических проблем на огромной экране. Коллективы суть скопления индивидов, и их проблемы также являются скоплениями индивидуальных проблем. Одна группа людей идентифицирует себя с высшим человеком и не может опуститься вниз, другая группа отождествляет себя с низшим и желает оставаться на поверхности.

Такие проблемы никогда не разрешить законами или трюками. Они разрешаются только общей сменой установки, а это не совершается с помощью пропаганды, массовых митингов и насилия. Этот процесс начинается на уровне индивидов и продолжается как преобразование их личных предпочтений, взгляда на жизнь, ценностей. Только накопление таких индивидуальных изменений приводит к коллективному решению. Образованный человек стремится вытеснить в себе все низшее, не осознавая того, что он тем самым принуждает низшее сделаться революционным. Характерным сном у моего пациента был следующий: ему снился военный отряд, намеревавшийся «целиком задушить левое крыло». Сон показывает способ обращения моего пациента с собственным низшим человеком. Это очевидно неправильный метод. Сновидение о «доме самососредоточения», напротив, показывает религиозную установку как верный ответ на этот вопрос. Мандала предстает как амплификация именно этого момента. Как мы видели, мандала исторически служила символом философского выяснения природы Божества, демонстрацией его в видимой Форме с целью поклонения. Целостность Небесного круга и

земного квадрата, соединяющая четыре принципа или элемента психических качеств, выражает полноту и единство. Таким образом, мандала имеет достоинство «примиряющего символа». Так как примирение Бога и человека выражается символами Христа или креста, мы могли бы ожидать, что божество займет центр мандалы. Однако центр пуст. Трон Божества не занят, несмотря на то, что при анализе мандалы мы пришли, в согласии с историческими моделями, к тому, что круг есть символ Бога, а квадрат — Богини. Вместо «богини» мы могли бы сказать также «земли» или «души». Но, вопреки историческим предубеждениям, мы должны принять тот факт, что в мандале мы не находим и следа Божества (так же как в «доме самососредоточения» место божественных образов было занято четверицей). Мы находим механизм вместо Бога. Думаю, у нас нет права подменять столь важный факт предвзятой идеей. Сон или видение были такими, какими должны были быть. Это не что-то другое в переодетом виде. Они являются естественными продуктами, без какого бы то ни было скрытого мотива. Я видел сотни и сотни мандал у пациентов, которые не попадали под какое-нибудь внешнее влияние. В подавляющем большинстве случаев я сталкивался с тем же фактом: божество не занимает центрального места. Как правило, центру придавалось особое значение, но там находится совсем другой символ. Это звезда, солнце, цветок, равносторонний крест, драгоценный камень, наполненная водой или вином чаша, свивающаяся змея, человек, но никогда не Бог.

Когда мы видим торжествующего Христа в розе средневековой церкви, мы правильно полагаем, что это центральный символ христианского культа. Мы полагаем также, что всякая укорененная в истории народа религия является равным образом выражением его психологии, подобно формам правления, им выработанным. Если применить тот же метод рассуждения к современным мандалам, предстающим в снах и видениях, либо произведенным в состоянии «активного воображения», мы придем к выводу, что мандалы суть экспрессии определенной установки, которую нельзя не назвать «религиозной». Религия — это отношение к высшим и сильнейшим по воздействию ценностям, будь они позитивными или негативными. Отношение к ним может быть как произвольным, так и непроизвольным, т.е. вы можете сознательно принять ту ценность, которой вы уже одержимы бессознательно. Наделенный в вашей системе наибольшей силой фактор — это и есть Бог, поскольку Богом всегда называется превосходящий все остальные психологический фактор. Стоит ему перестать быть таковым, и он делается просто именем. Мертва его сущность, ушла его сила. Почему античные боги потеряли свой престиж и

воздействие на человеческие души? Потому что олимпийские боги отслужили свое, и началось время новой истории: Бог стал человеком.

Чтобы сделать выводы из современных мандал, нам нужно спросить у видевших их людей, поклоняются ли они звездам, солнцу, цветам и змеям? Они станут отрицать это и в то же самое время будут утверждать, что шары, звезды, кресты суть символы их собственного центра. Стоит спросить их о том, что они понимают под центром, как они начинают заикаться и отсылают к опыту — очень сходному с исповедью моего пациента, который нашел, что видение мировых часов произвело на него впечатление совершеннейшей гармонии. Другие признаются, что сходное видение посещало их в момент сильнейшей боли или расстройства. Для иных это воспоминание о прекрасном сновидении или моменте, когда пришли к концу долгие и бесплодные заботы и воцарился мир. Если суммировать все то, что люди говорят о своем опыте, его можно сформулировать примерно так: они возвращаются к самим себе, они могут принять самих себя, способны с собой примириться, а тем самым и с враждебными обстоятельствами и событиями. Это очень похоже на то, что ранее выражалось изречением: примирился с Господом, принес в жертву свою волю, подчинился воле Господней. Современная мандала есть произвольная исповедь об особом рода умственном состоянии. В мандале нет Божества, нет и подчинения или примирения с Божеством. Место Божества, похоже, занято целостностью человека. Когда говорят о человеке, каждый имеет в виду собственное Эго, т.е. свою личность, насколько она осознаваема; говоря о других, мы предполагаем, что и у них имеется очень похожая личность. Так как современные исследования познакомили нас с тем фактом, что индивидуальное сознание основывается на беспредельно протяженной психике и окружено ею, то нам нужно пересмотреть несколько старомодный предрассудок, будто человек — это его сознание. Наивное предположение такого рода вызывает вопрос: чье сознание? Ваше или окружающих вас людей? Всегда трудно примирить ту картину, которую я рисую по собственному поводу, с той, что нарисована другими людьми.

Кто из нас прав? И кто является настоящим? Человек не сводится к тому, что он знает о себе самом или к тому, что знают другие. Остается нечто неизвестное, существование коего еще нужно доказать, а потому проблема идентичности становится еще более затруднительной. Собственно говоря, невозможно определить протяженность и окончательный характер психического существования. Когда мы говорим о человеке, то имеем в виду неопределимое целое, невыразимую

тотальность, которую можно обозначить только символически. Я выбрал для этой целостности, общей суммы сознательного и бессознательного существования термин «Самость». Термин был выбран в согласии с восточной философией, которая веками занималась теми проблемами, которые поднимаются даже там, где боги исчезают, чтобы стать людьми. Философия Упанишад соответствует психологии, которая задолго до того признала релятивность богов. Не нужно путать это с такой глупостью, как атеизм. Мир остается тем же, что и прежде, но в нашем сознании происходят любопытные изменения. В отдаленные времена (впрочем, как и у ныне живущих дикарей) плотью психической жизни были и человеческие и нечеловеческие объекты. Психическая жизнь, как мы сказали бы сегодня, проецировалась вовне. Сознание едва существует в состоянии одной проекции; в лучшем случае оно представляет собой кучу эмоций. Вместе с отводом проекций медленно развивается знание. Наука началась практически с открытия астрономических законов, что было первой ступенью деспиритуализации мира. За первым шагом медленно последовал другой. Уже в античности боги покинули горы и реки, деревья и животных. Наша наука до невероятной степени проредила эти проекции. Вы найдете их в газетах, книгах, слухах и в обычных сплетнях.

Все промежутки между действительными познаниями заполнены проекциями. Мы по-прежнему почти всегда уверены, что знаем истинный характер других и то, что они думают. Мы убеждены, что некие люди являются носителями всех тех дурных качеств, каковых мы не замечаем у себя. Они погрязли в грехах, которые никоим образом не являются нашими собственными. Нам все еще требуется быть предельно осторожными, чтобы не проецировать без малейшего стыда свою собственную Тень; мы все еще переполнены проецируемыми иллюзиями. Вообразите себе человека, который настолько смел, что разом желает убрать все проекции, и вы увидите человека, сознающего, что за ним тянется густая Тень. Такой человек столкнется с новыми проблемами и конфликтами. Он станет серьезной проблемой для себя самого, поскольку теперь он не может сказать, что это они поступают так-то и так-то, они неправы, с ними нужно сражаться. Он живет в «доме самососредоточения». Такой человек знает, что все неправомерное, совершающееся в мире, происходит в нем самом, и если только ему удастся сосуществовать с собственной Тенью, то можно сказать, что он действительно сделал нечто для всего мира. Он сумел решить хотя бы бесконечно малую часть тех гигантских социальных проблем, которые характерны для нашего времени. Эти проблемы делаются неподъемными и отравленными из-за взаимных проекций. Кому дано

смотреть на них прямо, если он не видит даже себя самого, ту темноту, которую он бессознательно привносит во все свои дела? Развитие современной психологии ведет к значительно лучшему пониманию человека. Боги жили когда-то в своей сверхчеловеческой силе и красоте на вершинах гор, одетых в снега, в темноте пещер, лесов и морей. Позже они слились в одного Бога, а затем этот Бог стал человеком. Но в наше время боги собраны в лоне обычного индивида: они столь же могущественны и вызывают прежний трепет, несмотря на самое новое облачение — они сделались так называемыми психическими функциями. Люди думают, будто держат свою психику в собственных руках, они даже мечтают создать о ней науку. На самом же деле матерью является она — она создает психического субъекта и даже самую возможность сознания. Психика настолько выходит за пределы сознания, что его легко можно сравнить с островом в океане. Остров не велик, узок, океан безмерно широк и глубок. Поэтому не так уж важно, если речь идет о пространственном местоположении, где находятся боги — вовне или внутри. Но если исторический процесс деспиритуализации, исчезновения проекций будет продолжаться, то все божественное или демоническое должно вернуться в душу, внутрь человека, совсем об этом не ведающего. Материалистические заблуждения были поначалу неизбежными. Коли трон Господень не удастся найти среди галактик, то Бог никогда не существовал — таким был вывод. Второй неизбежной ошибкой был психологизм: если Бог и представляет собой нечто, то он должен быть иллюзией, возникающей из неких мотивов, например, из страха, из воли к власти, вытесненной сексуальности.

Эти аргументы не новы. Сходные вещи говорили христианские миссионеры, повергавшие языческих идолов. Но если в те времена миссионеры сознавали, что служат новому Богу поражая старых, то нынешние иконоборцы не сознают, во имя чего они разрушают старые ценности. Ницше со всею сознательностью и ответственностью сокрушал старые скрижали, но все же он чувствовал нужду в возрожденном Заратустре, как бы второй собственной личности, alter ego, с которым он часто отождествляет себя в великой трагедии «Так говорил Заратустра». Ницше не был атеистом, но его Бог умер. Результатом был внутренний раскол, и Ницше должен был назвать это другое «Я» «Заратустрой» или «Дионисом». В своей роковой болезни он подписывал свои письма «Загрей» — разорванный на части Дионис фракийцев. Трагедия «Заратустры» в том, что со смертью Бога Ницше сам сделался богом, а это произошло как раз потому, что он не был атеистом. Он был слишком положительной натурой, чтобы удовлетвориться вероучением,

сводившимся к отрицанию. Такому человеку опасно утверждать, что Бог умер. Он тут же делается жертвой «инфляции». Так как идея Бога обладает огромной психической интенсивностью, безопаснее верить, что его автономная интенсивность исходит не от Эго, что это иное, сверхчеловеческое существо. Верующему в это человеку необходимо чувствовать себя маленьким — примерно таким, каковы его реальные размеры. Но если он заявляет, что божество умерло, то он сразу обнаруживает исчезновение той значительной энергии, которой он наделял ранее божественное существование. Энергия может теперь выйти на поверхность под иным именем, например, может называться «Вотаном» или «Государством», либо каким-нибудь словом, заканчивающимся на «изм». Даже атеизмом, в который люди веруют, на который надеются так, как раньше верили в Бога. Так как энергия огромна, то результатом будут столь же значительные психологические нарушения в форме диссоциации личности. Раскол может произойти на две или множество личностей. Словно одно лицо не в силах нести всю эту энергию, так что части личности, ранее бывшие функциональными единицами, неожиданно откалываются и обретают значимость автономных личностей. К счастью для остального человечества, столь чувствительных и религиозных индивидов, как Ницше, сравнительно немного. Если посредственность теряет идею Бога, то ничего не происходит — по крайней мере, сразу и непосредственно с человеком. Но социальные массы начинают выкармливать психические эпидемии, каковых у нас сегодня предостаточно.

Опыт мандал типичен для людей, которые уже не могут проецировать божественный образ. Им грозит опасность инфляции и диссоциации. Круглые или квадратные ограждения имеют значение магических средств, с помощью которых создаются защитные стены, чтобы предотвратить прорыв и дезинтеграцию. Таким образом, мандала обозначает (и поддерживает) исключительную концентрацию на самом себе. Это состояние никоим образом не эгоцентрическое. Напротив, это необходимый самоконтроль, препятствующий инфляции и диссоциации. Ограждение, как мы видели, имеет также значение «огражденной территории, прилегающей к храму или любому другому изолированному священному месту». Круг в этом случае защищает или изолирует внутренний процесс, который не должен смешиваться с внешними вещами. Мандала символически повторяет архаические пути и средства, которые были ранее конкретными реальностями. Я уже отмечал, что обитателем теменоса был Бог. Но пленник или хорошо охраняемый обитатель мандалы

не похож на Бога, поскольку используемые символы, например звезды, кресты, шары и т.п., обозначают не Бога, но скорее наиболее важную часть человеческой личности. Можно даже сказать, что сам человек (или сокровенные глубины его души) представляет собой этого пленника или защищаемого обитателя мандалы. Так как современная мандала имеет удивительное сходство с другими магическими кругами, в центре которых мы обычно находили Божество, то очевидно, что человек в современной мандале — всесовершенный человек — заменил Божество. Примечательно, что такое замещение является естественным и спонтанным событием, происходящим всегда бессознательно. Если мы хотим знать, что произойдет в том случае, когда идея Бога уже не проецируется вовне как автономное существо, ответ бессознательного на то таков: бессознательное производит новую идею человека в идею человека обожествленного или божественного, заключенного, сокрытого, защищаемого, обычно идею дегуманизованную, выражаемую посредством абстрактной символики. Символы часто намекают на средневековую концепцию микрокосма и макрокосма, как это было с видением мировых часов моему пациенту.

Примечателен также тот факт, что многие процессы, ведущие к проявлению мандалы, и сама она кажутся прямыми подтверждениями средневековых спекуляций. Словно эти люди читали древние трактаты о философском камне, о «божественной воде», круглости и квадратности, четырех цветах и т.д., хотя они близко не подходили к алхимической философии и ее малопонятной символике. Нелегко соответствующим образом оценить эти факты. Их можно объяснить регрессией к архаическим способам мышления, если обращать внимание прежде всего на явные и впечатляющие параллели со средневековой символикой. Но будь это регрессией к архаике, результатом была бы адаптация на более низком уровне и соответствующая ей невысокая эффективность. Такой результат, однако, для этих случаев нетипичен. Напротив, невротическое и диссоциированное состояние существенно улучшается, к лучшему меняется весь характер пациентов. Адаптированность также возрастает, и ей ничто не мешает. Поэтому вышеозначенный процесс не стоит объяснять регрессией. Скорее это продолжение того психологического процесса, который начался в раннем средневековье, а может быть, и во времена раннего христианства. Есть документальные свидетельства о том, что важнейшие его символы существовали в 1 в. н.э. Я имею в виду греческий трактат «Комариос, архипастырь, обучающий Клеопатру божественному искусству». Текст, без сомнения, имеет языческие и египетские источники. Имеются также мистические тексты Зосимы, гностика III в. Здесь уже

заметны иудейские и христианские влияния, хотя символика остается в основном языческой и близкой к философии ???.

Тот факт, что близкая этим мандалам символика прослеживается в языческих источниках, заставляет иначе взглянуть на эти внешне современные психологические явления. Кажется, что они продолжают гностицизм, не будучи с ним связаны прямой традицией. Если я прав в том, что всякая религия есть спонтанное выражение определенных господствующих психологических состояний, то христианство сформулировало то состояние, которое господствовало в начале нашей эры и было значимым на протяжении многих последующих столетий. Однако христианство выразило одно доминировавшее тогда состояние, что не исключает существования других, столь же способных найти религиозное выражение. Христианство должно было какое-то время сражаться с гностицизмом, который, как всем известно, был другим состоянием, почти равносильным «христианскому». Гностицизм был полностью уничтожен, а его останки были настолько искромсаны, что требуется специальное исследование для того, чтобы получить хоть какое-то представление о его внутреннем смысле. Но если исторические корни наших символов уходят за пределы Средних веков, то они наверняка обнаруживаются в гностицизме.

Должен признать, в этом есть известная логика: психологическое состояние, ранее подавленное, должно вновь начать утверждать себя, когда начинают убывать главные идеи подавлявшего состояния. Несмотря на подавление гностической ереси, она продолжала существовать в Средние века в облики алхимии. Хорошо известно, что алхимия состояла из двух взаимосвязанных частей: с одной стороны, собственно химические исследования, с другой — “theoria” или “philosophia”. Как гласит титул псевдо—Демокрита (V в.), эти два аспекта шли рука об руку еще в начале нашей эры. То же самое верно относительно Лейденского папируса и произведений Зосимы III в. Религиозные и философские воззрения античной алхимии были гностическими. Они группируются вокруг не совсем ясной идеи. Ее можно бы, наверное, сформулировать следующим образом: демиург или божественный дух, взрастивший в себе хаос первоначальных вод, сохранился в материи в потенциальном состоянии, а вместе с ним осталось и первоначальное хаотическое состояние. Так что философы, или «сыновья мудрости», как они сами себя называли, считали свою знаменитую первоматерию частью изначального хаоса, беременного духом. Под «духом» они понимали полуматериальную пневму, своего рода «тонкое тело», которое они называли «летучим» и химически

отождествляли с оксидами и другими растворимыми компонентами. Они называли дух Меркурием, который химически был ртутью, а философски — Гермесом, богом откровения, который, под именем Гермеса Трисмегиста, был самым высоким авторитетом в алхимии. Их целью была экстракция изначального божественного духа из хаоса. Этот экстракт назывался «тинктура». Знаменитый алхимик Иоганн Руперцисский (1378) называл квинтэссенцию «человеческим небом» или «небесами». Для него это была голубая жидкость, подобно небу, не подверженная порче. Он говорит, что квинтэссенция наделена цветом неба: «И наше солнце украсило его, подобно тому, как солнце украшает небеса». Солнце — это аллегория золота. Он говорит: «Это солнце есть истинное золото...» и продолжает: «Две вещи совместно влияют на нас... условия Неба и небесного Солнца». Идея его состоит, очевидно, в том, что квинтэссенция — голубое небо с солнцем — производит образы небес и небесного солнца в нас самих. Эта картина голубого и золотого микрокосма, которую я считаю прямой параллелью небесному видению Гийома. Правда, поменялись местами цвета — у Руперциссы диск золотой, а небеса голубые. У моего пациента порядок тот же, он ближе стоит к алхимикам.

Чудесная жидкость, божественная вода, именуемая небом или небесами, возможно, соотносима с занебесными водами из книги Бытия (1,6). В функциональном аспекте она мыслилась как вода крещения, как церковная святая вода, содержащая в себе созидательные и преобразующие качества. Католическая церковь по-прежнему совершает ритуал *benedictio fontis* во время *sabbathum Sanctum* перед Пасхой. Ритуал состоит из повторения *descensus spiritus sancti*. Обычная вода приобретает тем самым божественные свойства — она преобразует человека и дает ему духовное возрождение. Это в точности алхимическая идея о божественной воде, и потому не трудно было бы вывести «божественную воду» алхимии из ритуала *benedictio fontis*, не будь первая языческой по своим истокам и безусловно старше второго. Мы находим чудесную воду в первых трактатах греческой алхимии, принадлежащих к I в. Более того, *descensus spiritus* в *physis* — это гностическая легенда, оказавшая величайшее влияние на Мани. Вероятно через манихейство она стала одной из главных идей латинской алхимии. Целью философов было преображение несовершенной химически материи в золото, но философски или мистически речь шла о преображении в божественного гермафродита, второго Адама — благословенное и нетленное тело воскресения, или просветление человеческого ума. Вместе с Рихардом Вильгельмом я показал, что китайская алхимия придерживалась той же идеи — целью там

является творение «алмазного тела».

Все эти детали служат тому, чтобы связать мои психологические наблюдения с историей. Без исторических связей они повисли бы в воздухе, были бы просто любопытной безделкой. Я уже указывал на то, что связь современной символики с древними теориями и верованиями не зависит прямо или косвенно от традиции, даже от тайной традиции, как это часто предполагалось. Самое тщательное исследование всегда исключало возможное знакомство моих пациентов с такого рода книгами или идеями. Кажется, их бессознательное работало в том же направлении, которое временами заявляло о себе на протяжении последних двух тысяч лет. Такая непрерывность может существовать лишь вместе с биологической передачей по наследству определенного бессознательного состояния. Под этим я подразумеваю, естественно, не наследование представлений, каковое было бы трудно, если не невозможно, доказать. Наследуемое свойство должно быть, скорее, чем-то вроде возможности регенерации тех же или сходных путей. Я назвал эту возможность «архетипом», что означает ментальную предпосылку и характеристику церебральной функции. В свете таких исторических параллелей мандала символизирует либо божественное существо, ранее сокрытое и спящее в теле, а теперь извлекаемое и оживающее; либо символизирует тот сосуд или пространство, в котором происходит преобразование человека в божественное существо.

Я понимаю, что такие формулировки напоминают дикие метафизические спекуляции. Мне очень жаль, но именно их производит и всегда производил человеческий ум. Психология, полагающая, что она может обойтись без таких фактов, должна их искусственным образом исключать. А я считаю это философским предрассудком, несовместимым с эмпирической точкой зрения. Я должен, видимо, подчеркнуть, что такими формулировками мы не устанавливаем метафизических истин. Это лишь утверждения о том, как функционирует человеческий ум.

Фактом является и то, что мой пациент почувствовал себя значительно лучше после видения мандалы. Если вам понятна та проблема, которую это видение решило для него, то вам будет понятно и то, почему он испытал такое чувство «совершенной гармонии». Без всяких сомнений я исключал бы всякие спекуляции о возможных последствиях столь малопонятного и далекого от нас опыта, как видение мандалы, будь это осуществимо. Для меня этот тип опыта не является ни малопонятным, ни далеким. Напротив, это мое повседневное профессиональное занятие. Я знаю немало людей, которые должны всерьез считаться со своим опытом, если они вообще

хотят жить. Им остается выбор между дьяволом и морской пучиной. Дьяволом является мандала или нечто ей подобное, а пучиной — невроз. В дьяволе есть хоть что-то героическое, тогда как пучина означает духовную смерть. Здравомыслящий рационалист заметит, что дьявола я изгоняю с помощью Вельзевула и подменяю честный невроз болтовней о религиозных верованиях. На первое замечание мне нечего возразить, так как я считаю себя экспертом по метафизике, но на второе я должен ответить так: ведь речь идет не о верованиях, а об опыте. Религиозный опыт абсолютен. Он несомненен. Вы можете сказать, что у вас его никогда не было, но ваш оппонент скажет: «Извините, но у меня он был». И вся ваша дискуссия тем и закончится. Неважно, что мир думает о религиозном опыте; для того, кто им владеет, — это великое сокровище, источник жизни, смысла и красоты, придающий новый блеск миру и человечеству. У него есть вера и мир. Где тот критерий, по которому вы можете решить, что эта жизнь вне закона, что этот опыт не значим, а вера — просто иллюзия? Есть ли, на самом деле, какая-нибудь лучшая истина о последних основаниях, чем та, что помогает вам жить? Вот почему я столь тщательно принимаю во внимание символы, порожденные бессознательным. Они нас попросту превосходят. То, что исцеляет от невроза, должно быть превосходяще убедительным, а так как невроз слишком реален, то исцеляющий опыт должен быть в равной степени реальным. Если оставаться пессимистом, то в данном случае речь идет о весьма реальной иллюзии. Но какая разница между реальной иллюзией и помогающим религиозным опытом? Разве что чисто словесная. Вы можете сказать, что жизнь — это болезнь с очень скверным прогнозом; болезнь длится годами и заканчивается смертью. Или сказать, что нормальность представляет собой превалирующий конститутивный дефект; или что человек есть животное с фатально разросшимся мозгом. Такого сорта мышление является прерогативой ворчунов с несварением желудка. Никто не знает, каковы последние основания.

Мы должны поэтому принимать их такими, какими мы их испытываем. И если этот опыт помогает, делает жизнь более здоровой, прекрасной, совершенной, удовлетворяющей и вас, и тех, кого вы любите, вы можете спокойно сказать: «Это была милость Господня».

Проблема души современного человека

Статья К.Г.Юнга «Проблема души современного человека» была впервые опубликована в 1928 г. (в 1931 г. вышла в переработанном и расширенном виде). Перевод выполнен А.М.Руткевичем.

Проблема души современного человека принадлежит к вопросам, которые сделались частью нашего века настолько, что мы не в состоянии разглядеть их в необходимой перспективе. Человек сегодняшнего дня представляет собой совершенно новый феномен; современная проблема — это только что возникшая проблема, и ответ на нее принадлежит будущему. Говоря о проблеме души современного человека, мы можем в лучшем случае лишь поставить вопрос, причем мы ставили бы его, наверное, совсем иначе, будь у нас хотя бы малейший намек на ответ, который даст на него будущее. Более того, вопрос не слишком ясен.

Дело в том, что он обращен к чему-то столь универсальному, что выходит за пределы индивидуального восприятия. Поэтому у нас есть все основания подходить к проблеме со всею скромностью и величайшей осторожностью. Открытое признание нашей ограниченности кажется мне существенным, поскольку именно проблемы такого рода чаще других искушают нас произносить громкие и пустые слова, а также потому, что и сам я буду вынужден сказать нечто кажущееся непомерным и неосторожным. Слишком многие из нас становились жертвами своего красноречия.

Чтобы сразу начать с примера подобного отсутствия осторожности, я должен сказать, что человек, именуемый нами современным, направляющий свое сознание на непосредственное настоящее, никоим образом не является обычным человеком. Скорее он представляет собой человека, стоящего на вершине или на самом краю мира — с пропастью будущего перед ним, одними небесами над ним и всем человечеством, с исчезающей в первобытном тумане историей — под ним. Современный человек — или, повторим это вновь, человек непосредственного настоящего — встречается достаточно редко, ибо он должен быть в высшей степени сознательным. Ведь существовать целиком в настоящем означает полностью осознавать свое существование, что требует максимальной интенсивности и экстенсивности сознания, минимума бессознательного.

Нужно ясно понять, что простой факт жизни в настоящем не делает человека современным, ибо тогда любого ныне живущего можно было бы считать таковым. Современен лишь тот, кто полностью осознаёт настоящее.

Достигший сознания настоящего человек одинок. «Современный» человек во все времена был таковым, ибо каждый шаг к более полной сознательности удалял его от изначального, чисто животного единения со стадом, от погруженности в общую бессознательность. Каждый шаг вперед означал освободительный отрыв от материнского лона бессознательного, в котором пребывает людская масса. Даже в цивилизованном обществе люди, образующие, с точки зрения психологии, низший слой, живут в состоянии бессознательности, мало отличающемся от первобытного состояния. Обитатели последующих страт живут на уровнях сознания, соответствующих начальным этапам человеческой культуры, тогда как принадлежащие к высшему слою наделены сознанием, которое отображает жизнь нескольких последних столетий. Только человек современный в этом смысле слова действительно живет настоящим: только он обладает сегодняшним сознанием, он один обнаружил, что пресытился жизнью на более ранних уровнях. Ценности и устремления этих миров прошлого если и интересуют его, то лишь с исторической точки зрения. Тем самым современный человек «неисторичен» в глубочайшем смысле слова и отчуждается от массы людей, живущих традицией. Конечно, современным во всей полноте он становится только подходя к самому краю мира, оставляя позади все ненужное, все, что перерос, признавая, что он стоит перед ничто, из которого может вырасти все.

Это звучит настолько величественно, что подозрительным образом граничит с банальностью — нет ничего легче, чем прикинуться воплощенным сознанием настоящего. Целая орда незначительных людишек придает себе обманчивый облик современных, перескакивая ряд стадий развития и представленных ими жизненных задач. Они неожиданно возникают рядом с подлинно современными людьми — лишенные корней призраки, приведения—кровососы. Их пустота принимается за незавидное одиночество современного человека и дискредитирует его. Численно немногие современные люди тем самым сокрываются от плохо различающих глаз массы этим облаком призраков — псевдосовременных, с которыми они смешиваются. Этому ничем не поможешь: современный человек всегда вызывает вопросы и подозрения — так было во все времена, начиная с Сократа и Иисуса.

Честное исповедание современности означает добровольное

признание самого себя банкротом, принятие обетов бедности и целомудрия в новом смысле и — что еще болезненнее — отказ от нимба святости, даруемого историей. Быть «неисторичным» — это Прометеев грех, и в этом смысле современный человек, переросший принадлежность прошлому стадии сознания, полностью исполняющий обязанности, накладываемые на него миром, способен достичь полного сознания настоящего. Для этого он должен быть здоровым и умелым в лучшем смысле этого слова — человеком, добившимся в жизни не меньше других, даже несколько больше. Эти качества необходимы для достижения дальнейшего роста сознательности.

Я знаю, что практическая умелость кажется особенно отвратительной псевдосовременным, поскольку она неприятно напоминает им об их надувательстве. Это не мешает нам принять умелость в качестве нашего критерия современного человека. Мы даже принуждены сделать это, поскольку тот, кто объявляет себя современным, не будучи умелым, является просто обманщиком. Современный человек обязан быть в высшей степени умелым, ибо до тех пор, пока он не искупил разрыв с традицией своими творческими способностями, он просто не верен прошлому. Было бы пустейшим делом отрицать прошлое лишь для того, чтобы осознать настоящее. «Сегодня» стоит между «вчера» и «завтра», оно связует прошлое и будущее — лишь в этом его значение. Настоящее представляет собой процесс перехода; только человек, осознающий подобным образом настоящее, может называться современным.

Многие называют себя современными — в особенности псевдосовременные. Поэтому действительно современных людей мы часто находим среди тех, что называют себя старомодными. Такую позицию они занимают не без оснований: во-первых, они подчеркивают таким образом значимость прошлого, чтобы возместить свой разрыв с традицией и возникшее чувство вины, о котором уже шла речь; во-вторых, чтобы не быть принятым за псевдосовременных. Любое хорошее качество имеет и свою дурную сторону, ничто хорошее не приходило в мир, не произведя при этом соответствующего ему зла. Этот болезненный факт делает иллюзорным чувство приподнятости, столь часто сопровождающее сознание современности, — чувство того, что мы являемся кульминацией всей истории человечества, исполнением и завершением бесчисленных поколений. В лучшем случае это будет и горделивым признанием собственной нищеты: мы представляем собой также крушение надежд и ожиданий прошедших веков. Достаточно подумать, что почти два тысячелетия господства христианских идеалов привели не к новому

пришествию мессии, не к Царству Небесному, а к мировой войне между христианскими нациями с ее колючей проволокой и отравляющими газами. Какая катастрофа и на небесах, и на земле! Перед лицом такой картины мы вновь обретаем скромность. Верно, современный человек является кульминацией, но уже завтра он будет превзойден. Он действительно представляет собой продукт многовекового развития, но является и самым тяжким крушением надежд человечества. Современный человек сознаёт это. Он видит всю благотворность науки, технологии и организации, но он видит также и всю их катастрофичность. Он видит равным образом, как все правительства, преисполнившись добрыми намерениями, пролагали путь к миру, действуя по принципу: «во время мира готовься к войне», — так, что Европа едва не пришла к полному разрушению. Что касается идеалов, то ни христианская церковь, ни солидарность экономических интересов не выдержали проверки реальностью — крещения в огне. Сегодня, спустя десять лет после войны, мы снова видим все тот же оптимизм, те же политические устремления, те же фразы и лозунги в действии.

Как нам не опасаться, что они с неизбежностью приведут к дальнейшим катастрофам? Соглашения о запрещении войн оставят нас скептическими при всех наших пожеланиях всяческих успехов таким соглашениям. В глубине, за всеми паллиативными мерами такого сорта сохраняется подтачивающее сомнение. Я полагаю, что не слишком преувеличу, если скажу, что психологически современный человек претерпел чуть ли не фатальный шок, результатом которого является глубочайшая неуверенность. Эти суждения достаточно ясно показывают, что мои взгляды несут на себе отражение моих профессиональных занятий. Врач занят поисками болезни, я не могу перестать быть врачом. Правда, важнейшей стороной врачебного искусства является отказ искать болезни там, где их нет. Поэтому я не стану утверждать, будто белая раса вообще и западное общество в частности больны, что Запад стоит на краю пропасти. Я никоим образом не компетентен, чтобы выносить такой приговор.

Кто бы ни говорил о проблемах культуры или даже о проблеме человека, никогда не помешает вопрос: кем на самом деле является говорящий? Чем более общей является проблема, тем больше в ее решение контрабандой протаскивается собственная психология. Отсюда нетерпимые искажения и ложные выводы, которые могут иметь самые серьезные последствия. С другой стороны, уже тот факт, что общая проблема вовлекла и поглотила всю личность, является гарантией того, что говорящий действительно испытал ее и приобрел в своих страданиях нечто важное. Проблема отразилась на его личной жизни, а это указывает нам на

истину. Но если собственная психология проецируется на проблему, то происходит и фальсификация ее личными особенностями: претендуя на объективность, личность так искажает ее, что вместо истины мы имеем дело с обманчивой видимостью.

Мое знание душевной проблемы современного человека, конечно, приобретено опытом наблюдений за другими людьми и из моего собственного опыта. Я знаю кое-что об интимных сторонах психической жизни многих сотен образованных личностей, здоровых и больных, выходцев из самых различных районов цивилизованного белого мира; мои суждения основываются на этом опыте. Без сомнения, я могу дать лишь одностороннюю картину, поскольку все мои наблюдения связаны с душой — все это лежит внутри. Я должен сразу же добавить, что уже это само по себе примечательно, поскольку душа не всегда и не везде обнаруживается внутри. Имеются народы и эпохи, когда она находилась вовне, ибо они целиком и полностью непсихологичны. В качестве примера можно взять любую из древних цивилизаций, но в первую очередь Египет с его монументальной объективностью и наивной исповедью в несовершенных грехах. За могильниками Аписа в Саккара [\[83\]](#) и пирамидами мы найдем не больше психологических проблем, чем за музыкой Баха.

Где бы мы ни обнаруживали существование каких-то внешних форм для адекватного выражения стремлений и надежд, будь они идеалами или ритуалами, мы можем сказать, что душа находится вовне, что нет психологической проблемы, как нет бессознательного в нашем смысле слова. В созвучии с этой истиной психология как наука была открыта лишь в последние десятилетия, хотя задолго до этого человек прибегал к интроспекции и был достаточно разумен, чтобы распознать факты, являющиеся предметом психологии. Римляне были знакомы со всеми принципами механики и фактами физики, достаточными для создания паровой машины, но все свелось к игрушке Герона Александрийского [\[84\]](#).

Причина в том, что у римлян не было принудительной необходимости двигаться дальше. Нужда появилась только с колоссальным разделением труда и ростом специализации в девятнадцатом веке. Точно так же духовная нужда привела в наше время к «открытию» психологии. Психические факты существовали, конечно, и раньше, но они не привлекали к себе внимания — никто их не замечал, люди вполне обходились без них. Но сегодня нам уже не обойтись без науки о душе. Медики были первыми, кто осознал эту истину. Для священника душа

представляет собой лишь нечто соответствующее или не соответствующее признанной форме или системе верований. Он должен обеспечить нормальное функционирование последней. Пока эта система истинно выражает жизнь, психология может быть только техническим помощником здоровой жизни, душа не рассматривается как фактор жизни. Пока человек живет как стадное животное, у него вообще нет собственной души — она ему и не нужна, исключая обычное верование в ее бессмертие. Но стоит человеку выйти за рамки любой локальной формы религии, в которой он был рожден, — как только религия перестает охватывать его жизнь во всей полноте, — душа становится фактором по своему собственному праву, с нею уже не обойтись привычными мерами. По этой причине мы имеем сегодня психологию, основанную на опыте, а не на догматах веры и не на постулатах какой-нибудь философской системы. Сам факт существования такой психологии является для меня симптомом глубинных конвульсий, происходящих в коллективной душе. Ибо изменения в коллективной душе происходят по тому же образцу, что и изменения в индивидуальной. Пока все идет хорошо, и наша психическая энергия находит адекватные и отрегулированные пути для выхода, нас ничто не тревожит изнутри. Нас не осаждают сомнения и неуверенность, мы не знаем внутренней раздвоенности. Но стоит заблокировать один—два канала психической активности, как появляются закупорки, поток энергии устремляется вспять, против течения, внутренний человек желает иного, чем внешний, мы в войне с самими собой. Только тогда, в этой нужде, мы обнаруживаем психику как нечто препятствующее нашей воле, нечто странное и даже враждебное нам, несовместимое с нашим сознательным видением.

На этот процесс самым ясным образом указывают разработки Фрейда. Первое, что он обнаружил, было существование сексуально извращенных и преступных фантазий, совершенно несовместимых с сознательным мирозерцанием цивилизованного человека. Того, кто действовал в согласии с этими фантазиями, считали бунтовщиком, преступником или сумасшедшим. Мы не можем считать, что эта сторона бессознательного или глубинных регионов человеческой психики появилась лишь в недавнее время. Вероятно, эти фантазии всегда присутствовали в любой культуре. Хотя у каждой культуры имелся свой разрушительный противник, Герострат, сжигавший ее храмы, ни одна культура до нашей не была столь неумолимо принуждена считаться с этими подводными течениями психики. Душа в них была лишь частью какой-нибудь метафизической системы. Но человек, осознавший свою современность, отныне не может удерживаться от признания могущества психики, с каким бы усердием и настойчивостью

он ни защищался от этого. Наше время тем самым отличается от всех остальных времен. Мы не в состоянии более отрицать, что темные движения бессознательного являются активными силами, что есть силы души, которые, по крайней мере, на данный момент, не соответствуют нашему рациональному миропорядку. Мы даже вознесли их до уровня науки — еще одно доказательство того, насколько серьезно мы их принимаем. Предшествовавшие века могли, не замечая, отбрасывать их в сторону; для нас они сделались плащом Несса, который мы не можем оторвать от кожи.

Революция, привнесенная в наше сознание катастрофическими результатами мировой войны, проявляется в нашей внутренней жизни как потрясение веры в себя и в нашу собственную значимость. Мы привыкли смотреть на иностранцев как на закосневших в политических и моральных грехах, но современный человек вынужден признать, что политически и морально он ничуть не лучше других. Если раньше я считал, что моим долгом было призывать других к порядку, то ныне я понимаю, что мне нужно призвать к порядку самого себя, что для начала мне необходимо привести в порядок свой собственный дом. Я уже давно готов признать это, так как слишком хорошо сознаю, насколько поблекла моя вера в рациональную организацию мира — древний сон о тысячелетнем царствии мира и гармонии. Скептицизм современного человека охладил энтузиазм к политике и мировым реформам; более того, скептицизм представляет собой наихудшее основание для беспрепятственного перетекания психической энергии во внешний мир — также как сомнение в моральности друга причиняет ущерб нашим взаимоотношениям и затрудняет их развитие.

Скептицизм отбрасывает современного человека к самому себе — энергия течет к своему истоку, столкновения и водовороты выносят к поверхности те психические содержания, которые имелись во все времена, но лежали, прикрытые илом, на дне, пока ничто не препятствовало течению. Насколько иным представлялся мир средневековому человеку! Земля была для него от века неподвижной, покоящейся в центре Вселенной; вокруг нее вращалось Солнце, заботливо наделяя ее теплом. Люди были детьми Божьими, на них распространялась любящая забота Всевышнего, приготовлявшего их к вечному блаженству; все точно знали, что они должны делать, как им вести себя, чтобы подняться из тленного мира к нетленному, полному радости бытию. Жизнь такого рода уже не кажется нам реальной, даже в наших сновидениях. Наука давно изодрала в клочья эту прекрасную завесу. Тот век еще более далек от нас, чем наше детство, когда наш собственный отец казался самым прекрасным и самым

сильным существом на земле.

Современный человек утратил метафизическую уверенность своего средневекового собрата, на ее место он поставил идеалы материального благоденствия, безопасности, гуманизма. Но любому желающему ныне сохранить в нетронутости эти идеалы необходима инъекция основательной дозы оптимизма. Даже безопасность осталась за бортом, ибо современный человек увидел, что каждый шаг в направлении материального «прогресса» постепенно увеличивает угрозу все более страшной катастрофы. Воображение в ужасе отшатывается от такой картины. Но что мы должны думать, глядя, как огромные города совершенствуют сегодня свою оборону от газовых атак и даже устраивают костюмированные репетиции? Это означает лишь, что такого рода атаки уже запланированы и предусмотрены, как всегда, по принципу: «во время мира готовься к войне». Стоит человеку накопить достаточное число разрушительных машин, и дьявол, что сидит внутри него, скоро начнет искушать его пустить их в ход. Хорошо известно, что ружья начинают сами стрелять — стоит лишь накопить достаточное их число.

Свидетельства действия ужасного закона, управляющего всем миром, названного Гераклитом «взаимосбегание противоположностей», прокрадываются в сознание современного человека обходными путями, нагоняя на него страх и парализуя его веру в эффективность социальных и политических мер перед лицом этих титанических сил. Заглянув в тайники собственной психики, он обнаружит ужасающее зрелище слепого мира, где чаша весов склоняется то к строительству, то к разрушению, хаос и тьму. Наука разрушила даже это последнее убежище: то, что раньше было тихой гаванью, оказывается теперь сточной ямой.

И все же мы чувствуем чуть ли не облегчение, когда находим столько зла в глубинах собственной души. Наконец-то, полагаем мы, найден корень всех зол человечества. Хотя поначалу мы шокированы и разочарованы, мы по-прежнему считаем, что если уж это элементы нашей психики, то мы более или менее справляемся с ними, можем подправить их или, в крайнем случае, эффективно подавить. Мы охотно предполагаем, что, преуспевая в подавлении, мы выкорчевываем из мира какую-то порцию зла. Принимая во внимание широкую распространенность науки о бессознательном, каждому теперь доступно видение дурных мотивов в действиях государственного мужа. Даже газеты подскажут ему: «Обратитесь к психоаналитику, вы страдаете от подавленного отцовского комплекса». Я нарочно выбрал этот гротескный пример, чтобы показать, до какого абсурда мы доходим, веря иллюзии, будто все психическое находится под

нашим контролем. Тем не менее, верно, что много зла в мире проистекает из безнадежной бессознательности человека; как верно и то, что вместе с ростом нашей осведомленности об этом источнике зла в нас самих мы можем сражаться с ним — подобно тому, как наука позволяет нам эффективно преодолевать зло, происходящее из внешнего мира.

Быстрый, охвативший весь мир рост интереса к психологии на протяжении двух последних десятилетий безошибочно указывает на поворот внимания современного человека от внешних материальных вещей к внутренним процессам. В искусстве экспрессионизм пророчески предварил это развитие субъективности, ибо искусство в целом интуитивно постигает перемены, происходящие в коллективном бессознательном. Нынешний интерес к психологии — это индикатор того, что современный человек ожидает от психики что-то недоступное во внешнем мире; наша религия должна была бы содержать в себе это что-то, но она его давно утратила, по крайней мере, для современного человека. Для него различные формы религии не имеют отношения к внутреннему миру, но являются порождениями души — они все больше напоминают атрибуты внешнего мира. Все, что не от мира сего, не удостаивается им внимания, не обладает характером откровения; вместо этого он надевает, как воскресное платье, самые различные религии и верования, чтобы затем отбросить их, как изношенную одежду.

И все же современный человек буквально зачарован чуть ли не патологическими проявлениями душевных глубин. Требуется объяснить, почему то, что отвергалось всеми предшествовавшими веками, неожиданно сделалось столь интересным. Трудно отрицать всеобщий интерес к этим проявлениям души, каким бы оскорблением хорошего вкуса они ни казались. Я имею в виду не столько интерес к психологии как к науке, или даже уже — к психоанализу Фрейда, сколько получивший широкое распространение и все растущий интерес к различным психологическим феноменам, обнаруживающимся в спиритизме, астрологии, теософии, парапсихологии и т.д. Ничего подобного не было с конца семнадцатого века. Это сравнимо только с расцветом гностической мысли в первом и втором веках эры Христовой. Спиритуализм нашего времени действительно напоминает гностицизм. Существует даже «Гностическая церковь Франции» [\[85\]](#), и мне известны две школы в Германии, которые открыто именуют себя гностическими. Численно самым внушительным движением является теософия — вместе с ее континентальной сестрой — антропософией они представляют собой чистейший гностицизм в индийских одеждах. В сравнении с ними интерес к научной психологии

незначителен. В этих гностических системах более всего поражает то, что они основываются исключительно на проявлениях бессознательного, что их моральное учение проникает на темную сторону жизни, как это ясно видно по обновленной европейской версии Кундалини-йоги [86]. То же самое верно относительно парапсихологии — с этим согласится любой, кто знаком с предметом.

Интерес к этим движениям несомненно связан с течением психической энергии, которая более не может инвестироваться в устаревшие религиозные формы. В результате эти движения приобретают подлинно религиозный характер, даже когда они претендуют на научность. Ничего не меняется от того, что Рудольф Штайнер называет свою антропософию «духовной наукой» или когда миссис Эдди изобретает «христианскую науку». Эти попытки сокрытия просто показывают, что религия сделалась подозрительной — почти такой же подозрительной, как политика или мировые реформы.

Я вряд ли захожу слишком далеко, говоря, что современный человек, в противоположность своему собрату XIX в., преисполнен надежд в своем обращении к психике. Его обращение мало напоминает какие-либо традиционные верования, скорее оно совпадает с гностическим опытом. Тот факт, что все упомянутые мною движения выдают себя за научные, не есть ни карикатура, ни маскарад. Это позитивный знак того, что они действительно стремятся к «научности», т.е. к знанию, а не к вере, являющейся сущностью западных форм религии.

Современный человек питает отвращение к вере и к основанным на ней религиям. Он готов признать их значимыми лишь по мере того, как их познавательное содержание совпадает с его собственным душевным опытом. Он желает знать — на основе своего собственного опыта. Век открытий только что закончился, на Земле не осталось ни одного неисследованного уголка; он начался, когда люди перестали верить в то, что гипербореи — одноногие чудовища или что-то в этом роде, но возжелали найти, посмотреть собственными глазами на существующее за границами знакомого мира. Наш век стремится открыть то, что существует в психике за пределами сознания. Вопрос, задаваемый в каждом спиритическом кружке, таков: что происходит после того, как медиум утратил сознание? Каждый теософ спрашивает: что я испытываю на высших ступенях сознания? Всякий астролог задается вопросом: каковы силы, определяющие мою судьбу, несмотря на все мои сознательные намерения? Любой психоаналитик желает знать: каковы бессознательные влечения, лежащие за неврозом? Нашему веку нужен опыт самой души. Он

хочет непосредственного опыта, а не предположений, хотя он готов использовать все существующие предположения как средства для этой цели, включая и те, что принадлежат признанным религиям и настоящим наукам. Европейец вчерашнего дня, посмотрев повнимательнее на эти изыскания, ощутил бы легкую дрожь. Для него не только темны и отвратительны предметы этих, так сказать, исследований; даже применяемые при этом методы кажутся ему шокирующим злоупотреблением тончайшими достижениями человеческого интеллекта. Что скажет астроном, узнав, что сегодня составляется в тысячи раз больше гороскопов, чем триста лет назад? Что скажет воспитатель человеческого рода, адвокат философского просветительства о том факте, что со времен античности мир не обеднел ни на один предрассудок? Сам Фрейд, основатель психоанализа, предпринимал величайшие усилия для того, чтобы осветить максимально ярким светом грязь, мрак и зло теневой стороны души, чтобы мы потеряли всякое желание усматривать там что-нибудь, помимо отбросов и непристойностей. Но и он не преуспел в этом, и его попытка предостеречь и утратить привела к прямо противоположному — к восторгу по поводу всей этой грязи. Такого рода извращенность была бы необъяснимой в нормальных условиях, но сегодня даже скатологов (исследователей непристойного) зачаровывают и влекут тайны души.

Нет никаких сомнений в том, что с начала девятнадцатого века — после французской революции — душа все больше выдвигалась на первый план человеческих интересов. Сила ее притяжения непрерывно росла. Возведение на престол Богини Разума в Нотр-Дам было, кажется, символическим жестом огромного значения для западного мира [87]. Оно напоминало действие христианских миссионеров, срубивших дуб Вотана [88]. В обоих случаях богохульные деяния не привели к возмездию в виде удара молнии, небесной кары.

Не просто забавным капризом истории было то, что как раз во время революции один француз, Анкетиль дю Перрон, жил в Индии и в самом начале XIX в. возвратился домой с переводом «Упнек-хат», сборника из пятидесяти «Упанишад», давшего Западу первое глубокое представление о труднодоступной мысли Востока [89]. Для историка здесь — простое совпадение, так как нет исторической причинно—следственной связи. Мое медицинское мышление предупреждает: это не простая случайность. Все происходит в согласии с психологическим законом, неизменно действующим в личной жизни. Если что-нибудь важное обесценивается и

исчезает в нашей сознательной жизни, то — по этому закону — появляется компенсация утраченного в бессознательном. Можно видеть в этом аналог принципу сохранения энергии в физическом мире, поскольку у наших психических процессов также имеется количественный, энергетический аспект. Ни одна психическая величина не может исчезнуть без замены ее на другую равной интенсивности. Это фундаментальное правило безошибочно проверено в своей постоянной повторяемости практикой психотерапии. Врач во мне категорически отказывается рассматривать жизнь народов как нечто неподвластное психологическому закону. Для него душа народа есть лишь несколько более сложная структура, нежели душа индивида. Разве поэт не говорил о «нациях своей души»? Говорил вполне корректно, как мне кажется, ибо в одном из своих аспектов душа не индивидуальна, но выводится из нации, сообщества, даже всего человечества. Так или иначе, мы являемся частью одной всеобъемлющей души, единого «великого человека».

Итак, мы можем провести параллель: подобно тому, как во мне, отдельном индивиде, тьма взывает к приходящему на подмогу свету, точно так же происходит и в душевной жизни народа. За разрушительными толпами, втекавшими в Нотр-Дам, стояли темные и безымянные силы, отрывавшие человека от его корней; эти же силы действовали и на Анкетилья дю Перрона. Они вызвали отклик, вошли в историю и говорят с нами устами Шопенгауэра и Ницше. Анкетиль дю Перрон принес на Запад мысль Востока, а ее влияние на нас мы даже не можем сегодня измерить. Конечно, на интеллектуальной поверхности не так уж много видно: горсть ориенталистов, один-два энтузиаста буддизма, несколько темных знаменитостей вроде мадам Блаватской или Анни Безант с ее Кришнамурти [\[90\]](#). Эти явления подобны мелким островкам, разбросанным по океану человечества; но в действительности эти островки являются пиками подводных хребтов. Филистеры от культуры до недавнего времени верили, что астрология давно представляет собой нечто достойное безопасной насмешки. Но сегодня, поднявшись с социальных глубин, она стучится в двери университетов, откуда была изгнана триста лет назад. Это верно и относительно восточных идей: они коренятся на глубинных уровнях, постепенно поднимаясь на поверхность. Откуда взялись пять или шесть миллионов швейцарских франков на постройку антропософского храма в Дорхане? Ясно, что это не дар какого-то одиночки. К сожалению, отсутствует статистика, которая точно указала бы нам число открытых сторонников теософии, не говоря уже о скрытых. Но их наверняка несколько миллионов. К ним нужно прибавить несколько миллионов

спиритов, склоняющихся то к христианству, то к теософии.

Великие новшества никогда не приходят свыше; они неизменно поднимаются снизу, подобно тому как деревья растут вверх с земли, а не с небес. Перевороты, происходящие в нашем мире, и сдвиги в нашем сознании суть одно и то же. Все стало относительным, а потому сомнительным. В то самое время как человек нерешительно созерцает мир, свихнувшийся от всех своих мирных договоров и дружественных пактов, демократии и диктатуры, капитализма и большевизма, его дух стремится найти ответ, который позволил бы уменьшить беспокойство, вызванное сомнениями и неуверенностью. Именно люди, живущие на низших, темных уровнях, следуют бессознательным влечениям души; столь часто осмеивавшийся бессловесный люд, живущий близко к земле, менее заражен академическими предрассудками, чем академические знаменитости, претендующие на обратное. Если смотреть на этот люд свысока, зрелище часто бывает скучным и смехотворным; но он столь же внушительно прост, как те галилеяне, что были однажды названы блаженными. Разве не трогательно держать в руках толстенную книгу, компендиум всех отбросов человеческой души? В томах *Anthropophyteia* мы находим самую пустую болтовню, самые абсурдные действия, дичайшие фантазии, тщательно записанные, — в то время как люди вроде Хавелока Эллиса и Фрейда описывали сходные предметы в серьезных трактатах, со всею возможной академической ученостью. Читающая эти трактаты публика разбросана по поверхности цивилизованного белого мира. Как объяснить это рвение, чуть ли не фанатическое поклонение всему отвратительному? Причина в том, что эти предметы принадлежат к психологии, являются субстанцией души, а потому они столь же ценны, как фрагменты манускрипта, найденные в куче древнего мусора. Даже тайные и зловонные закоулки души представляют ценность для современного человека, ибо они служат его цели. Но какова эта цель? Фрейд предпослал «Истолкованию сновидений» motto: «Если не могу отвести богам вершины, то приведу в движение воды подземного царства». Но с какой целью? Боги, которых мы призваны низложить, это сделавшиеся идолами ценности нашего сознательного мира. Как мы знаем, ничто так не дискредитировало античных богов, как их любовные скандалы. Ныне история повторяется. Люди обнаруживают сомнительные основания наших прославленных добродетелей и несравненных идеалов, они победно кричат нам: «Вот ваши рукотворные боги, уловки и бред, окрашенные в цвета человеческой низости, поблекшие могильники, полные гнилых костей и нечистот». Знакомые нам стиль и лексика Евангелия, сделавшиеся

непереваримыми со времен конфирмации, заново оживают.

Я глубоко убежден, что это не пустые аналогии. Есть слишком много тех, для кого фрейдовская психология дороже Евангелия, а большевизм означает нечто большее, чем гражданская добродетель. И все же они — наши братья, ибо в каждом из нас слышен отголосок их речей, поскольку в конечном счете есть одна душа, охватывающая всех нас. Неожиданным результатом такого развития является уродливый лик мира. Он стал столь безобразным, что никто не может любить его; мы не в состоянии любить даже самих себя, а во внешнем мире нет ничего, что могло бы отвлечь нас от реальности внутренней жизни. В этом значение такого развития. В конце концов, чему хочет научить нас теософия своей доктриной кармы и перерождения, как не тому, что этот мир видимости есть лишь лечебница для морально несовершенных? Теософия обесценивает внутреннюю ценность наличного мира не менее радикально, чем современное мировоззрение, но прибегает к иной технике: она не чернит наш мир, но оставляет ему лишь относительный смысл, обещая иные, высшие миры. Результат в обоих случаях один и тот же. Я готов признать, что все эти идеи не укладываются в рамки академических дискуссий; суть дела в том, что они затрагивают современного человека там, где он менее всего это осознаёт. Является ли простым совпадением то, что современная мысль пришла к теории относительности Эйнштейна и ядерной теории, уводящих нас от детерминизма и граничащих с чем-то невообразимым? Не удивительно поэтому, что современный человек обращается к реальности душевной жизни, и ожидает от нее достоверности, утраченной им в мире.

Духовная ситуация Запада неустойчива, и опасность тем больше, чем сильнее наша слепота к безжалостной истине об иллюзорности красот нашей души. Западный человек живет в густом облаке фимиама, воскуряемого им самим так, что в этом дыму ему не разглядеть собственного отражения. Но какое впечатление вызывает оно у людей с другим цветом кожи? Что думают о нас Индия и Китай? Какие чувства мы вызываем у черного человека? У всех тех, у кого мы отняли их земли, тех, кого мы уничтожаем ромом и венерическими заболеваниями? У меня есть друг, американский индеец, вождь племени пуэбло. Во время конфиденциального разговора о белом человеке он сказал мне: «Мы не понимаем белых. Они всегда хотят чего-то, всегда беспокоятся, что-то высматривают. Как это понимать? Мы не знаем. Мы не можем их понять. У них такие острые носы, такие тонкие, жесткие губы, такие линии у них на лицах. Мы думаем, что все они сумасшедшие».

Мой друг распознал, не умея назвать, арийского коршуна с его

ненасытной жадной быть властелином во всех землях, даже в тех, до которых ему вовсе нет дела. Он заметил и нашу манию величия, заставляющую нас полагать среди всего прочего, что христианство — единственная истина, а белый Христос — единственный искупитель. Вогнав в хаос нашей наукой и технологией весь Восток, требуя с него за это дань, мы посылаем наших миссионеров даже в Китай. Комедия, разыгрываемая христианством в Африке, является самой жалкой. Уничтожение полигамии, конечно, чрезвычайно любезное Богу, способствовало такому распространению проституции, что только в Уганде ежегодно тратится 20 тыс. фунтов на предохранение от венерических заболеваний. А добрый европеец платит своим миссионерам за эти вдохновляющие достижения! Нужно ли вспоминать о бедствиях в Полинезии или о благословении торговли опиумом? Вот так выглядит европеец, если лишить его облака воскурений. Не удивительно, что раскопки души напоминают прокладку канализации.

Только такой идеалист, как Фрейд, мог посвятить всю жизнь этим нечистотам. Но дурной запах распространяет не он, а мы сами — вообразившие себя такими чистыми и порядочными в силу полнейшего невежества и грубейшего самообмана. Поэтому наша психология, знакомство с нашей собственной душой начинаются с самого отвратительного, т.е. со всего того, что мы предпочитаем не видеть. Но если бы душа была полна одним лишь злом, то никакой земной властью не удалось бы сделать ее привлекательной для нормального человека. Вот почему люди, видящие в теософии только жалкую поверхность ума, а во фрейдовской психологии одну лишь сенсацию, предсказывают этим движениям скорый и бесславный конец. Они упускают из виду тот факт, что такие движения получают всю свою силу от очарования, прелести души. Это она выражает себя в таких формах — пока им на смену не пришли иные, лучшие. Они являются переходными или эмбриональными стадиями, которые послужат появлению более зрелых форм.

Мы еще не вполне осознали, что теософия есть любительская, поистине варварская имитация Востока. Мы начинаем заново открывать для себя астрологию, являющуюся на Востоке хлебом насущным. Наши исследования сексуальной жизни, начатые в Вене и в Англии, не идут ни в какое сравнение с индийскими учениями по этому поводу. Восточные тексты тысячелетней давности дают нам образы философского релятивизма, а идея индетермизма, только что появившаяся на Западе, является фундаментом китайской науки. Что до наших открытий в психологии, то Рихард Вильгельм показал мне, что некоторые сложные

психические процессы были описаны в древнекитайских текстах. Сам психоанализ и возникшие вместе с ним направления мысли — мы считаем их специфически западным явлением — представляет собой лишь усилия новичка в сравнении с искусством, существующим с незапамятных времен на Востоке. Параллели между психоанализом и йогой проводились еще Оскаром Шмицем.

В то самое время как мы переворачиваем вверх дном материальный мир на Востоке нашими техническими средствами, Восток со своими высшими психическими навыками приводит в смятение наш духовный мир. Мы никак не постигнем, что, завоевывая Восток извне, мы позволяем ему все крепче схватывать нас изнутри. Эта идея кажется чуть ли не безумной, поскольку нам заметны лишь очевидные каузальные связи и мы не видим, что должны были бы возлагать вину за смятение в рядах нашего интеллектуального среднего класса на Макса Мюллера, Ольденберга, Дейссена, Вильгельма и им подобных. Чему учит нас пример Римской империи? После завоевания Малой Азии Рим становится азиатской державой; Европа была заражена Азией и остается таковой до сих пор. Из Киликии пришел митраизм, религия римских легионов, и распространился с ними от Египта до туманной Британии.

Есть ли нужда напоминать об азиатском происхождении христианства? У теософов есть забавная идея, будто некие махатмы, восседающие где-то в Гималаях, вдохновляют и направляют умы всех жителей мира. Столь сильным оказывается влияние восточной веры в магию, что находящиеся в здравом уме европейцы уверяли меня, будто бы все мною сказанное есть результат действия махатм, а мои собственные устремления не имеют никакого значения. Этот миф о махатмах, получивший широкое хождение на Западе и сделавшийся религиозным верованием, не есть бессмыслица. Подобно любому мифу, он содержит важную психологическую истину. Верно и то, что в глубине тех духовных перемен, с которыми мы сегодня имеем дело, лежит Восток. Но этот Восток — не тибетский монастырь, полный махатм, — он в нас самих, это наша собственная душа, постоянно творящая все новые духовные формы и силы, которые могут помочь нам обуздать безграничное хищничество арийца. Возможно, он позволит нам сузить горизонт внешней деятельности. На Востоке это привело к сомнительному квиетизму, но также к той стабильности, каковую обретает человек, когда требования духа становятся столь же императивными, как и нужды социальной жизни. Но в наш век американизации мы по-прежнему далеки от всего этого; мне кажется, что мы едва ступили на порог новой эпохи духа. Я не хотел бы изображать из себя пророка, но вряд ли удастся

очертить проблему души современного человека без упоминания его стремления к покою в период беспокойства, стремления к безопасности в век опасностей.

Сущность духовной проблемы сегодняшнего дня содержится для меня в том очаровании, которое вызывает душа у современного человека. Пессимисты назовут это знаменем упадка, оптимисты увидят предвестие далеко идущих духовных перемен на Западе. В любом случае это значимый феномен. Он заслуживает еще большего внимания, поскольку коренится в глубинных социальных стратах, затрагивает то иррациональное, те неисчислимы психические силы, которые, как показывает история, преобразуют жизнь народов и цивилизаций, преобразуют непредвиденно и непредвидимо. Эти силы, по-прежнему невидимые для глаз большинства, лежат в основании сегодняшнего интереса к психологии. Зачарованность душою никоим образом не есть болезнетворное извращение. Притяжение души столь сильно, что даже отвратительные ее стороны не заставят очарованного отпрянуть.

Все кажется опустошенным и изношенным на столбовых дорогах мира. Современный человек инстинктивно покидает протоптанные пути, чтобы найти обходные тропы и проходы. Подобно человеку греко— римского мира, отбрасывавшему своих умерших богов и обращавшемуся к мистериям, мы под давлением нашего инстинкта поворачиваемся к иному, к восточной теософии и магии. Современный человек идет к внутреннему, к созерцанию темных оснований души. Это происходит с тем же скептицизмом и такой же безжалостностью, с какими Будда был принужден смести два миллиона богов, чтобы достичь единственно достоверного изначального опыта.

Теперь нам нужно задать последний вопрос. Верно ли то, что я говорил о современном человеке, либо это очередная иллюзия? Что бы ни думали миллионы образованных жителей Запада о приведенных мною фактах, считая их неадекватными и нелепыми, они не вызывают ни малейших сомнений. Разве утонченный римлянин думал иначе, когда смотрел на распространение христианства среди рабов? Сегодня Бог Запада еще жив для множества людей, как и Аллах по другую сторону Средиземного моря; один верующий считает другого еретиком, которого, за неимением других средств, нужно жалеть и терпеть. Хуже того, просвещенные европейцы придерживаются мнения, будто религия хороша для масс и для женщин, но малозначима в сравнении с экономическими и политическими вопросами дня.

Меня не трудно опровергнуть — как человека, предсказывающего

бурю, когда на небе нет ни облачка. Возможно, шторм остается где-то за горизонтом, быть может, он нас никогда и не достигнет. Но то, что значимо для психической жизни, всегда лежит за горизонтом сознания, и когда мы говорим о проблеме души современного человека, мы говорим о едва заметных вещах — самых сокровенных и хрупких, о цветах, распускающихся только ночью. В дневном свете все ясно и ощутимо; однако ночь длится столь же долго, как и день, мы живем и в ночное время. Есть люди, которым снятся дурные сны, отравляющие им и дневное существование. Для многих же дневная жизнь кажется дурным сном, и они страстно желают наступления ночи, когда пробуждаются духи. Я думаю, что в наше время таких людей очень много, вот почему я так долго говорил о душе современного человека.

Я должен признать себя, тем не менее, виновным в некоторой односторонности, так как я умолчал о духе времени, о котором всем есть что сказать, ибо он на виду у всех. Он проявляет себя в идеалах интернационализма и супернационализма, воплощенных в Лиге Наций и подобных ей организациях; мы видим дух времени в спорте, кино, джазе. Это характерные симптомы нашего времени, гуманистические идеалы распространяются даже на тело, и эта тенденция еще более заметна в современных танцах. Кино, подобно детективным романам, позволяет нам испытывать без опасности для нас самих все побуждения, страсти и фантазии, которые должны были бы подлежать вытеснению в гуманистический век. Нетрудно заметить связь этих симптомов с нашей психологической ситуацией. Очарованность душой приносит новую самооценку, переаттестацию фундамента человеческой природы. Мы не удивимся, если это приведет и к новому открытию тела — после долгого подчинения его духу. Возникает даже искушение сказать, что плоть возвращает себе свои права. Когда Кайзерлинг заметил, что шофер сделался культурным героем нашего времени, он, как почти всегда, был прозорлив. Тело претендует на равное признание; оно очаровывает точно так же, как и душа. Если бы мы держались старого антитезиса сознания и материи, то подобное положение дел, казалось бы нестерпимым противоречием. Но если мы свыкаемся с таинственной истиной, что дух есть жизнь тела, глядя изнутри, а тело есть внешнее проявление жизни духа (на самом деле два суть одно), то нам становится понятно, почему стремление выйти за пределы нынешнего уровня сознания путем признания бессознательного воздаст должное и телу. Понятно и то, почему признание прав тела не терпит философии, отрицающей его во имя духа. Эти требования физической и психической жизни, несравнимо более

сильные, чем в прошлом, могут показаться признаком декаданса, но они могут означать и обновление, ибо, как говорил Гельдерлин: Там, где опасность, Растет и спасенье.

И мы видим, как западный мир набирает скорость — американский темп — это прямая противоположность квиетизма и мироотрицающей резиньяции. Возникает беспрецедентное напряжение между внешним и внутренним, объективной и субъективной реальностями. Возможно, это последняя гонка между стареющей Европой и молодой Америкой; может быть, это последняя отчаянная попытка вырваться из-под темной власти природного закона, чтобы одержать еще одну героическую победу пробужденного сознания над сном наций. На этот вопрос даст ответ только история.

Йога и Запад

Статья «Йога и Запад» первоначально была опубликована на английском языке в журнале «Прабуддха Бхарата» (Калькутта) в феврале 1936 г. Перевод выполнен А.М.Руткевичем.

Менее века прошло с тех пор, как Западу стала известна йога. Хотя всякого рода истории о легендарной стране Индии — стране мудрецов, гимнософистов и омфалоскептиков — были известны в Европе уже две тысячи лет, о реальном знании индийской философии и философской практики нельзя было говорить до тех пор, пока усилиями француза Анкетилля дю Перрона Запад не получил Упанишады. Что же касается более глубокого и всестороннего знания, то оно стало возможным благодаря трудам Макса Мюллера, издавшего в Оксфорде священные книги Востока. Вначале это знание оставалось привилегией специалистов — санскритологов и философов, однако очень скоро теософское движение, вдохновляемое г-жой Блаватской, завладело восточными традициями и донесло их до самой широкой публики. С тех пор вот уже несколько десятилетий знания о йоге развиваются по двум различным направлениям: с одной стороны, йога — предмет самой строгой академической науки, с другой — она стала чем-то вроде религии, хотя и не развилась в церковную организацию, несмотря на все усилия Анни Безант и Рудольфа Штайнера. Хотя Штайнер был основателем антропософской секты, начинал он как последователь г-жи Блаватской [\[91\]](#).

Этот продукт развития йоги в западном варианте весьма трудно сравнивать с тем, что представляет собой йога в Индии. Дело в том, что восточное учение встретилось на Западе с особой ситуацией, с таким состоянием умов, которого Индия никогда не знала ранее. Для этой ситуации характерно строгое размежевание между наукой и философией, которое в той или иной мере существовало на протяжении примерно трехсот лет до того времени, как йога стала известна Западу.

Начало этого раскола — специфически западного феномена — в действительности относится к Возрождению, к XV в. Именно в это время пробуждается широкий и страстный интерес к античности, вызванный падением Византийской империи под ударами ислама. Впервые в Европе не осталось, пожалуй, ни одного уголка, где бы не знали греческий язык и

греческую литературу. Великая схизма в Римской церкви была прямым результатом этого вторжения так называемой языческой философии. Появляется протестантизм, который вскоре охватит всю Северную Европу. Но даже такое обновление христианства не могло удержать в рабстве освобожденные умы европейцев.

Начался период мировых открытий, как географических, так и научных — мысль все в большей степени освобождалась от оков религиозной традиции. Конечно, церкви продолжали существовать, поддерживаемые религиозными нуждами населения, но они утратили лидерство в сфере культуры. В то время как Римская церковь сохранила единство благодаря своей непревзойденной организации, протестантство расколосось чуть ли не на четыреста деноминаций. С одной стороны, это было свидетельством его банкротства, с другой — говорило о его неудержимой религиозной жизненности. Постепенно, в течение XIX в., этот процесс привел к появлению ростков синкретизма, а также к широкомасштабному импорту экзотических религиозных систем, таких как религии бабизма, суфийских сект, «Миссии Рамакришны» [\[92\]](#), буддизма и т.д. Многие из этих систем, например, антропософия, содержали в себе элементы христианства. Возникшая в итоге ситуация чем-то напоминала эллинистический синкретизм III-IV вв. н.э., в котором также присутствовали следы индийской мысли (ср. Аполлоний Тианский, орфики-пифагорейские тайные учения, гностицизм и т.д.).

Все эти системы подвизались на поприще религии и рекрутировали большую часть своих сторонников из протестантов. Поэтому в своей основе они являются протестантскими сектами. Своими атаками на авторитет Римской церкви протестантизм в значительной мере разрушил веру в Церковь как необходимое орудие божественного спасения. Вся тяжесть авторитета была возложена, таким образом, на индивида, а вместе с тем и невиданная ранее религиозная ответственность. Отсутствие исповеди и отпущения грехов обострило моральный конфликт, отяготило индивида проблемами, которые ранее за него решала церковь. В самом деле, таинства, в особенности церковная месса, гарантировали индивиду спасение посредством священного ритуала, имеющего силу благодаря священнослужителям. Единственное, что требовалось от индивида, — это исповедь, покаяние, епитимья. Теперь же, с распадом ритуала, осуществлявшего за индивида всю эту работу, он стал вынужден обходиться без божественного отклика на свои поступки и мысли. Вот этой-то неудовлетворенностью индивида и объясняется спрос на системы, которые обещали бы хоть какой-то ответ, явную или хотя бы поданную

знаком благосклонность к нему иной силы (высшей, духовной или божественной).

Европейская наука не уделяла ни малейшего внимания этим надеждам и чаяниям. Она жила своей интеллектуальной жизнью, которая не касалась религиозных нужд и убеждений. Этот исторически неизбежный раскол западного сознания также оказал влияние на йогу, стоило только ей закрепиться на западной почве. С одной стороны, она сделалась объектом научного исследования, с другой — ее приветствовали как путь спасения. Что касается самого религиозного движения, то его история знает немало попыток соединить науку с верой и практикой религии, например, в «Христианской науке» ^[93], теософии и антропософии. Последняя особенно любит придавать себе научную видимость, а потому, как и «Христианская наука», она легко проникает в круга интеллектуалов.

Поскольку у протестанта нет заранее predeterminedного пути, он готов приветствовать чуть ли не всякую систему, которая обещает успех. Он должен теперь делать сам то, что ранее исполняла, как посредник, церковь, — однако он не знает, как это делается. И если он всерьез испытывает нужду в религии, то вынужден предпринимать чрезвычайно большие усилия, чтобы обрести веру, — ведь протестантская доктрина ставит веру исключительно высоко. Однако вера — это харизма, дар благодати, а не метод. Протестанты настолько лишены метода, что многие из них серьезно интересовались чисто католическими упражнениями Игнатия Лойолы. Но что бы протестант ни делал, более всего угнетает противоречие между религиозной доктриной и научной истиной. Конфликт веры и знания вышел далеко за пределы протестантизма, он затронул и католицизм. Этот конфликт обусловлен историческим расколом в европейском сознании. С точки зрения психологии, у этого конфликта не было бы никаких оснований, не будь столь неестественного принуждения верить и столь же неестественной веры в науку. Вполне можно вообразить себе такое состояние сознания, когда мы просто знаем, а вдобавок и верим в то, что кажется нам по тем или иным основаниям вероятным. Для конфликта между верой и знанием нет никакой почвы, обе стороны необходимы, ибо по отдельности нам недостаточно ни только знания, ни одной лишь веры.

Поэтому, когда «религиозный» метод в то же время рекомендуется в качестве метода «научного», можно быть уверенным, что он найдет на Западе широкую публику. Йога вполне отвечает этим чаяниям. Помимо притягательности всего нового и очарования полупонятного, есть еще немало причин того, что к йоге стекаются поклонники. Прежде всего, она

не только предлагает долгожданный путь, но также обладает непревзойденной по глубине философией. Кроме того, йога содержит в себе возможность получать контролируемый опыт, а тем самым удовлетворяет страсть ученого к «фактам». Более того, глубокомысленность йоги, ее почтенный возраст, широта доктрины и метода, покрывающих все сферы жизни, — все это обещает неслыханные возможности, каковые не устают подчеркивать ее миссионеры.

Я не стану распространяться о том, что значит йога для Индии, поскольку не могу судить о чем бы то ни было, не имея личного опыта. Я могу говорить лишь о том, что она значит для Запада. Отсутствие духовной ориентации граничит у нас с психической анархией, поэтому любая религиозная или философская практика равнозначна хоть какой-то психологической дисциплине; иными словами, это метод психической гигиены. Многие чисто физические процедуры йоги представляют собой также средство физиологической гигиены, намного превосходящее обычную гимнастику или дыхательные упражнения, так как йога представляет собой не просто механику, но имеет философское содержание. Тренируя различные части тела, йога соединяет их в единое целое, подключает их к сознанию и духу, как то с очевидностью следует из упражнений пранаямы, где прана — это и дыхание, и универсальная динамика космоса. Если любое деяние индивида является одновременно событием космическим, то «легкое» состояние тела (иннервация) сочетается с подъемом духа (всеобщая идея), и благодаря такому сочетанию рождается жизненное целое. Его никогда не произвести никакой «психотехнике», будь она даже самой что ни на есть научной. Практика йоги немислима — да и неэффективна — без тех идей, на которых она базируется. В ней удивительно совершенным образом сливаются воедино физическое и духовное.

На Востоке, где лежат источники этих идей и этой практики, где непрерывная традиция на протяжении более четырех тысячелетий создавала необходимые состояния духа, йога является превосходным методом слияния тела и сознания. Такое их единение вряд ли можно поставить под сомнение, и я охотно готов это признать. Тем самым создаются предрасположенности, делающие возможным интуитивное видение, трансцендирующее само сознание. Индийское мышление с легкостью оперирует такими понятиями, как прана. Иное дело — Запад. Обладая дурной привычкой верить и развитым научным и философским критицизмом, он неизбежно оказывается перед дилеммой: либо попадает в ловушку веры и без малейшего проблеска мысли заглатывает такие

понятия, как прана, атман, чакра, самадхи и т.п., либо его научный критицизм разом отбрасывает их как «чистейшую мистику». Раскол западного ума с самого начала делает невозможным сколько-нибудь адекватное использование возможностей йоги. Она становится либо исключительно религиозным делом, либо чем-то вроде гимнастики, контроля за дыханием, эуритмики и т.п. Мы не находим здесь и следа того единства этой природной целостности, которые столь характерны для йоги. Индеец никогда не забывает ни о теле, ни об уме, тогда как европеец всегда забывает то одно, то другое. Благодаря этой забывчивости он завоевал сегодня весь мир. Не так с индийцем: он помнит не только о собственной природе, но также о том, что он и сам принадлежит природе. Европеец, наоборот, располагает наукой о природе и удивительно мало знает о собственной сущности, о своей внутренней природе. Для индийца знание метода, позволяющее ему контролировать высшую силу природы внутри и вовне самого себя, представляется дарованным свыше благом. Для европейца же подавление собственной природы, и без того искаженной, добровольное превращение себя в некое подобие робота показалось бы чистейшим адом.

Говорят, йоги могут двигать горы, хотя было бы, пожалуй, затруднительно найти тому доказательства. Власть йога ограничена тем, что приемлемо для его окружения. Европеец, тот способен поднимать горы на воздух, и мировая война принесла горькое осознание того, на что он может быть способен, когда интеллект, сделавшийся чуждым природе, утрачивает всякую узду. Как европеец, я не пожелал бы другим европейцам еще больших «контроля» и власти над природой, будь она внутренней или внешней. К стыду своему, я должен признаться, что самые светлые мои прозрения (бывали среди них и совсем недурные) обязаны своим появлением тому обстоятельству, что я всегда поступал как раз противоположно предписаниям йоги. Пройдя свой путь исторического развития, европеец настолько удалился от своих корней, что ум его в конце концов раскололся на веру и знание; подобно тому, как всякое психологическое преувеличение всегда разрывается на внутренне ему присущие противоположности. Европейцу нужно возвращаться не к Природе — на манер Руссо, — а к своей собственной натуре. Он должен заново открыть в себе естественного человека. Однако вместо этого европеец обожает системы и методы, способные лишь еще более подавить в человеке естественное, которое все время становится европейцу поперек дороги. Поэтому он наверняка станет употреблять йогу во зло, ибо психические предрасположенности у него совсем иные, нежели у человека

Востока. Я готов сказать каждому: «Изучай йогу, и ты многому научишься, но не пытайся применять ее, поскольку мы, европейцы, попросту не так устроены, чтобы правильно употреблять эти методы. Индийский гуру все тебе объяснит, и ты сможешь во всем ему подражать. Но знаешь ли ты, кто применит йогу? Иными словами, знаешь ли ты, кем являешься, как ты сам устроен?»

Сила науки и техники в Европе столь велика и несомненна, что нет нужды упоминать все то, что благодаря им сделано или может быть сделано, перечислять все изобретенное. Перед лицом таких изумительных возможностей можно лишь содрогнуться. Сегодня совсем иной вопрос приобретает тревожный смысл: кто применяет всю эту технику? В чьих руках находится эта сила? Временным средством защиты в настоящий момент является государство — ведь это оно охраняет гражданина от огромных запасов ядовитых газов и прочих адских машин разрушения, каковые можно изготовить к любому необходимому моменту времени. Наши технические навыки сделались настолько опасными, что самым настоящим является вопрос не о том, что еще можно сделать, но о том человеке, которому доверен контроль над всеми этими достижениями. Это и вопрос о том, каким образом изменить сознание западного человека, чтобы он смог избавиться от чувства привычности этих ужасающих возможностей техники. Куда важнее лишить его иллюзии всевластия, нежели еще более усиливать в нем ложную идею, будто все ему доступно, все, чего он ни пожелает. В Германии мы часто слышим: «Там, где есть воля, найдется и путь» — этот лозунг стоил жизни миллионам людей.

Западный человек не нуждается в большем господстве над природой, внешней или внутренней. Господство над обеими достигло у него чуть ли не дьявольского совершенства. К сожалению, при этом отсутствует ясное понимание собственной неполноценности по отношению к природе вокруг себя и к своей внутренней природе. Он должен понять, что не может делать все, что ему заблагорассудится. Если он не дойдет до осознания этого, то будет сокрушен собственной природой. Он не ведает того, что против него самоубийственно восстает его собственная душа. Так как западный человек с легкостью обращает все в технику, то, в принципе, верно, что все, имеющее видимость метода, для него или опасно или бесполезно. Поскольку йога есть форма гигиены, она столь же полезна, как и всякая другая система. Однако в более глубоком смысле йога означает нечто совсем иное, куда большее. Если я правильно ее понимаю, йога — это освобождение сознания от всякого порабощения, отрешение от субъекта и объекта. Но так как мы не можем отрешиться от того, что является для нас

бессознательным, то европеец должен для начала знать, что он собой представляет как субъект. На Западе мы называем его бессознательным. Техника йоги применима исключительно к сознательным уму и воле. Такое предприятие обещает успех лишь в том случае, если бессознательное не обладает заслуживающим внимания потенциалом; иначе говоря, если в нем не содержится значительная часть личности. В противном случае сознательные усилия останутся тщетными. Все судороги ума породят карикатуру или вызовут прямую противоположность желаемому результату.

Богатая метафизическая и символическая мысль Востока выражает важнейшие части бессознательного, уменьшая тем самым его потенциал. Когда йог говорит «прана», он имеет в виду нечто много большее, чем просто дыхание. Слово «прана» нагружено для него всею полнотой метафизики, он как бы сразу знает, что означает прана и в этом отношении. Европеец его только имитирует, он заучивает идеи и не может выразить с помощью индийских понятий свой субъективный опыт. Я более чем сомневаюсь в том, что европеец станет выражать свой соответствующий опыт, даже если он способен получить его посредством таких интуитивных понятий, как «прана».

Первоначально йога представляла собой естественный интровертивный процесс, в котором имеются различные вариации. Интроверсия ведет к своеобразным внутренним процессам, которые изменяют личность. На протяжении нескольких тысячелетий интроверсия организовывалась как совокупность достаточно сильно отличающихся друг от друга методов. Сама индийская йога принимает многочисленные и крайне разнообразные формы. Причиной этого является изначальное многообразие индивидуального опыта. Не всякий из этих методов пригоден, когда речь идет об особой исторической структуре, каковую представляет собой европеец. Скорее всего, соприродная европейцу йога имеет неведомые Востоку исторические образцы. Сравнимые с йогой методы возникли в двух культурных образованиях, которые на Западе соприкасались с душой, так сказать, практически — в медицине и в католическом целительстве души. Я уже упоминал упражнения Игнатия Лойолы. Что же касается медицины, то ближе всего к йоге подошли методы современной психотерапии. Психоанализ Фрейда возвращает сознание пациента во внутренний мир детских воспоминаний, к вытесненным из сознания желаниям и влечениям. Его техника — это логическое развитие исповеди, искусственная интроверсия, целью которой является осознание бессознательных компонентов субъекта. Несколько отличается метод так

называемой аутогенной тренировки, предложенный профессором Шульцем [\[94\]](#), — этот метод сознательно сочетается с йогой. Главная цель здесь — сломать перегородки сознания, которые служат причиной подавления бессознательного. Мой собственный метод, подобно фрейдовскому, основывается на практике исповеди. Как и Фрейд, я уделяю особое внимание сновидениям, но стоит подойти к бессознательному, как наши пути расходятся. Для Фрейда оно представляет собой какой-то придаток сознания, куда свалено все то, что несовместимо с сознанием индивида. Для меня бессознательное есть коллективная психическая предрасположенность, творческая по своему характеру. Столь фундаментальное различие точек зрения ведет и к совершенно различной оценке символики и методов ее истолкования. Процедуры Фрейда являются в основном аналитическими и редуционистскими. Я добавляю к этому синтез, подчеркивающий целесообразный характер бессознательных тенденций развития личности.

В этих исследованиях обнаружилось важные параллели с йогой — особенно с Кундалини—йогой, а также с символикой тантрической, ламаистской йоги и параллели с китайской йогой даосов. Эти формы йоги со своей богатой символикой дают мне бесценный сравнительный материал при истолковании бессознательного. Но в принципе я не применяю методов йоги, поскольку у нас на Западе ничто не должно насильно навязываться бессознательному. Нашему сознанию присущи интенсивность и ограниченная узость действия, а потому эту, и без того доминирующую, тенденцию нет нужды еще более усиливать. Напротив, нужно делать все для выхода бессознательного в сознание, для освобождения от жестких препон сознания. С этой целью я использую метод активного воображения, заключающийся в особом рода тренировке способности выключать сознание (хотя бы относительно), что представляет бессознательному возможность свободного развития.

Мое столь критичное неприятие йоги вовсе не означает, что я не вижу в ней одного из величайших достижений восточного духа, изобретений человеческого ума. Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, что моя критика направлена лишь против применения йоги западными народами. Духовное развитие Запада шло совсем иными путями, чем на Востоке, а потому оно создало, пожалуй, самые неблагоприятные условия для применения йоги. Западная цивилизация едва достигла возраста одного тысячелетия, она должна прежде избавиться от своей варварской односторонности. Это означает в первую очередь более глубокое видение человеческой природы. Посредством подавления и контроля над

бессознательным никакого видения не добьешься — и менее всего путем имитации методов, взращенных совсем иными психологическими условиями. Со временем Запад изобретет собственную йогу, она будет опираться на фундамент, заложенный христианством.

Введение в религиозно—психологическую проблематику алхимии

Этот текст является введением к большой книге К. Г. Юнга «Психология и алхимия». «Введение» обладает рядом особенностей, которые необходимо прокомментировать.

Во-первых, непосредственный контекст «Введения», т.е. текст книги, недоступен читателю настоящего издания. Во-вторых, имеются, так сказать, сверхконтексты, и их нужно учитывать для понимания «Введения» как своего рода опуса, т.е. как целого. Эти сверхконтексты связаны с замыслом и концепцией, развиваемыми Юнгом. Первое, что следует здесь отметить, — повышенная эмоциональность текста, вызванная пафосом оппонирования как прямым научным противникам Юнга, так и — более широко — олицетворяемым ими сторонам европейской культуры, современной европейской «души», современного христианства. Отсюда стилистическая пестрота «Введения», в котором перемешаны три редко совмещаемых друг с другом слоя: нормализованный научный стиль, разговорно—бытовой и высокий, «библейский» стили. Переводчик пытался по возможности сохранить эти особенности оригинала, ради чего ему пришлось принести в жертву стиль перевода.

Далее, текст непрост также из-за некоторого «пифизма», загадочности и таких стилистических особенностей, как серийность в выборе слов внутри небольшого отрезка текста (что не всегда удалось сохранить в переводе) и циклизм, когда за одной серией монотонно повторяющихся слов следует другая. Все это сообщает тексту Юнга известную степень суггестивности или даже заклинательности. Наконец, «Введению» присущ композиционный циклизм, своего

рода музыкальность (тематизм), например, трижды возникающая тема «подвешенности» — один раз применительно к психологии, другой — к религии и, наконец, — к алхимии. Тем самым мы уже затронули источник этих сверхконтекстов, а именно замысел Юнга продемонстрировать на самом тексте основную идею, в нем заключенную, — идею глубокого сущностного родства психологии, религии и алхимии.

Отвлекаясь от подробностей, место которым в специальном исследовании, посвященном этому вопросу, рискну высказать предположение, что само «Введение» построено по образцу, по «архетипу» алхимического «деяния», когда основная тема сублимируется в ходе изложения, проходя различные стадии — от психотерапии (излечения) через религиозное спасение и алхимическое «исцеление» металлов к просветленной таким путем терапии — не столько, может быть, индивидуальной, сколько коллективной, затрагивающей сферу культуры, включая религию, сферу, глубоко пораженную, по мнению Юнга, прежде всего на уровне души. «Введение» как алхимический процесс заканчивается на стадии нигредо, что символически (архетипически) соответствовало бы погружению в культурно-исторические глубины алхимии и тех архетипов бессознательного, которые в ней выражены (кстати, само слово «архетип» использовалось алхимиками, например, Агриппой Неттесхаймским). Не случайно нигредо появляется в конце текста.

Возможно, высказанное здесь предположение поможет читателю более глубоко понять «Введение» со всеми его трудностями и тонкостями. Некоторые разъяснения, касающиеся алхимии (по необходимости совсем короткие), читатель найдет в нижеследующих примечаниях.

Перевод выполнен В.М. Бакусевым.

Что касается содержания нижеследующих исследований, то для знатока комплексной психологии вступительные замечания, вероятно, излишни. Но для читателя—неспециалиста, который приступает к этому

чтению неподготовленным, пожалуй, нужны некоторые вводные пояснения. Понятие «процесс индивидуации», с одной стороны, и алхимия — с другой, суть вещи, которые, кажется, настолько далеки друг от друга, что фантазии поначалу представляется невозможным вообразить связывающие их мосты. Такому читателю я чувствую себя обязанным дать разъяснение, в особенности потому, что в связи с публикацией моих лекций у меня есть некоторый опыт, заставляющий думать об известной беспомощности моих критиков.

То, что мне приходилось высказывать о сущности человеческой души, — это прежде всего наблюдения над человеком. Этим наблюдениям предъявляли упрек в том, что в них речь идет о неизвестном и труднодоступном опыте. Достопримечателен тот факт (с которым снова и снова приходится сталкиваться), что абсолютно всякий, даже самый последний профан, полагает, что он отлично разбирается в психологии, как будто душа — это как раз именно та область, которая хорошо знакома самым широким кругам. Любой настоящий знаток человеческой души согласится со мной, однако, если я скажу, что она (душа) относится к самому темному и таинственному из того, с чем мы встречаемся на опыте. Эти сферы никто никогда не изведает до конца.

Нет в моей практической деятельности почти ни дня, чтобы я не столкнулся с чем-то новым и неожиданным. Конечно, мой опыт — это не повседневности, лежащие на поверхности. Но для любого психотерапевта, который занимается этой специальной областью, он находится в достижимой близости. Поэтому-то мне кажется по меньшей мере странным, когда неизвестность сообщенных опытов вменяют мне в упрек. Я не чувствую себя ответственным за то, что познания профанов в психологии недостаточны.

В аналитическом процессе, т.е. в диалектическом разборе между сознанием и бессознательным, имеет место некоторое развитие, продвижение вперед к цели или концу, трудно постижимая природа которого занимала меня в течение многих лет. Психическое лечение на всех возможных стадиях развития приходит к концу, никогда не вызывая при этом ощущения того, что тем самым достигнута уже и цель. Типичные временные завершения имеют место:

1. по получении доброго совета;
2. по совершении более или менее полной, но во всяком случае удовлетворительной исповеди;

3. по познании до тех пор неосознанного, но существенного содержания, осознание которого имеет следствием новые побуждения к жизни или деятельности;
4. после достигнутого долгим трудом освобождения от остатков детской психологии;
5. после выработки нового, рационального приспособления к, может быть, трудным или непривычным условиям среды;
6. по исчезновении мучительных симптомов;
7. по наступлении позитивного поворота в судьбе, как то: экзамена, обручения, свадьбы, развода, смены профессии и т.д.;
8. по получении вновь открытого ощущения принадлежности к какому-либо религиозному исповеданию, или по обращении;
9. по начавшемуся возведении практической жизненной философии («философии» в античном смысле!).

Хотя в этом перечне можно было бы привести еще больше модификаций и добавлений, он в общем и целом может характеризовать наиглавнейшие ситуации, в которых аналитический или психотерапевтический процесс достигает предварительного или, при случае, даже определенного завершения. Как показывает опыт, имеется, однако, относительно большое количество пациентов, для которых внешнее окончание работы с врачом ни в коем случае не означает одновременно конца аналитического процесса. Скорее, критический разбор бессознательного идет дальше, а именно, примерно в том смысле, как у тех, которые свою работу с врачом не закончили. Иногда снова встречаешь таких пациентов спустя годы и выслушиваешь часто достопримечательные истории о поворотах в их судьбах. Такие опыты поначалу утвердили меня во мнении, что в душе имеет место, так сказать, независимый от внешних условий, целенаправленный процесс, и освободили меня от опасения, что я сам могу быть единственной причиной несобственного (а потому, может быть, противного природе) психического события. Это опасение не было

напрасным, поскольку некоторые пациенты не дают ни одному аргументу девяти названных категорий склонить себя к окончанию аналитической работы, даже посредством религиозного обращения, не говоря уж о столь очевидном исчезновении невротических симптомов. Именно случаи последнего рода сделали для меня очевидным, что лечение неврозов затрагивает проблему, которая выходит далеко за рамки только—врачебного и для которой только—медицинское знание невозможно признать достаточным.

В память о почти уже полувековой давности начальных временах анализа с их псевдобиологическими установками и обесцениванием процесса душевного развития выжидание в аналитической работе любят называть «бегством от жизни», «перенашиванием плода», «автоэротизмом» и подобными нелюбезными выражениями. Поскольку все вещи в принципе должны рассматриваться с двух сторон, то негативная оценка в жизненном смысле допустима только тогда, когда доказано, что, и действительно, в так называемой «подвешенности» вовсе нельзя найти ничего позитивного. Понятная нетерпеливость врача сама по себе еще ничего не доказывает. Только благодаря несказанному терпению исследователя новой науке удалось построить углубленное понимание сущности души, и известные неожиданные терапевтические результаты должны быть обязаны жертвенному упорству врача.

Неоправданно негативное отношение вдобавок к этому несерьезно, а иногда и вредно, и вызывает подозрение в завуалированной некомпетентности, если вообще не в попытке избежать ответственности и полного столкновения. Ибо раз аналитическая работа раньше или позже неизбежно становится человеческим разбором между Я и Ты и Ты и Я, по ту сторону всех слишком человеческих отговорок, то не только легко может случиться, но и необходимым образом дело идет к тому, что оно непосредственно затрагивает и даже проникает до глубоких основ как пациента, как и врача. Нельзя дотронуться до огня или до яда, не схватив хоть толику их через незащищенные места; ибо истинный врач никогда не стоит рядом, но всегда — внутри.

Так называемая подвешенность ^[95] может быть для обеих сторон нежелательной, неприемлемой, даже невыносимой, не будучи негативной в жизненном смысле. Наоборот, она может оказаться даже позитивно оцениваемым «hang on» (англ. «подвешенность на...»), которое хотя и означает, с одной стороны, мнимо непреодолимую трудность, но, с другой стороны, именно поэтому представляет ту единственную в своем роде ситуацию, которая требует величайшего напряжения и потому вызывает на

свет божий целостного человека. Вообще, можно сказать, что, с одной стороны, пациент бессознательно или с твердой уверенностью пытается решить проблему, в конечном итоге оказывающуюся неразрешимой, и что, с другой стороны, искусство или техника врача делает все, что в его силах, чтобы ему в этом помочь. «Наука исследует целостного человека» — восклицает древний алхимик. Именно этот «человек целостный» и есть искомое. Усилия врача, так же как и поиски пациента, нацелены на того сокровенного, еще не манифестированного «целостного» человека, который является вместе с тем человеком величайшим и будущим. Правильный путь к целостности состоит, однако, — к сожалению, — в обусловленных судьбой обходах и блужданиях. Это «самая длинная дорога», не прямая, но связующая противоположности змеистая линия, напоминающая путевказующий кадукей, тропа, лабиринтовая переплетенность которой не лишена ужаса. На этом пути осуществляются те опыты, которые любят называть «труднодоступными». Их недоступность основывается на том, что они дорогостоящи: требуют того, чего больше всего боятся, а именно той целостности, которая хотя и не сходит с уст и о которой бесконечно теоретизируют, но которую в реальности обходят стороной так далеко, как можно ^[96]. Бесконечно милее обычай «купейной психологии», когда одна полка не знает, что творится на других.

Боюсь, что за такое состояние вещей нужно считать ответственным не только неразумие и бессилие единиц, но и всеобщее душевное воспитание европейца. Это воспитание не только подлежит компетенции, но и составляет суть господствующих религий; ибо только они, и прежде всего — рационалистические системы, относятся к внешнему и внутреннему человеку одинаково. Можно упрекать христианство в отстающем развитии, желая извинить собственную недостаточность. Я не хочу впасть в ошибку, приписывая это вещам, за которые ответственна в первую очередь человеческая неумелость. Я говорю поэтому не о сокровеннейшем и лучшем разуме христианства, но о легкомыслии и о фатальном непонимании, которые очевидны для всех. Требование «подражания» Христу, а именно требование следовать образцу и уподобляться ему, должно иметь целью развитие и возвышение собственно человека — внутреннего человека, а становится для поверхностного и склонного к механической формулообразности верующего внешним объектом культа, которому как раз посредством почитания воздвигается препятствие для того, чтобы проникать в глубины души и претворять последние в образец соответствующей целостности. Тем самым божественный

посредник как образ остается снаружи, а человек — фрагментом, незатронутым в своей глубочайшей природе. Конечно, Христу можно подражать вплоть до стигматизации, но при этом подражающий даже приблизительно не следует образцу и его смыслу. Ибо речь идет не о простом подражании, которое-то и оставляет человека непреобразенным и тем самым является простым артефактом ^[97]. Скорее, речь идет о воплощении образца собственными средствами в сфере индивидуальной жизни. Правда, не следует упускать из виду, что даже в ложно понятом подражании присутствует — при известных обстоятельствах — мощное моральное усилие, которое, несмотря на то, что подлинная цель не достигнута, обладает заслугой полной отдачи высочайшей ценности, хотя и представленной чисто внешне. Вполне вероятно, что кто-то переживает предчувствие своей целостности именно в своем тотальном усилии и благодаря ему, с ощущением благодати, которое свойственно такому переживанию.

Неверно понятому, чисто внешнему пониманию «подражания» Христу хорошо соответствует одно европейское предубеждение, которое показывает разницу между западной и восточной манерами. Западный человек околдован «десятью тысячами вещей»; он видит отдельное, он в плену у «Я» и вещи и пребывает без сознания о глубоком корне всяческого бытия. Зато восточный человек переживает мир отдельных вещей и даже собственное «Я» как сон и сущностно укоренен в праоснове, которая притягивает его столь сильно, что его соотнесенность с миром релятивизирована в степени, для нас зачастую непонятной. Западная, объективирующая манера склонна к тому, чтобы оставлять Христа как «образец» в его предметном аспекте и тем самым лишать его таинственной соотнесенности с внутренним человеком. Это предубеждение дает повод, например, протестантским интерпретаторам толковать относящееся к Царству Божьему «подчиняясь Богу» как «между вами» вместо «в вас». Тем самым еще ничего не сказано о том, что западная манера имеет силу. Ведь мы и так убеждены в этом. Зато когда пытаются критически разобраться с восточным человеком (что вменяется в обязанность именно психологу), то от известного сомнения можно отделаться лишь с большим трудом. Кому позволяет совесть, тот может, совершив над собой усилие, решиться и тем самым, может быть неумышленно, сделаться «судьей мира». Лично я предпочитаю драгоценный дар сомнения, ибо он оставляет в неприкосновенности чистоту неизмеримого явления.

Христос—образец взял на себя грех мира. Но если это чисто внешний акт, то и грех отдельного человека остается внешним, а тем самым этот

человек является фрагментом больше, чем когда-либо, ибо легкомысленное непонимание открывает для него удобный путь буквальным образом «сбросить на Него» свои грехи и тем уйти от более глубокой ответственности, что противоречит духу христианства. Эта формалистика и эта беспринципность не только были одной из причин Реформации, но имеют место и внутри самого протестантизма. Если величайшая ценность (Христос) и величайшая антиценность (грех) находятся вовне, то душа пуста: в ней нет самого низкого и самого высокого. Восточной манере (в особенности индийской) свойственно обратное: все самое высокое и самое низкое заключено в «трансцендентальном» субъекте. Благодаря этому значение «атмана», самости неизмеримо возрастает. А у человека Запада ценность самости падает до нулевой отметки. Отсюда происходит общая для Запада недооценка души. Кто говорит о действительности души, того упрекают в «психологизме».

Взгляд, согласно которому существуют психические факторы, соответствующие божественным очертаниям, считается обесцениванием последних. Было бы кощунством полагать, что религиозное переживание есть психический процесс; ибо — так аргументируют — оно «не только психологическое». Психическое есть только природа, и потому оно не может породить ничего религиозного, как считается. При этом такие критики ни мгновение не колеблются объявить все религии — за исключением собственной — порожденными природой души. Примечательно, что две теологические рецензии на мою книгу «Психология и религия» — одна католическая, другая протестантская — умышленно обошли вниманием мое доказательство психического происхождения религиозных феноменов.

По этому поводу и впрямь следовало бы спросить: откуда взялась насчет души такая твердая уверенность, которая позволяет говорить «лишь душевный»? Так говорит и думает именно человек Запада, душа которого явно «лишена достоинства». Если бы она обладала многим, то о ней можно было бы говорить с почтением. Но так как этого никто не делает, то отсюда можно заключить, что в ней и нет никакой ценности. Правда, это не фатально и имеет место не всегда и не везде, а только там, где в душу ничего не вложено, а «Бога держат снаружи». Время от времени немного больше Майстера Экхарта ^[98] было бы полезно!

Исключительно религиозная проекция может отнять у души ее ценности, так что она вследствие опустошения не сможет больше развиваться, а останется в бессознательном состоянии. К тому же, она впадает в иллюзию, будто источник всяческих неприятностей находится

вовне, и потому уже не возникает вопроса о том, как и где она сама этому способствовала. Душа представляется уже настолько незначительной, что почти не учитывается ее способность к злу, не говоря уже о добре. Но если душа выходит из игры, то религиозная жизнь застывает во внешнем и превращается в хлам формул. Как ни представлять себе отношения Бога и души, несомненно одно: что душа не может быть никаким «только», но имеет достоинство сущности, которой дано осознавать свое отношение к божественному. И хотя это только отношение капли к морю, но и самого моря не было бы без множества капель. Догматически установленное бессмертие души возвышает ее над физической конечностью человека и делает ее участницей в сверхприродном качестве. По значимости она тем самым многим превосходит смертного сознающего человека, так что, собственно говоря, христианину должно бы быть запрещено рассматривать душу как «только» [\[99\]](#).

Как глаз — солнцу, так и душа соответствует Богу. Душа не исчерпывается нашим сознанием, и потому смешно, когда мы говорим о душевных вещах в покровительственном или пренебрежительном тоне. Даже верующий христианин не ведает сокровенных стезей Бога и предоставляет Богу самому решать, воздействовать ли на человека извне или изнутри, через душу. Верующий ведь не может оспаривать тот факт, что существуют «Богом посланные сны» и душевные прозрения, которые нельзя свести ни к каким внешним причинам. Было бы кощунственным утверждать, что Бог может открывать себя повсюду, а как раз в человеческой душе не может. Безусловно, интимность отношения между Богом и душой заранее исключает какую бы то ни было недооценку души [\[100\]](#). Было бы, может быть, чересчур смело говорить об отношении родства; но во всех случаях душа должна иметь в себе возможность отношения, т.е. соответствия сущности Бога, иначе взаимосвязь никогда не могла бы быть установлена [\[101\]](#). Это соответствие и есть, психологически говоря, архетип образа Бога.

Любой архетип способен к бесконечному развитию и усложнению. Поэтому возможно, что он развит больше или меньше. Во внешней форме религии, где главное — во внешних очертаниях (где речь идет, таким образом, о более или менее совершенной проекции), архетип тождествен поверхностным представлениям, но остается неосознанным как душевный фактор. Если бессознательное содержание настолько вытеснено образом проекции, то оно исключается из общежития с сознанием и влияния на него. Тем самым оно в большой мере платит собственной жизнью, потому

что блокируется в естественной для него деятельности по устроению сознания; и больше того: оно пребывает неизменным в своей первоначальной форме, ибо в бессознательном ничто не изменяется. Начиная с некоторого момента, оно даже демонстрирует склонность к регрессии на более низкие и более архаичные ступени. Поэтому может случиться, что христианин, хотя он и верит во всякие священные фигуры, в глубинах души остается неразвитым и застывшим, потому что у него «весь Бог снаружи» и он не распознает Бога в душе. Его решающие мотивы и его основополагающие интересы и побуждения выходят из неразвитой и бессознательной души, языческой и архаичной как никогда, а ни в коей мере не из сферы христианства. Истинность этого утверждения доказывается не только жизнью отдельного человека, но и сложением отдельных жизней в народ. Великие события нашего мира, которые задуманы и осуществлены людьми, дышат не духом христианства, а духом неприкрашенного варварства. Эти дела происходят из оставшегося архаичным душевного склада, даже далеко не имеющего ничего общего с христианством. Как не без доли правды полагает церковь, это “*semel credidisse*” («раз и навсегда уверовав») оставляет определенные следы. Но в великих, определяющих явлениях эти следы обнаружить нельзя. Христианская культура в ужасающих масштабах выказала себя пустой: это пустой блеск; а внутренний человек остался незатронутым и потому не изменился. Такое состояние души не соответствует верующему только внешне. Христианин в своей душе не поспел за внешним развитием. Естественно, здесь все внешне в образе и слове, в церкви и в Библии. А внутри ничего нет. В глубинах со всей силой правят архаические божества; иными словами, внутреннее соответствие внешнему образу Бога неразвито из-за недостатка душевной культуры, а потому коснеет в варварстве.

Хотя христианское воспитание и сделало все, что в человеческих силах, этого оказалось недостаточно. Слишком немногие узнали, что божественные очертания составляют интимнейшую собственность собственной души. Некий Христос встретился им (остальным) только снаружи, но никогда не выходил навстречу из собственной души. Поэтому там все еще господствует мрачное варварство, которое захлестывает так называемый христианский культурный мир отчасти с больше не скрываемой недвусмысленностью, а отчасти — облачившись в слишком уж изношенные покровы.

Применявшимися до сих пор средствами не удалось христианизировать душу до такой степени, чтобы хотя бы самые элементарные требования христианской этики возымели хоть сколько-

нибудь решающее воздействие на главнейшие запросы европейца—христианина. Хотя христианская миссия и проповедует Евангелие убогим и нагим варварам, но внутренние варвары, населяющие Европу, еще ничего не восприняли от христианства. Христианство силою обстоятельств вынуждено начать все сначала, если оно вообще когда-нибудь выполнит свою великую воспитательную миссию. Покуда религия остается только верой и внешней формой, а религиозная функция не стала опытом собственной души, не выйдет ничего толкового. Еще предстоит понять, что «великое таинство» [\[102\]](#) коренится не просто в собственном существовании, но и преимущественно в человеческой душе. Кто не познал этого на опыте, тот может быть ученым мужем в теологии; но о религии он не имеет ни малейшего представления, а еще меньше — о воспитании человека.

Но когда я доказываю, что душа естественным образом обладает религиозной функцией [\[103\]](#) и когда я требую, чтобы главнейшей задачей всякого воспитания (взрослых) было переведение того самого архетипа образа Бога, т.е. его излучений и воздействий, в сознание, тогда-то именно теология и толкает меня под руку и изобличает меня в «психологизме». Если бы в душе не заключались, в соответствии с опытом, высочайшие ценности (без ущерба для в любом случае имеющейся там «души, сделанной в подражание»), то психология не интересовала бы меня ни в малейшей степени, потому что душа была бы тогда не что иное как ничтожный чад. Но я знаю из тысячекратного опыта, что она таковым не является, а что, скорее, она содержит в себе соответствия всех тех вещей, которые сформулированы догмой, и еще кое-что сверх того, что именно и делает душу способной быть тем оком, коему определено созерцать свет. А для того потребен необъятный объем и глубина неисследимая. Меня упрекали в «обжжении души». Не я — сам Бог обжжил ее! Не я приписал душе религиозную функцию, но я предъявил факты, которые доказывают, что душа по природе религиозна, т.е. обладает религиозной функцией: функцией, которую я не привнес и не приписал, но которую она сама из себя производит, не будучи побуждаема к тому какими-либо мнениями или внушениями. В прямо-таки трагическом ослеплении эти теологи не углядели, что речь не о том, чтобы доказывать существование света, а о том, что есть слепцы, которые не ведают, что их очи способны видеть. Следовало бы когда-нибудь заметить, наконец, что бесполезно хвалить свет и проповедовать его, когда никто не умеет видеть его. Было бы много нужнее прививать человеку искусство зрения. Ведь очевидно же, что

слишком многие неспособны установить связь между священными фигурами и своими собственными душами; т.е. они не умеют видеть, что соответствующие образы дремлют в их собственном бессознательном и в какой мере. Чтобы сделать возможным это внутреннее созерцание, нужно расчистить путь для умения видеть. Как можно достичь этого без психологии, т.е. не затрагивая душу, для меня, откровенно говоря, непостижимо [\[104\]](#).

Другое, настолько же тяжкое по последствиям непонимание, состоит в том, что психологии приписывают намерение создавать как можно более еретические новые учения. Когда слепому постепенно прививают зрение, не следует ожидать, что он тотчас орлиным взором увидит новые истины. Надо радоваться, если он вообще что-нибудь увидит, и более или менее сможет понять, что он видит. Психология занимается актом зрения, а не конструированием новых религиозных истин, и это когда уже существующие учения еще не распознаны и не поняты. В вещах религиозных, как известно, нельзя понять то, что не было предметом внутреннего опыта. Лишь во внутреннем опыте обнаруживается отношение души к внешним образом предъявленному и проповеданному — как отношения родства или соответствия, примерно такие, как между «женихом» и «невестой» [\[105\]](#). Но когда я поэтому говорю как психолог, что Бог — это архетип, то под этим я имею в виду тот тип в душе, который, как известно, происходит от термина «удар», «отпечаток». Уже слово «архетип» предполагает наличие того, что дает отпечаток.

Психология как наука о душе должна была ограничиться своим предметом и остерегаться перешагивать свои границы, высказывая, например, метафизические утверждения или символы веры. Даже если бы ей пришлось полагать Бога лишь как гипотетическую причину, она бы имплицитно требовала возможности доказательства бытия Бога, а тем самым абсолютно недопустимым образом превышала бы свою компетенцию. Наука может быть только наукой; не существует «научных» вероисповеданий и подобных «противоречий в определении». Мы просто не знаем, откуда в конечном итоге следует выводить этот архетип, и так же мало мы знаем о происхождении души. Компетенция психологии как опытной науки простирается лишь настолько, чтобы констатировать, справедливо или нет характеризовать найденный в душе на основе сравнительного исследования тип, например, как «образ Бога». Этим о возможном существовании Бога ничего не сказано — ни позитивно, ни негативно, так же как архетип «героя» нимало не предполагает наличия

такового.

Когда мое психологическое исследование доказывает наличие определенных психологических типов и их аналогий с известными религиозными представлениями, то тем самым открывается возможность доступа к тем опытно познаваемым содержаниям, которые очевидно и непреложно образуют эмпирически доступные основания религиозного опыта. Верующему человеку предоставлено выбирать, какие метафизические объяснения происхождения этих образов принимать, но принимать не интеллектом, который обязан непосредственно держаться принципов научного объяснения и избегать любого превышения возможностей знания. Никто не может воспрепятствовать вере в качестве первой причины признать Бога, Пурушу, Атмана или Дао, и тем самым в целом снять, в конце концов, неудовлетворенность человека. Наука прилежно трудится; она не штурмует небеса. И если она пустится в отчаянные авантюры, то тем самым подрубит сук, на котором сидит.

Ведь факт, что познание и опыт, исходя из наличия этих внутренних образов, открывают для разума, так же как и для чувств, доступ к тем другим образам, которые предполагает религиозное учение о человеке. Тем самым психология делает как раз противоположное тому, в чем ее упрекают: она создает возможности для лучшего понимания того, что есть, она открывает глаза на смысловое содержание догм; она-то как раз и не разрушает, она предлагает опустевшему дому новых жильцов. Я могу подтвердить это многократным опытом: отпавшие или охладевшие к вере люди самых разных исповеданий находили новый подход к своим старым истинам; меж ними было немало католиков. Даже один парс вновь нашел путь к зороастрийскому храму огня, из чего можно заключить об объективности моей точки зрения.

Но именно в этой объективности мою психологию упрекают всего сильнее: она, мол, не решается на то или другое определенное религиозное учение. Не предвосхищая изложения моего субъективного убеждения, я хотел бы поставить вопрос: разве не мыслимо, что можно принять какое-либо одно решение, если не брать на себя роль «богоборца» [\[106\]](#), но выразительно отказываться от такой субъективности и, например, питать веру в то, что Бог выразил себя на многих языках и в многообразных проявлениях и что все эти выражения истинны? Выдвигаемое с христианской стороны основное возражение — что ведь невозможно, чтобы абсолютно противоречащие высказывания были истинными, должно позволить вежливо осведомиться у себя: а один равен трем? Как три может быть одним? Может ли мать быть девой? И так далее. Разве не видно было

до сих пор, что все религиозные высказывания содержат в себе логические противоречия и принципиально недопустимые утверждения, — какое там! — что это составляет даже суть религиозного высказывания. В пользу этого у нас есть признание Тертуллиана: «И умер Сын Божий, что безусловно вероятно, потому что нелепо. И, погребенный, воскрес; это верно, потому что невозможно». Если христианство призывает верить в такие противоречия, то можно же, мне кажется, не отвергать того, кто принимает несколько более сильных парадоксов. Парадоксальность поразительным образом принадлежит к высочайшему духовному достоянию; зато однозначность — признак слабости. Поэтому внутренне оскудевает та религия, которая теряет или ослабляет свои парадоксы; а их усиление обогащает, ибо только парадоксальное может приблизительно уловить полноту жизни; однозначность и непротиворечивость же односторонни и потому не годятся, чтобы выражать неуловимое.

Не у каждого есть сила духа Тертуллиана, который не только умел открыто мириться с парадоксальностью, но для которого она означала даже наивысшую религиозную достоверность. Гигантское количество духовно слабых делает парадоксальность опасной. Покуда ее заочно принимают в виде ничем не озабоченной самоочевидности, и покуда она остается привычным аспектом жизни, она неопасна. Но когда какому-нибудь недостаточно развитому интеллекту (который, как известно, всегда о себе самого высокого мнения) втемяшится сделать парадоксальность высказывания веры предметом своего столь же обстоятельного, сколь и импотентного раздумья, то не успеешь и глазом моргнуть, как он разразится иконоборческим гомерическим хохотом и станет показывать пальцем на все неприкрытые нелепости таинства. Со времен французского Просвещения дело живо набрало силу; ибо если уж этот мелкоформатный разум, который не выносит парадоксов, проснулся, никакая проповедь не уложит его спать обратно. После этого возникает новая задача: а именно, постепенно возвести этот еще недоразвитый разум на более высокую ступень и умножить число тех, которые, по меньшей мере, способны подозревать, каков объем парадоксальной истины. Если этого нет, можно считать, что духовный подход к христианству все равно что завален. Просто больше не понимают, что может иметься в виду под парадоксальностью догмы, и чем более поверхностным становится ее восприятие, тем больше шокирует ее иррациональный облик, а, в конце концов, она вообще выходит из употребления как курьезный реликт прошедшего. Насколько такое развитие означает духовную потерю, трудно оценить по своим масштабам, остается непостижимым для затронутого

ею, потому что он ведь никогда не пережил священные образы как собственное внутреннее достояние, и никогда не осознал их родство со своей собственной душевной структурой. Но как раз это необходимое знание может предоставить ему психология бессознательного, причем особенно ценна именно ее научная объективность. Если бы психология была связана конфессионально, то она не могла бы и не имела права давать возможность индивидуальному бессознательному ту свободу действий, которая является непременным предусловием для продуцирования архетипов. А это как раз та спонтанность архетипических содержаний, которая способна убеждать. Предубежденное вмешательство, напротив, блокирует объективный опыт. Если теолог действительно верит во всемогущество Божье, с одной стороны, и в общезначимость догм — с другой, то почему он тогда не может принять за вероятное то, что из души говорит Бог? Откуда такой страх перед психологией? Или душа должна считаться (совершенно уж недогматически) прямо-таки адом, откуда доносятся только голоса демонов? Если бы это действительно было так, то и такое положение дел было бы не менее убедительным; ибо, как известно, реальность зла, воспринятая с ужасом, послужила причиной обращения по крайней мере стольких же людей, как и переживание добра.

Архетипы бессознательного суть эмпирически доказуемые соответствия религиозных догм. Герменевтический язык отцов — для церкви богатый кладезь аналогий с продуктами индивидуальной спонтанности, которыми занимается психология. То, что высказывается бессознательным, не есть никакой произвол и никакая субъективность, а есть явление или определенный факт, так же как в каких-нибудь природных вещах. Само собой понятно, что выражения бессознательного сформулированы естественным образом, а не догматически, точно так же как в патриотическом аллегоризме, который втягивает природу во всем ее объеме в сферу своих амплификаций [\[107\]](#). И если здесь имеются поразительные «аллегии» Христа, то мы находим подобное и в психологии бессознательного. Различие же состоит в том, что патриотическая аллегория главным образом имеет в виду Христа, в то время как психический архетип довлеет себе и потому должен толковаться смотря по времени, месту и обстановке. На Западе он реализуется через догматический образ Христа, на Востоке — через Пурушу, Атмана, Хираньягарбху, Будду и т.д. Религиозная точка зрения смещает акцент — это и понятно — на чеканящую печать, психология же как наука — на только для нее осязаемую чеканку. Религиозная точка зрения рассматривает этот тип как действие печати; научная же — как символ неизвестного и

неуловимого для него содержания. А поскольку этот тип неопределеннее и многостороннее любой религиозной предпосылки, то психология вынуждается своим эмпирическим материалом выражать его через термин, который не связан ни временем, ни местом, ни обстоятельствами. Если бы этот тип, например, во всех деталях совмещался с догматическим образом Христа и не содержал бы в себе определений, которые выходили бы за эти пределы, то тогда на него надо было бы смотреть как на точное отображение этого догматического образа и называть соответственно этому. Тогда этот тип совпал бы с Христом. Но на деле так не бывает именно потому, что бессознательное, как в случае с аллегоризмом отцов церкви, создает еще и много других, не содержащихся явно в догматической формуле, определений, которые включают в этот тип, например, нехристианские персонажи, как вышеупомянутые. Но и эти персонажи не исчерпывают неопределенности архетипа. Вообще немислимо, чтобы существовал какой-нибудь определенный персонаж, который выражал бы архетипическую неопределенность. Вследствие этого я чувствую побуждение дать соответствующему архетипу психологическое наименование «самость», каковое понятие, с одной стороны, достаточно определено, чтобы быть средством воплощения идеала человеческой целостности, а с другой стороны, достаточно неопределено, чтобы выражать неопишумость и неопределенность этой целостности. Парадоксальные качества этого понятия согласуются с тем фактом, что эта целостность отчасти состоит из сознательного, а отчасти — из бессознательного человека. Но границы и определения последнего не могут быть указаны. В научном языке «самость» поэтому указывает не на Христа и не на Будду, а на целостность соответствующих образов, и каждый такой образ есть символ самости. Такой способ выражения является мыслительной необходимостью научной психологии и никоим образом не означает трансцендентальной предубежденности. Наоборот, эта объективная позиция предоставляет, как указано выше, одному — решение для определения «Христос», другому — для «Будды» и т.д. Кого раздражает такая объективность, тот пусть поразмыслит о том, что без нее невозможна наука. Но если он все равно оспаривает право психологии на объективность, то тем самым делает анахроничную попытку лишить жизни науку. Даже если такая безумная попытка удалась бы, то тем самым еще больше усилилось бы отчуждение — только теперь уже катастрофическое — между мирским разумом, с одной стороны, и церковью и религией — с другой. Для науки не только понятно, но и является абсолютным «смыслом существования», что она почти целиком концентрируется на своем

предмете. Поскольку понятие «самости» представляет для психологии главный интерес, то она, естественно, мыслит в направлении, противоположном теологии. Для первой религиозные образы указывают на самость; для последней, наоборот, самость указывает на ее собственное центральное представление; иными словами, психологическая самость может пониматься теологией только как «аллегория» Христа. Эта противоположность, конечно, возмутительна, но без нее, к сожалению, нельзя обойтись, если вообще не отказывать психологии в праве на существование. Поэтому я выступаю в пользу терпимости, на что психологии нетрудно решиться, потому что как у науки у нее нет никаких тоталитарных притязаний.

«Символ Христа» для психологии — предмет наиважнейший, поскольку наряду с образом Будды является, может быть, наиболее развитым и дифференцированным символом самости. Мы определяем это по масштабам и содержанию имеющихся высказываний о Христе, которые в удивительно высокой степени соответствуют психологической феноменологии самости, хотя и не включают в себе всех аспектов этого архетипа. Необозримо обширный объем этого явления может расцениваться как недостаток определенности религиозного персонажа. Однако высказывать оценочные суждения никоим образом не входит в задачу науки. Самость не только неопределенна, но и парадоксальным образом содержит в себе черты определенности, даже неповторимости. В этом, пожалуй, одна из причин того, что именно те религии, которые имели в основателях исторических личностей, стали мировыми религиями, каковы христианство, буддизм и ислам. Привлечение неповторимых человеческих личностей (а в особенности в сочетании с неопределяемой божественной природой) как раз согласуется с абсолютно индивидуальным характером самости, которая связует неповторимое с вечным, и отдельное — с максимально всеобщим. Самость есть объединение противоположностей. Тем самым этот символ в самом существенном отличается от христианского. Андрогинность Христа — наиболее незначительная уступка церкви проблематике противоположного. Противоположности света и добра, с одной стороны, и тьмы и зла — с другой, предоставлено быть открытым конфликтом, причем Христос выступает как просто благо, а контрагент Христа, черт, — как зло. Эта противоположность и есть подлинная мировая проблема, которая пока еще остается нерешенной. Самость, однако, — абсолютная парадоксальность, потому что она в любом отношении является тезисом и антитезисом, а заодно и синтезом. (Психология дает обильное количество подтверждений

этого положения. Но я не могу привести их здесь в развернутом виде. Я отсылаю знатоков этих материй к символике мандалы.) Архетип, сближенный с сознанием благодаря исследованию бессознательного, устраивает поэтому индивидууму очную ставку с бездонной противоречивостью человеческой природы, и ему становится доступным совершенно непосредственное переживание света и мрака, Христа и черта. Речь идет, разумеется, в лучшем или в худшем случае только о создании возможности, а не о гарантиях осуществления, ибо переживаний этого рода нельзя с необходимостью достичь нашими человеческими средствами. Нужно принять при этом во внимание факторы, неподвластные нашему контролю. Переживание противоположности не имеет ничего общего ни с интеллектуальным прозрением, ни с заимствованием. Скорее, можно было бы назвать это судьбой. Такое переживание одному доказывает правду Христа, другому — правду Будды, и притом вплоть до полной очевидности. Без переживания этой противоречивости нет опыта целостности, а тем самым нет и внутреннего доступа к священным образам. На этом основании христианство по праву настаивает на греховности и на наследственном грехе — с очевидным намерением по меньшей мере снаружи набросать очертания той самой пропасти космической противоречивости в каждом индивидууме. Более или менее пробудившемуся разуму, напротив, этот метод безусловно отказывает, потому что он просто больше не верит в учение и, мало того, считает его абсурдным. Такой-то разум исключительно однозначен и остается при своей «нелепости таинства». Он как небо от земли далек от тертуллиановой антиномичности: ведь он вообще не в состоянии выносить страданий такой противоречивости. Известно, что суровыми экзерцициями и некими миссионерскими проповедями с католической стороны и определенного рода протестантским воспитанием с его вынюхиванием грехов были вызваны душевные травмы, которые вели не в Царствие Небесное, а на врачебный прием. Хотя проникновение-то в противоречивость как раз и необходимо, лишь немногие на практике могут выдерживать его — обстоятельство, которое не ускользнуло от опыта исповеди. Паллиативной реакцией на это является столь часто и с различных сторон критикованный моральный пробабиллизм [\[108\]](#), который пытается предотвратить подавленность с помощью греха [\[109\]](#). Как ни подходить к этому явлению, ясно все же одно — и это факт, — что в нем наряду с прочим присутствует изрядная доля человечности и понимание человеческого несовершенства, которые компенсируют невыносимость антиномии. Чудовищный парадокс

упорного утверждения первородного греха, с одной стороны, и уступки, которые делает пробабиллизм, — с другой, хорошо понятны психологу как необходимые следствия набросанной выше христианской проблематики противоположного — ведь в самости добро и зло ближе друг другу, чем однояйцевые близнецы! Реальность зла и его несоединимость с добром раздирают противоположности и неминуемо ведут к распятию и суспензированию (подвешиванию) всего живого. Поскольку “*anima naturaliter Christiana*” (лат. «душа от природы христианка»), то эти последствия должны наступить столь же неизбежно, как это случилось в жизни Иисуса: все мы должны быть «распяты со Христом», т.е. суспензированы в моральных страданиях, что соответствует настоящему распятию. Практически это возможно, прежде всего, лишь приблизительно, и потом к тому же настолько невыносимо и несовместимо с жизнью, что обычный человек может позволить себе оказываться в таком состоянии только время от времени и максимально редко. Ибо как он мог бы при таком страдании быть еще и обычным! Поэтому более или менее пробабилистская установка в отношении к проблеме зла неизбежна. Тем самым правда самости, а именно подлинное единство добро — зло, конкретно выявляется в парадоксе: хотя грех есть нечто наиопаснейшее и наитягчайшее, он все же не настолько тяжел, чтобы нельзя было избежать его при помощи «пробабильных» доводов. При этом последнее — даже не безусловная распущенность или легкомыслие, а просто практическая жизненная необходимость. Практика исповеди поступает как сама жизнь, которая успешно сопротивляется, чтобы не погибнуть в неразрешимой противоречивости. А конфликт все равно продолжает существовать, что опять-таки соответствует антиномии самости, которая сама есть конфликт и единство.

Христианство возвысило антиномию добра и зла до уровня мировой проблемы, а посредством догматической формулировки этой противоположности — до абсолютного принципа. В этом пока неразрешенном конфликте христианин предстает как протагонист добра и участник мировой драмы. Такое подражание Христу, если понимать его в самом глубоком смысле, означает страдание, которое для большинства совершенно невыносимо. Поэтому подражание Христу становится в жизни только условным и совсем не осуществляется, и пастырская практика церкви даже ощущает себя вынужденной «облегчить ношу Христа». А это означает весьма существенное выхолащивание жесткости и остроты конфликта и тем самым практическую релятивизацию добра и зла. Добро равнозначно безусловному подражанию Христу, а зло — препятствованию

ему. Моральная слабость и косность человека суть то, что сильнее всего препятствует этому подражанию, и как раз посредством их пробабиллизм проявляет на практике понимание, которое может соответствовать христианскому терпению, милосердию и любви к ближнему, иногда, может быть, больше, чем образ мыслей тех, которые видят в этом только распущенность. Хотя пробабилистское устремление достойно присуждения ему ряда главных христианских добродетелей, нельзя все же не заметить, что оно препятствует страданию при подражании Христу, а тем самым лишает борьбу добра против зла ее остроты, и смягчает ее до выносимой степени. При этом происходит сближение с психическим архетипом самости, в котором и впрямь эта противоположность выступает в виде единства, и притом, как уже указывалось, не так, как в христианской символике, которая оставляет конфликт открытым. Для последней мир расколот «трещиной»: свет борется против мрака и горнее — против дольного. Эти Двое не суть Одно, как и в психическом архетипе.

Хотя догма с ужасом отвергает мысль о том, что Двое суть Одно, но, как мы видели, предоставляет все же религиозной практике возможность приблизительного осуществления естественного психологического символа — именно, символа в себе единой самости. Зато догма настаивает на том, что Трое суть Одно, но отрещивается от того, что Четверо суть Одно. Нечетные числа, как известно, с древних времен не только у нас на Западе, но и в Китае, считались мужскими, а четные — женскими. Тем самым Троица — явно мужское Божество, и андрогинность Христа и особое место и возвышенность Богоматери не являются ее полным эквивалентом. С этой, может быть, чуждой для читателя констатации мы подходим к центральной аксиоме алхимии, а именно к тезису Марии Профетиссы [\[110\]](#). «Единица становится Двумя, Двое — Тремя, а из Третьего выйдет Единое как Четвертое». Как видно читателю уже из названия этой книги («Психология и алхимия»), в ней идет речь о психологическом значении алхимии, т.е. о проблеме, которая, за редкими исключениями, до сих пор не была предметом научного исследования. До недавнего времени наука занималась только историко-химическим аспектом алхимии, и лишь в малой степени — ее философской и религиозной стороной. Значение алхимии для истории развития химии очевидно. Зато ее исторически-духовное значение еще столь неизвестно, что кажется почти невозможным немногими словами дать представление о том, в чем оно состоит. Поэтому в данном «Введении» я сделал попытку изобразить ту религиозно-историческую и психологическую проблематику, в которую вплетена алхимическая тема. Алхимия представляет собой нечто вроде подводного течения по

отношению к поверхности господствующего христианства. Она соотносится с ним, как сон с сознанием, и подобно тому, как сон компенсирует конфликты сознания, так и она стремится заполнить те места, которые оставила зиять антагонистическая напряженность христианства. Точнейшим образом это выражается, пожалуй, в той аксиоме, которая лейтмотивом проходит через почти на целых 1700 лет протянувшийся срок жизни, данный алхимии, а именно в цитированном выше тезисе Марии Пророчицы.

Здесь между нечетными числами христианской догматики протискиваются четные числа, которые означают женское, землю, подземное и даже само зло. Их персонификацией является «змея Меркурия» [\[111\]](#), дракон, который сам себя порождает и уничтожает и символически представляет «первую материю» [\[112\]](#). Эта основополагающая мысль алхимии отсылает к Теом [\[113\]](#), Тиамат [\[114\]](#) с ее драконовским атрибутом, а тем самым — к матриархальному первобытному миру, который был преодолен — в теоматии мифа о Мардуке — мужским миром Отца. Этот всемирно-исторический поворот сознания в «мужскую» сторону был компенсирован прежде всего посредством хтонически—женского начала бессознательного. Уже в некоторых дохристианских религиях дифференциация мужского выступала в виде спецификации Отец — Сын, каковое превращение получило затем в христианстве первостепенное значение. Если бы бессознательное было просто комплементарным, то оно сопровождало бы этот поворот сознания выдвиганием Матери и Дочери, для которого в мифе о Деметре и Персефоне уже был готов нужный материал. Но оно предпочло, как показывает алхимия, тип Кибелы — Аттиса, а тем самым проявилось как не комплементарное, а компенсирующее. Так обнаруживается, что бессознательное не просто противоположно сознанию, но является более или менее модифицирующимся противником-партнером («макрокосмическим сыном» [\[115\]](#)). Тип Сына вызывает на свет из «хтонического» бессознательного в качестве дополняющего образа не Дочь, а опять-таки Сына. Этот достопримечательный факт, по всей видимости, совпадает с воплощением чисто духовного Бога в земной природе человека, что происходит благодаря зачатию Святым Духом во чреве Блаженной Девы. Так горнее, духовное, мужское склоняется над дольным, земным, женским, и в результате предшествующая отцовскому миру Мать, идя навстречу мужскому, при помощи инструмента человеческого духа («философии») производит на свет Сына, — не

противоположность Христа, но его хтоническое соответствие, не богочеловека, но сказочное существо, единообразное с сущностью Праматери. И как заданием горнего Сына является спасение человека (микрокосмоса), так назначение дольного Сына — быть «спасителем макрокосма» (т.е. мира стихий).

Вот в кратких чертах драматические события, которые разыграны в темных глубинах алхимии. Излишне было бы отмечать, что эти оба Сына никогда не соединялись, кроме как, может быть, в духе и в глубочайшем переживании некоторых немногих, особенно одаренных алхимиков. Но то, что «имело целью» это событие, понять не слишком трудно: вочеловечивание Бога по видимости было сближением мужского принципа отцовского мира с женским принципом материнского мира, благодаря чему последний ощущает побуждение уподобиться отцовскому миру. Это явно означало не более и не менее как попытку сглаживания противоречий для компенсации открытого конфликта.

Пусть читателя не смущает, что мое изложение звучит как гностический миф. Мы продвигаемся теперь в те психологические сферы, в которых коренится гносис. Выражение христианского символа — это гносис, а уж компенсация бессознательного — и подавно он. Мифологема есть самый что ни на есть подлинный язык этих психических процессов, и никакая рассудочная формулировка даже и приблизительно не в состоянии достичь полноты и выразительной силы мифического образа. Речь-то идет о праобразах, которые потому и передаются лучше всего и в самом подходящем виде образным языком.

Изображенный тут процесс обнаруживает все черты психологической компенсации. Маска бессознательного, ясное дело, не мертва, а отражает тот лик, который ему показывают. Враждебность придает ему угрожающий вид, а расположенность смягчает его черты. При этом речь идет не о простом оптическом отображении, но о самостоятельном ответе, который открывает автономную сущность того, кто отвечает. Так, «философский сын» (меркурий) — ни в коем разе не просто рефлекс Сына Божьего в негодной материи, а это сын Тиамат демонстрирует черты материнского праоблика. Хотя он явный гермафродит, у него все же мужское имя, и тем самым он выдает склонность к компромиссу отвергнутого духом и просто-напросто идентифицировавшегося со злом хтонического мира: он является, несомненно, уступкой духовному и мужскому, несмотря на то, что несет на себе тяжесть земли и баснословность звериного прасущества.

Этот ответ материнского мира показывает, что пропасть, отделяющая его от отцовского мира, не является непреодолимой, ибо бессознательное

содержит в себе зародыш единства обоих. Сущность сознания есть различие; оно должно, ради осознанности, разрывать противоположности, и притом противоестественно. В природе ищут себя противоположности — «крайности сходятся» — и так обстоит дело в бессознательном, особенно в архетипе единства, в самости. В нем, как и в божественном, противоположности снимаются. Но с манифестацией бессознательного начинается их раскол, как во время сотворения мира; ибо каждый акт осознания есть акт творения, и от этого психологического опыта происходят многоразличные космогонические символы.

В алхимии речь идет преимущественно о зародыше единства, который спрятан в хаосе Тиамат и образует соответствие единства божественного. Как и это единство, он имеет тринитарную природу в алхимии христианского толка и триадическую — в языческой алхимии. По другим мнениям, он соответствует единству четырех элементов и потому является четверичностью. Преобладающие большинство данных современной психологии говорит в пользу последнего. Те немногочисленные случаи в моих наблюдениях, которые давали число «три», характеризовались систематическим выпадением сознания, а именно неосознанием так называемой неполноценной функции. Тройка как раз не является естественным выражением целостности, в то время как четверка представляет минимум условий для суждения о целостности.

Тем не менее следует подчеркнуть, что наряду с явной склонностью алхимии (как и бессознательного) к четверичности существует без конца возникающая неопределенность между тремя и четырьмя. Уже в аксиоме Марии Профетиссы четверичность дается с оговорками и неточно. В алхимии имеется как четыре, так и три «метода», четыре и три цвета. Хотя всегда имеется четыре элемента, чаще три из них собраны вместе, а один — на особом положении: то это земля, то огонь. Хотя «четыреугольный» и «квадратный», но также и трехголовый змей, или просто триединство. Эта неопределенность указывает на «Как, Так И», т.е. центральные представления настолько же четверичны, насколько и троичны. Психолог не может без того, чтобы не сослаться на тот факт, что и психология бессознательного знакома с подобной ошеломляющей ситуацией: менее всего дифференцированная так называемая неполноценная функция таким образом контаминирована с коллективным бессознательным, что при осознании наряду с другими вызывает на свет и архетип самости, «Я — Единое четвертое», как говорит Мария. «Четыре» имеет значение женского, материнского, физического, «три» — мужского, отцовского, духовного. Неопределенность между Четверья и Тремя означает то же, что и

раскачивание между духовным и физическим: пример, говорящий в пользу того, что любая человеческая истина — предпоследняя.

Вначале я исходил из тотальности человека как той цели, к которой в психотерапевтическом процессе ведет в конце концов душевное развитие. Этот вопрос то и дело переплетается с мировоззренческими и религиозными предпосылками. Даже если пациент, как это частенько бывает, считает себя в этом отношении непредвзятым, такого рода предпосылка его мышления, его образа жизни, его морали и его языка обусловлены исторически вплоть до деталей, что нередко остается для него неосознанным — отчасти по недостатку образования, отчасти — из-за отсутствия самокритики. Анализ его ситуации поэтому рано или поздно приводит к просвечиванию его общих духовных предпосылок далеко за пределы личностных факторов, а тем самым разворачивается та проблематика, которую я пытался набросать на предыдущих страницах. На эту фазу процесса падает производство символов единства, так называемой мандалы, которые появляются или в снах, или в форме образных визуальных впечатлений в состоянии бодрствования, чаще всего как явственная компенсация противоречивости и конфликтности осознанной ситуации. Было бы, пожалуй, неправильно сказать, что зияние расщелины (Пшивара) в христианском мироустройстве несет за это ответственность; ведь легко показать, как христианская символика эту рану как раз врачует или старается уврачевать. Было бы, пожалуй, корректнее рассматривать эту неразрешенность конфликта как симптом психической ситуации западного человека и сетовать на его неспособность вместить в себя весь объем этого христианского символа. Как врач я не могу в этом отношении предъявлять пациенту требования; нет у меня и церковного лекарства благодати. Вследствие этого я оказываюсь лицом к лицу с задачей пройти единственно возможным для меня путем, а именно путем осознания тех архетипических образов, которые в определенном смысле соответствуют догматическим представлениям. При этом я должен предоставить моему пациенту самому принимать решение, как это соответствует его предпосылкам, его духовной зрелости, его образованию, его происхождению и его темпераменту, насколько это возможно без серьезных конфликтов. Как врач я вижу свою задачу в том, чтобы поддерживать жизнеспособность пациента. Поэтому я не имею права выносить приговор о его окончательных решениях, ибо я по опыту знаю, что любое принуждение, будь то легкая суггестия, или советы, или иные методы воздействия, не приносит в конце концов ничего, кроме помех высшему и самому главному переживанию, а именно пребыванию наедине со своей

самостью, или как там еще ни называй эту объективность души. Он должен быть один хотя бы уже для того, чтобы узнать, что его несет, когда он больше не может нести себя сам. Только это знание даст ему нерушимую опору.

Эту поистине нелегкую задачу я в любое время с радостью предоставил бы решать теологам, если бы многие из моих пациентов сами не были как раз из теологов. Они должны были бы остаться подвешенными в церковной общине, но слетели с великого древа как увядший лист и теперь подвешены на излечении [\[116\]](#). Что-то в них судорожно цепляется, часто с силой отчаяния, как будто они или «оно» повергнутся в ничто, если они не смогут повиснуть, ухватившись. Они ищут твердую опору, на которую они могли бы встать. Поскольку им не подходит поддержка извне, они, в конце концов, должны найти ее в себе самих, что, по их же признанию, как раз и есть самое невероятное с точки зрения разума, но что очень даже возможно с точки зрения бессознательного. Вот что нам открывается в архетипе «низкого происхождения Спасителя».

Путь к цели — поначалу хаотичный и непредвиденный, и только очень постепенно множится число целеуказующих знаков. Этот путь не прямолинейный, а, по всей видимости, циклический. Точное знание доказало, что это спираль: мотивы сновидений через некоторые промежутки все вновь возвращаются к определенным формам, которые своим характером указывают на центр. Речь идет именно о средоточии, или о центральном расположении, которое проявляется при известных условиях уже в первых сновидениях. Сновидения как манифестации бессознательных процессов вращаются или циркулируют вокруг середины и приближаются к ней со все более явственными и обширными амплификациями. Из-за многообразия символического материала поначалу трудно вообще увидеть здесь какой-нибудь порядок. Ведь никак не предполагается, что серии сновидений подчинены какому-то упорядочивающему принципу. При ближайшем рассмотрении ход развития обнаруживает себя как циклический, или спиралевидный. Можно провести параллель между такими спиралевидными движениями и процессами роста у растений, потому что ведь и растительный мотив (дерево, цветок и т.д.) тоже часто возвращается в таких сновидениях и фантазиях и тоже спонтанно изображается на рисунках. В алхимии дерево есть символ герметической философии.

Первое исследование в книге «Психология и алхимия» занимается серией сновидений, которая в изобилии содержит в себе символы середины или цели. Развитие этих символов, так сказать, равнозначно процессу

исцеления. Центр или цель имеет, таким образом, в собственном смысле слова значение спасения. Правомочность такой терминологии выявляется из самих сновидений; ибо они содержат в себе так много отношений к теме религиозных феноменов, что некоторые из них стали даже предметом моего исследования «Психология и религия». Мне кажется, не может быть сомнения в том, что относительно этих процессов речь идет о религиозно-творческих архетипах. Чем бы еще другим ни была религия, ее эмпирически постижимая, психическая часть, без сомнения, состоит в таких манифестациях бессознательного. Слишком долго муссировался, в сущности, неважный вопрос о том, являются ли утверждения религиозной веры истинными, или нет. Несмотря на то обстоятельство, что истинность метафизического утверждения никогда не может быть ни доказана, ни опровергнута, само по себе наличие такого утверждения является очевидным фактом, который не нуждается в дальнейших доказательствах, а если сюда присоединяется «согласие всех», то тем самым общезначимость высказывания доказана как раз в этом объеме. Постижим в этом смысле только психический феномен, в отношении которого категории объективной достоверности или истинности не подходят. С помощью рациональной критики с феноменом не покончишь, и в религиозной жизни речь идет о явлениях и фактах, а ни в коем разе не о дискутабельных гипотезах.

Диалектический разбор в процессе психического лечения последовательно ведет к очной ставке пациента с его Тенью — той темной половиной души, с которой то и дело разделялись посредством проекции: или тем, что навешивали на своего ближнего — в более узком или более широком смысле — все те пороки, в которых сами были очевидным образом повинны, или перекладывая свои грехи — посредством “*contritio*” (сокрушения) или, мягче, “*atritio*” (раскаяния) на божественного посредника [\[117\]](#). Но ведь известно, что без греха нет покаяния и без покаяния нет спасающей милости, даже что без «первородного греха» никогда не явился бы на сцену акт спасения мира. Однако усердно избегают исследовать вопрос о том, заключается ли особая воля Божья, соблюдать которую есть все основания, как раз в силе зла. Если, подобно целителям душ, имеют дело с людьми, которые стоят напротив своей чернейшей Тени, то зачастую ощущают себя вынужденными непосредственно принимать такое воззрение [\[118\]](#). Во всех случаях врач не может себе позволить столь же дешевым, сколь и морально возвышенным жестом указывать на скрижали закона с их «ты не должен». Ему следует

объективно проверять и взвешивать возможности; ибо он знает, меньше из религиозного воспитания и больше — из природы и опыта, что имеется нечто наподобие *felix culpa* (лат. «блажен виновный»). Он знает, что упускают не только свое счастье, но и свою основную вину, без которой человек не достигнет своей целостности. Последняя же есть харизма (греч. «благодать»), которую нельзя получить ни искусством, ни хитростью, в которую можно только врать, и появление и ход которой можно только претерпевать. Безусловно, ненормально, что человечество не едино, а состоит из индивидуумов, духовный характер которых оно распределяет на пространстве по меньшей мере 10 000 лет. Тогда, положительно, нет никакой истины, которая не означает для одних спасение, а для других — обольщение и яд. Всякий универсализм пребывает в этой жуткой дилемме. Выше я упоминал иезуитский пробабиллизм: он, как ничто другое, рисует чудовищную задачу церковной католичности [\[119\]](#). Даже самые благожелательные приходили по этому поводу в ужас; но в непосредственном столкновении с жизненной действительностью кое у кого уже пропали негодование или улыбка. Даже врач должен взвесить и обдумать, конечно, не в пользу церкви или против нее, но в пользу или не в пользу жизни и здоровья. На бумаге-то кодекс морали выглядит ясным и достаточно чистым, но тот же документ, написанный на «плотских скрижалях сердца», — жалкий клочок, и как раз в душах тех, которые шире всех разевали рот. Если уж повсюду возвещают: «Зло есть зло, мы осуждаем его без колебаний», то в индивидуальном случае зло — именно самое проблематичное, — то, что требует основательнейшего взвешивания.

Прежде всего заслуживает величайшего внимания вопрос: «Кто действует?» Ибо ответ на этот вопрос позволяет вынести окончательное решение о ценности деяния. Для общества, безусловно, важнее всего «Что» поступка, потому что оно непосредственно очевидно. На пристальный же взгляд, даже правильный поступок в руке мужа несправедного делается несчастием. Кто предусмотрителен, тот не обманется ни в правильном поступке несправедного, ни в неправильном поступке праведного. Поэтому целитель душ направляет свое внимание не на «Что», а на «Как» деяния, ибо в нем заключена вся подноготная совершившего деяние. Зло не меньше, чем добро, требует, чтобы его приняли во внимание; ибо добро и зло суть в конечном счете не что иное как идеальные продления и абстракции поступков, и оба принадлежат к светло—темной проявленности жизни. Ведь в конечном счете нет добра, из которого бы не могло выйти зла, и зла, из которого не могло бы выйти добра.

Очная ставка с темной половиной личности, с так называемой Тенью,

сама собой получается в любом мало-мальски основательном лечении. Эта проблема здесь так же важна, как проблема греха в церкви. Открытый конфликт неизбежен и мучителен. Меня уже частенько спрашивали: «И что Вы с этим делаете?» Я ничего не делаю; я вообще не могу ничего делать, как только с определенным доверием к Богу ожидать, пока из конфликта, выдержанного с терпением и мужеством, не получится неожиданная для меня концовка, которая суждена данному человеку. При этом я отнюдь не пассивен или бездеятелен, а помогаю пациенту понять все те вещи, которые производит бессознательное во все время этого конфликта. Можно мне верить, что это — вещи совсем необычные. Скорее, они принадлежат к самому значительному, что мне когда-либо приходилось видеть. Пациент тоже не бездеятелен; ведь ему надо поступать правильно, а именно, посылно не давать захлестнуть себя напору зла в себе. Ему нужно «оправдание делами»; ибо «оправдание верой» уже только пустой звук для него, как и для многих других. «Вера» может заменять отсутствующее переживание. В таких случаях и требуется поэтому реальное деяние. Христос воспекся о грешнике и не проклял его. Истинное подражание Христу — делать то же самое, и поскольку нельзя делать того, чего не сделал бы себе сам, то надо позаботиться о грешнике, который и есть ты сам. И так же как Христа не обвиняют, что он братался со злом, и себя не нужно упрекать в том, что любовь к грешнику, который есть ты сам, является дружественным соглашением со злом. Любовью улучшают, ненавистью ухудшают, в том числе и себя. Опасность этого воззрения — та же, что опасность подражания Христу; но праведный не даст застать себя врасплох в беседе с мытарем и блудницей. Я, по-видимому, должен подчеркнуть, что психология не изобрела ни христианства, ни “imitatio” Христа ^[120]. Я желаю всем, чтобы церковь сняла с них бремя их грехов. Но кому она не может сослужить эту службу, тот — в подражание Христу — должен очень низко нагнуться, чтобы взять на себя бремя своего креста. Античность умела помочь себе старинной греческой мудростью: «Ничего сверх меры; в правильной мере все благое». Но какая бездна отделяет нас от этого разума! Помимо моральной трудности существует также опасность, и немалая, которая особенно у патологически предрасположенных индивидуумов может вести к осложнениям. Это заключается в том факте, что содержания личного бессознательного (т.е. Тени) поначалу неразличимо совпадают с архетипическими содержаниями коллективного бессознательного, и при осознании Тени как бы тянут их с собой наверх. Посредством этого может получиться жуткое воздействие на сознание, ибо от оживления архетипов будет неуютно и самому трезвому

рационалисту (и как раз особенно ему). Он страшится именно низшей формы убеждения — суеверия, которое, как он полагает, ему навязывается. У таких людей это суеверие в своей подлинной форме проявляется, однако, только тогда, когда они патологичны, но не тогда, когда они могут сохранить устойчивость. В последнем случае оно проявляется тогда, например, в виде страха перед «сумасшествием». Ибо все, что современное сознание не может дефинировать, считается духовной болезнью.

Во всяком случае, надо сказать, что архетипические содержания коллективного бессознательного часто принимают в сновидениях и фантазиях гротескно—жутковатый вид. А от чрезмерной чувствительности к кошмарным сновидениям и от навязчивых страшных фантазий не застраховано даже самое рационалистическое сознание. Психологическое толкование этих образов, о которых невозможно не знать и которые невозможно замалчивать, логично ведет в глубины религиозно—исторической феноменологии. Ибо история религии в широчайшем смысле этого понятия (т.е. включая мифологию, фольклор и примитивную психологию) является кладезем архетипических образов, откуда врач может извлечь полезные параллели и поясняющие сравнения, предназначенные для умиротворения и просветления тяжело расстроенного в своих ориентациях сознания. Безусловно необходимо, так сказать, давать контекст всплывающим образам фантазий, которые выступают по отношению к сознанию как чуждые и даже угрожающие, для того чтобы подводить их ближе к пониманию. Это, как показывает опыт, лучше всего получается с помощью мифологического сравнительного материала.

Наш первый раздел дает большое количество таких примеров. Читателю особенно бросится в глаза тот факт, что существует больше чем достаточно взаимоотношений между индивидуальной символикой сновидений и средневековой алхимией. Ведь это не прерогатива изложенного случая, а всеобщий факт, который бросился мне в глаза лишь десять лет назад только потому, что я лишь тогда начал серьезно изучать образ мышления и символику алхимии.

Второе исследование в книге «Психология и алхимия» содержит введение в символику алхимии в ее отношении к христианству и гностицизму. В качестве просто введения оно, конечно, весьма далеко от полного изложения этой сложной и темной области, — а главный его предмет составляет параллель Христос — ляпис [\[121\]](#). Эта параллель, разумеется, дает повод для сравнения представлений о цели «Алхимического деяния» с центральными христианскими представлениями; ибо и то и другое имеет самое большое значение для

понимания и истолкования являющихся в сновидениях образов и для их психологического действия. Последнее важно для практики психотерапии, потому что нередко именно интеллигентнейшие и образованнейшие пациенты, для которых невозможно возвращение в церковь, соприкасаются с архетипическими материалами и тем задают врачу проблему, с которой чисто персоналистски—ориентированной психологии уже не совладать.

Знания только психических структур неврозов тоже ни в коем случае не достаточно; ибо как только процесс достигает сферы коллективного бессознательного, имеешь дело со здоровым материалом, а именно с универсальными основами индивидуально—изменчивой псьюхе. В понимании этих более глубоких слоев псьюхе нам помогают, с одной стороны, сведения по примитивной психологии, а с другой стороны, и в совершенно особенной мере, знание о непосредственно исторически предшествующих стадиях современного сознания. На одной стороне это — дух церкви, который породил сегодняшнее сознание, на другой же стороне — наука, в началах которой сокрыто многое, что не смогло быть принято церковью. Это по преимуществу остатки античного духа и античного ощущения природы, которые были неискоренимы и в конце концов нашли себе убежище в средневековой натурфилософии. В качестве «Духа металлов» и астрологических компонентов судьбы древние планетные боги пережили многие христианские столетия [\[122\]](#).

В то время как в церкви возрастающее разделение обряда и догмы удаляло сознание от его естественной укорененности в бессознательном, алхимия и астрология непрерывно занимались тем, чтобы не дать рухнуть мостам, ведущим вниз, к природе, т.е. к бессознательной душе. Астрология упорно вела сознание назад, к познанию зависимости характера и судьбы от определенных моментов времени, а алхимия вновь и вновь давала повод к проецированию тех архетипов, которые не могли без трений вписаться в христианский процесс. Хотя алхимия, с одной стороны, постоянно приближалась к границам ереси и была запрещена церковью; но, с другой стороны, она пользовалась действенной защитой темноты своей символики, которая в любое время могла быть выдана за невинный аллегоризм. Этот аллегорический аспект для многих алхимиков, несомненно, стоял на переднем плане постольку, поскольку они были твердо убеждены в том, что следует иметь дело только с химическими телами. Но всегда находились некоторые, для которых при работе в лаборатории был важен символ и его психическое действие. Как показывают тексты, они отдавали себе в этом отчет, и притом до такой степени, что воротили нос от наивных делателей золота как от лжецов,

обманщиков и обманутых. Свою позицию они возвещали такими положениями, как «Золото наше не есть золото толпы» [\[123\]](#). Хотя их занятия веществом и были серьезным усилием проникнуть в сущность химических превращений; но одновременно они были также — и часто в преобладающей степени — отражением параллельно протекающего психического процесса, который тем легче может проецироваться на незнакомую химию вещества, что этот процесс есть бессознательное природное событие — точно так же, как таинственное изменение вещества. Наброшенная выше проблематика процесса становления личности, так называемого процесса индивидуации, и есть то, что выражается в алхимической символике.

В то время как великое стремление церкви есть “*imitatio Christi*”, алхимик, сам того ясно не осознавая или совсем не желая, оказывается во власти бессознательных, данных от природы предпосылок своего духа и сущности, в одиночестве и темной проблематике своего дела, потому что он ведь нигде не может опереться на ясные и недвусмысленные примеры, как христианин. Авторы, которых он штудирует, снабжают его символами, чей смысл он стремится понимать на свой манер, а в действительности они затрагивают и возбуждают его бессознательное. Алхимики, иронизируя над собой, выдумали словцо “*obscurum per obscurius*” (лат. «темное понимать через еще более темное»). Этим методом они предаются как раз именно тому процессу, от которого церковь стремилась их спасти, предлагая им в своих догматических формулировках аналогии именно этого процесса, которые в полную противоположность алхимии были оторваны от природной взаимосвязи посредством прикрепленности к историческому облику Спасителя. Это единство Четверки, это философское золото, этот «Краеугольный камень» [\[124\]](#), эта «Божественная вода» (философский Меркурий) были в церкви четырехручным крестом, на котором Единородный принес себя в жертву — один раз исторически и одновременно на все времена. Алхимики — в нецерковной форме — предпочитали поиск посредством познания найденному через веру, хотя они как люди средневековые казались себе не кем иными как добрыми христианами. Парацельс в этом отношении — школьный пример. Но в действительности у них выходило так, как выходит у современного человека, который предпочитает — или по необходимости должен предпочитать — индивидуальный праопыт вере в традиционный образ. Догма — не исключительно произвольное изобретение или однократное чудо, как она изображается с недвусмысленной целью изъятия из

природной взаимосвязи. Центральные христианские представления коренятся в той гностической философии, которая должна была развиваться по психологическим законам в то время, в которое классические религии становятся неупотребительными. Она базируется на восприятии символов бессознательного процесса индивидуации, который вводится в действие всегда, когда господствующие в человеческой жизни коллективные представления верхнего слоя оказываются разрушенными. В такое время непременно имеется изрядное количество индивидуумов, которые в более высокой степени одержимы нуминозными архетипами, выступающими на поверхность, чтобы образовать новые доминанты. Эта одержимость выражается, так сказать, исключительно в том факте, что одержимые идентифицируют себя со своими содержаниями и, понимая навязанную им роль не как действие новых содержаний, которые еще только должны быть познаны, образцово воплощают их в своей жизни, почему и становятся пророками и реформаторами. Поскольку архетипическое содержание христианской драмы было в состоянии удовлетворительно выразить встревоженное и толкающееся бессознательное многих, это «согласие всех» возвысилось до общеобязательной истины, конечно, не посредством суждения, а посредством много более действенной иррациональной одержимости. Тем самым Иисус стал амулетом против тех архетипических сил, которые грозят каждому быть одержимым ими. Благая весть возвестила: «Это случилось, но это больше не случится с вами, покуда веруете в Иисуса, Сына Божьего!» Но это могло случиться, это может случиться и это сможет случиться со всяким, поскольку христианская доминанта для него рушится. Поэтому всегда были люди, которые тайно и на окольных путях, к своей гибели и к своему спасению, не удовлетворялись доминантой сознательной жизни, а, помня о том праопыте, искали вечные корни и, следуя чарам встревоженного бессознательного, отправлялись в ту пустынь, где они, как Иисус, сталкивались с Сыном мрака. Так молится один алхимик: «Очисти умы наши от ужасных теней, зажги свет в мыслях!» Здесь хорошо ощутим опыт «нигрето» [\[125\]](#), первой стадии алхимического деяния, который переживался как «меланхолия» [\[126\]](#) и психологически соответствует встрече с Тенью.

Когда современная психология снова сталкивается с воскрешенными архетипами коллективного бессознательного, то тем самым повторяется тот феномен, который хотя и наблюдался чаще во времена великих религиозных переворотов, но который проявляется и у индивидуума,

поскольку господствующие представления верхнего слоя для него больше ничего не значат. Пример этому — изображенное в «Фаусте» «сошествие в преисподнюю», которое, осознанно или бессознательно, равнозначно «алхимическому деянию» [\[127\]](#).

Вызванная к бытию Тенью проблематика противоположного играет в алхимии большую и решающую роль — ведь она по ходу алхимического деяния ведет в конечном счете к объединению противоположностей в архетипической форме священного брака, а именно «химической свадьбы». В ней крайние противоположности в облике мужского и женского (как в китайских Ян и Инь) сплавляются в единство, которое больше не содержит в себе противоположностей, а потому неразложимо. Предпосылкой этого является, конечно, то, что «творец» (т.е. адепт-алхимик) не идентифицирует себя с образами «деяния», а оставляет их в объективной имперсональной форме. Покуда алхимия неутомимо трудилась в лаборатории над деянием, она ощущала себя душевно благополучной. Ибо покуда было так, у алхимика не было никакой причины идентифицировать себя со всплывающими архетипами, поскольку последние всем скопом проецировались на химическое вещество. Изъян этой ситуации состоял, разумеется, в том, что алхимик был обязан представлять неразложимую субстанцию как химическое тело, что было предприятием безнадежным, в котором лабораторная алхимия в конце концов почилла и уступила место химии [\[128\]](#). Но душевная часть деяния не исчезла, а вызвала к жизни новые интерпретации, как мы видим на примере «Фауста» и по многозначительному отношению современной психологии бессознательного к алхимической символической.

Об отношении аналитической психологии к поэтико—художественному творчеству

Этот доклад К.Г. Юнга был прочитан им в мае 1922 г. на собрании цюрихского Общества немецкого языка и литературы. Перевод выполнен В. В. Бибихиным, сверен А. В. Михайловым.

Необходимость говорить об отношениях аналитической психологии к поэтико—художественному творчеству, при всей трудности задачи, — для меня желанный повод изложить свою точку зрения по нашедшей проблеме границ между психологией и искусством. Бесспорно одно: две эти области, несмотря на свою несоизмеримость, теснейшим образом связаны, что сразу же требует их размежевания. Их взаимосвязь покоится на том обстоятельстве, что искусство в своей художественной практике есть психологическая деятельность, и в качестве таковой может и должно быть подвергнуто психологическому рассмотрению: под названным углом зрения оно наравне с любой другой диктуемой психическими мотивами человеческой деятельностью оказывается предметом психологической науки. С другой стороны, однако, утверждая это, мы тем самым весьма ощутимым образом ограничиваем приложимость психологической точки зрения: только та часть искусства, которая охватывает процесс художественного образотворчества, может быть предметом психологии, а никоим образом не та, которая составляет собственное существо искусства; эта вторая его часть наряду с вопросом о том, что такое искусство само по себе, может быть предметом лишь эстетически-художественного, но не психологического способа рассмотрения.

Аналогичное разграничение нам приходится проводить и в области религии: там психологическое исследование тоже ведь может иметь место только в аспекте эмоциональных и символических феноменов религии, что существа религии никоим образом не касается и коснуться не может. Будь такое возможным, не только религия, но и искусство считались бы подразделом психологии. Я ничуть не собираюсь тут отрицать, что подобные вторжения в чужую область фактически имеют место. Однако практикующий их явно упускает из виду, что столь же просто можно было бы разделаться и с психологией, свести к нулю ее неповторимую ценность

и ее собственное существо, рассмотрев ее как простую деятельность серого вещества мозга наряду с другими видами деятельности желез внутренней секреции в рамках известного подраздела физиологии. Да такое, как всем известно, уже и случалось. Искусство в своем существе — не наука, а наука в своем существе — не искусство; у каждой из этих двух областей духа есть свое неприступное средоточие, которое присуще только ей, и может быть объяснено только само через себя. Вот почему, говоря об отношении психологии к искусству, мы имеем дело только с той частью искусства, которую в принципе можно без натяжек подвергнуть психологическому разбору; и к чему бы ни пришла психология в своем анализе искусства, все ограничится психическим процессом художественной деятельности, без того, что будут затронуты интимнейшие глубины искусства: затронуть их для психологии так же невозможно, как для разума — воспроизвести или хотя бы уловить природу чувства. Что говорить! Наука и искусство вообще не существовали бы как две отдельные сущности, если бы их принципиальное различие не говорило само за себя. Тот факт, что у маленького ребенка еще не разыгрался «спор факультетов» и его художественные, научные и религиозные возможности еще дремлют в спокойной рядоположности, или тот факт, что у первобытных людей элементы искусства, науки и религии еще сосуществуют в нераздельном хаосе магической ментальности, или, наконец, тот факт, что у животного вообще не наблюдается никакого «духа», а есть один голый «природный инстинкт», — все эти факты ровно ничего не говорят в пользу изначального сущностного единства искусства и науки, а лишь такое единство могло бы обосновать их взаимное поглощение или редуцирование одного к другому. В самом деле, прослеживая в ретроспективном порядке ход духовного развития вплоть до полной изначальной неразличимости отдельных духовных сфер, мы приходим вовсе не к познанию их глубокого изначального единства, а просто к исторически более раннему состоянию недифференцированности, когда еще не существовало ни одного, ни другого. Но такое стихийно—элементарное состояние вовсе не есть начало, из которого можно было бы заключать о природе позднейших и более высокоразвитых состояний, пусть даже они непосредственным образом, как оно всегда бывает, происходят из того единства. Для научно—методологической установки всегда естественно пренебрегать сущностной дифференциацией в пользу причинно—следственной дедукции и стремиться к подчинению разнообразия универсальным, хотя бы и чересчур элементарным понятиям.

Именно сегодня эти соображения кажутся мне особенно уместными:

ведь за последнее время мы не раз видели, как именно поэтико—художественное творчество интерпретировалось таким путем редуцирования к более элементарным психическим ситуациям [\[129\]](#). Черты художественного творчества, отбор материала и индивидуальную разработку последнего можно, конечно, попытаться объяснить интимным отношением художника к своим родителям, но наше понимание его искусства ничуть не станет после этого глубже. В самом деле, подобную редукцию можно провести и во всевозможных других случаях, включая не в последнюю очередь болезненные нарушения психики: неврозы и психозы, равно как хорошие и дурные привычки, убеждения, особенности характера, увлечения, специфические интересы тоже ведь редуцируются к отношениям, существовавшим у ребенка с родителями. Но нельзя допустить, чтобы все эти очень разные вещи имели, так сказать, одно и то же объяснение, иначе легко докатиться до вывода, будто перед нами одна и та же вещь. Если произведение искусства истолковывать как невроз, то либо произведение искусства — определенный невроз, либо всякий невроз — произведение искусства. Можно принять такой способ выражения в качестве парадоксальной игры слов, но здравый человеческий рассудок противится и не хочет, чтобы художественное творчество ставили на одну доску с неврозом. В крайнем случае какой-нибудь врач-психоаналитик через очки профессионального предрассудка станет видеть в неврозе художественное произведение, но думающему человеку с улицы никогда не придет в голову смешивать патологию с искусством, хотя он не сможет отрицать того факта, что художественное произведение возникает в условиях, сходных с условиями возникновения невроза. Но это и естественно, коль скоро известные психологические условия повсеместно имеют силу, причем — ввиду относительного равенства обстоятельств человеческой жизни — мы каждый раз снова и снова встречаем одно и то же, идет ли речь о неврозе ученого, поэта или обычного человека. Все ведь имели родителей, у всех так называемый материнский и отцовский комплекс, всем присуща сексуальность и с нею те или иные типические общечеловеческие проблемы. Если на одного поэта больше повлияло его отношение к отцу, на другого — его привязанность к матери, а третий, может быть, обнаруживает в своих произведениях явные следы сексуального вытеснения, то ведь подобные вещи можно говорить о всех невротиках, и больше того, о всех нормальных людях. Мы не приобретаем здесь ровно ничего специфического для суждения о художественном произведении. В лучшем случае таким путем расширится и углубится знание истории его возникновения.

Основанное Фрейдом направление медицинской психологии дало историкам литературы много новых поводов к тому, чтобы приводить известные особенности индивидуального художественного творчества в связь с личными, интимными переживаниями художника. Это ни в коем случае не должно заслонять от нас того факта, что в ходе научного анализа поэтико—художественного творчества давно уже прослежены определенные нити, которыми — целенаправленно или намеренно — личные, интимные переживания художника вплетаются в его произведения. Вместе с тем работы Фрейда помогают иногда глубже и полнее проследить влияние на художественное творчество переживаний, восходящих к самому раннему детству. При умеренном, со вкусом, применении его методов нередко вырисовывается завораживающая картина того, как художественное творчество, с одной стороны, переплетено с личной жизнью художника, а с другой — все-таки возвышается над этим переплетением. В этих пределах так называемый «психоанализ» художественного произведения, по сути дела, еще нисколько не отличается от глубокого и умело нюансированного литературно—психологического анализа. Разница в лучшем случае количественная. Но иногда психоанализ приводит нас в замешательство нескромностью своих заключений и замечаний, которые при более человеческом подходе были бы опущены уже из одного чувства такта. Этот недостаток благоговения перед «человеческим, слишком человеческим» как раз и является профессиональной особенностью медицинской психологии [\[130\]](#), которая, как справедливо подметил уже Мефистофель, «не за страх» «хозяйничает без стыда» там, где «жаждет кто-нибудь года» [\[131\]](#), — но, к сожалению, это не всегда делает ей честь. Возможность делать смелые выводы легко соблазняет исследователя на рискованные шаги. «Скандалная хроника» в малых дозах часто составляет соль биографического очерка, двойная порция ее — это уже грязное вынюхивание и подсматривание, крушение хорошего вкуса под покровом научности. Интерес исподволь отвлекается от художественного творчества и блуждает по путаному лабиринту нагромождаемых друг на друга психических предпосылок, а художник превращается в клинический случай, в рядовой пример «сексуальной психопатии». Тем самым психоанализ художественного произведения далеко отклоняется от своей цели, и рассмотрение переносится в область общечеловеческую, для художника ни в малейшей мере не специфическую, а для его искусства крайне несущественную.

Анализ такого рода не дорастает до художественного произведения, он

остается в сфере общечеловеческой психики, из которой может возникнуть не только произведение искусства, но и вообще все что угодно. На этой почве выносятся донельзя плоские суждения о художественном творчестве как таковом, вроде тезиса: «Каждый художник — нарцисс». Да всякий, кто в меру возможного проводит свою линию, — «нарцисс» [\[132\]](#), если вообще позволительно употреблять это созданное для ограниченных целей понятие из области патологии неврозов в столь широком смысле; подобный тезис ничего поэтому не говорит, а только шокирует наподобие какого-нибудь острого словца. Поскольку анализ такого рода вовсе не занят художественным произведением, а стремится лишь как можно глубже зарыться, подобно кроту на задворках, в недра личности, то он постоянно увязает в одной и той же общей для всех нас почве, держащей на себе все человечество, и не случайно добываемые на этом пути объяснения поражают своей монотонностью: все то же самое, что слышишь в часы приема у врача-психоаналитика.

Редукционистский метод Фрейда — метод именно медицинского лечения, имеющего объектом болезненную и искаженную психологическую структуру. Эта болезненная структура занимает место нормального функционирования и должна быть поэтому разрушена, чтобы освободить путь к здоровой адаптации. В таком случае сведение рассматриваемых явлений к общечеловеческой почве вполне оправданно. Но в применении к художественному творчеству тот же метод ведет к уже описанным результатам: сдергивая с художественного произведения сияющую мантию искусства, он извлекает для себя лишь голую повседневность элементарного — вида живых существ, к которому принадлежит и художник. Золотое сияние высокого творчества, о котором, казалось бы, только и должна была бы идти речь, меркнет после его обработки тем медицинским методом, каким анализируют обманчивую фантазию истерика. Подобный разбор, конечно, очень интересен и, пожалуй, имеет не меньшую научную ценность, чем вскрытие мозга Ницше, показавшее, от какой нетипической формы паралича он умер. Но и только. Разве это имеет какое-то отношение к «Заратустре» [\[133\]](#)? Какими бы ни были второй план и подпочва творчества, разве «Заратустра» — не цельный и единый мир, выросший по ту сторону «человеческой, слишком человеческой» слабости, по ту сторону мигреней и атрофии мозговых клеток?

До сих пор я говорил о фрейдовском методе редукции, не вдаваясь в подробности этого метода. Речь идет о медицинско—психологической

технике обследования психических больных. Она всецело занята путями и способами, с помощью которых можно было бы дойти до второго плана психики, ее подкладки, до так называемого бессознательного. Техника эта зиждется на допущении, что невротический больной вытесняет определенные психические содержания ввиду их несочетаемости (несоединимости) с сознанием. Несочетаемость эта мыслится как нравственная, а вытесненные психические содержания должны соответственно носить негативный — инфантильно—сексуальный, непристойный или даже преступный характер, из-за которого они предстают для сознания неприемлемыми. Поскольку идеальных людей нет, у всех есть такой второй план сознания, независимо от того, способны они это признать или нет. Его можно обнаружить поэтому всегда и везде, достаточно лишь применить разработанную Фрейдом технику интерпретации.

В рамках ограниченного по времени сообщения я, естественным образом, не могу вдаваться в подробности техники такой интерпретации. Мне придется поэтому довольствоваться лишь несколькими пояснениями. Бессознательный второй план не остается бездейственным, он дает о себе знать, специфически влияя на содержание сознания. К примеру, он производит продукты фантазии своеобразного свойства, которые иногда нетрудно свести к тем или иным подспудным сексуальным представлениям. В других случаях он вызывает характерные нарушения сознательных процессов, которые путем редуцирования тоже можно проследить вплоть до вытесненных содержаний сознания. Очень важный источник для выявления бессознательных содержаний — сновидения, непосредственный продукт деятельности бессознательного.

Суть фрейдовского метода редукиции в том, что он группирует все признаки бессознательной «подпочвы», бессознательного второго плана, и путем их анализа и истолкования реконструирует элементарную структуру бессознательных влечений. Содержания сознания, заставляющие подозревать присутствие бессознательного фона, Фрейд неоправданно называет «символами», тогда как в его учении они играют роль просто знаков или симптомов подспудных процессов, а никоим образом не роль подлинных символов; последние надо понимать как выражение для идеи, которую пока еще невозможно обрисовать иным или более совершенным образом. Когда Платон, например, выражает всю проблему гносеологии в своем символе пещеры [\[134\]](#), или когда Христос излагает понятие Царства Божия в своих притчах, то это — подлинные и нормальные символы, а именно попытки выразить вещи, для которых еще не существует

словесного понятия. Если бы мы попытались истолковывать платоновский образ по Фрейду, то, естественно, пришли бы к материнскому чреву и констатировали бы, что даже дух Платона еще глубоко погружен в изначальную и, больше того, инфантильно—сексуальную стихию. Но зато мы совершенно не заметили бы, что Платону удалось творчески создать из общечеловеческих предпосылок в своих философских созерцаниях; мы поистине слепо прошли бы у него мимо самого существенного, и единственно лишь открыли бы, что, подобно всем другим нормальным смертным, он имел инфантильно—сексуальные фантазии. Подобная констатация имела бы ценность только для того, кто, положим, всегда считал Платона сверхчеловеческим существом, а теперь вот может с удовлетворением заключить, что даже Платон — человек. Кто, однако, вздумал бы считать Платона богом? Разве что, пожалуй, человек, находящийся под властью инфантильных фантазий и, таким образом, обладающий невротической ментальностью. Редуцировать фантазии невротика к общечеловеческим истинам полезно по медицинским соображениям. К смыслу платоновского символа это не будет иметь ни малейшего отношения.

Я намеренно задержался подольше на отношении врачебного психоанализа к художественному произведению, и именно потому, что этот род психоанализа является вместе и доктриной Фрейда. Из-за своего окаменелого догматизма Фрейд сам много сделал для того, чтобы две в своей основе очень разные вещи публика сочла тождественными. Его технику можно с успехом прилагать к определенным случаям медицинской практики, не поднимая ее в то же время до статуса доктрины. Против его доктрины как таковой мы обязаны выдвинуть самые энергичные возражения. Она покоится на произвольных предпосылках. Ведь, к примеру сказать, неврозы вовсе не обязательно опираются только на сексуальное вытеснение; точно так же и психозы. Сны вовсе не содержат в себе одни лишь несочетаемые, вытесненные желания, вуалируемые гипотетической цензурой сновидений. Фрейдовская техника интерпретации в той мере, в какой она находится под влиянием его односторонних, а потому ложных гипотез, вопиюще произвольна.

Чтобы отдать должное художественному творчеству, аналитическая психология должна совершенно покончить с медицинским предрассудком, потому что художественное творчество не болезнь и, тем самым, требует совсем другой, не врачебно—медицинской ориентации. Если врач, естественно, обязан проследить причины болезни, имея целью в меру возможного вырвать ее с корнем, то психолог столь же естественным

образом должен подходить к художественному произведению с противоположной установкой. Он не станет поднимать лишний для художественного творчества вопрос об общечеловеческих обстоятельствах, несомненно окружающих его создание, а будет спрашивать о смысле произведения, и исходные условия творчества заинтересуют его, лишь поскольку они значимы для понимания искомого смысла. Каузальная обусловленность личностью [\[135\]](#) имеет к произведению искусства не меньше, но и не больше отношения, чем почва — к вырастающему из нее растению. Разумеется, познакомившись со свойствами места его произрастания, мы начнем понимать некоторые особенности растения. Для ботаника здесь даже заключен важный компонент его познаний. Но никто не вздумает утверждать, что таким путем мы узнаем все самое существенное о растении. Установка на личностное, провоцируемая вопросом о личных побудительных причинах творчества, совершенно неадекватна произведению искусства в той мере, в какой произведение искусства не человек, а нечто сверхличное. Оно — такая вещь, у которой нет личности и для которой личное не является поэтому критерием. И особенный смысл подлинного произведения искусства как раз в том, что ему удастся вырваться на простор из теснин и тупиков личностной сферы, оставив далеко позади всю временность и недолговечность ограниченной индивидуальности.

Мой собственный опыт заставляет меня признать, что для врача бывает не так уж легко снять перед художественным произведением профессиональные очки и обойтись в своем взгляде на вещи без привычной биологической каузальности. С другой стороны, я убедился, что как бы ни было оправдано применение биологически ориентированной психологии к среднему человеку, она не годится для художественного произведения и, тем самым, для человека в качестве творца. Психология, верная идее чистой каузальности, невольно превращает каждого человеческого субъекта в простого представителя вида *homo sapiens*, потому что для нее существуют только следствия и производные. Но произведение искусства — не следствие и не производная величина, а творческое преобразование как раз тех условий и обстоятельств, из которых его хотела бы закономерно вывести каузалистская психология. Растение — не просто продукт почвы, а еще и самостоятельный живой творческий процесс, сущность которого не имеет никакого отношения к строению почвы. Художественное произведение надо рассматривать как образотворчество, свободно распоряжающееся всеми своими исходными условиями. Его смысл, его специфическая природа покоятся в нем самом, а

не во внешних условиях; можно было бы, пожалуй, даже говорить, что оно есть самосушность, которая употребляет человека и его личные обстоятельства просто в качестве питательной среды, распоряжается его силами в согласии с собственными законами и делает себя тем, чем само хочет стать.

Однако я забегаю тут вперед, заведя речь об одном особенном роде художественных произведений — о роде, который мне надо сначала представить. Дело в том, что не всякое художественное произведение создается при такой пассивности своего создателя. Существуют вещи и стихотворного и прозаического жанра, возникающие целиком из намерения и решимости их автора достичь с их помощью того или иного воздействия. В этом последнем случае автор подвергает свой материал целенаправленной сознательной обработке, сюда что-то добавляя, отсюда отнимая, подчеркивая один нюанс, затушевывая другой, нанося здесь одну краску, там другую, на каждом шагу тщательнейше взвешивая возможный эффект и постоянно соблюдая законы прекрасной формы и стиля. Автор пускает в ход при такой работе всю силу своего суждения и выбирает свои выражения с полной свободой. Его материал для него — всего лишь материал, покорный его художественной воле: он хочет изобразить вот это, а не что-то другое. В подобной деятельности художник совершенно идентичен творческому процессу независимо от того, сам он намеренно поставил себя у руля, или творческий процесс так завладел им как инструментом, что у него исчезло всякое сознание этого обстоятельства. Он сам и есть свое собственное творчество, весь целиком слился с ним, погружен в него со всеми своими намерениями и всем своим умением. Мне едва ли нужно приводить здесь примеры из истории литературы или из признаний поэтов и писателей.

Несомненно, я не скажу ничего нового, заведя речь и о другом роде художественных произведений, которые текут из-под пера их автора как нечто более или менее цельное и готовое, и выходят на свет божий в полном вооружении, как Афина Паллада из головы Зевса. Произведения эти буквально навязывают себя автору, как бы водят его рукой, и она пишет вещи, которые ум его созерцает в изумлении. Произведение приносит с собой свою форму; что он хотел бы добавить от себя — отбрасывается, а чего он не желает принимать, то появляется наперекор ему. Пока его сознание безвольно и опустошенно стоит перед происходящим, его захлестывает потоп мыслей и образов, которые возникли вовсе не по его намерению и которые его собственной волей никогда не были бы вызваны к жизни. Пускай неохотно, но он должен признать, что во всем этом через него

прорывается голос его самости [\[136\]](#), его сокровенная натура проявляет сама себя и громко заявляет о вещах, которые он никогда не рискнул бы выговорить. Ему осталось лишь повиноваться и следовать, казалось бы, чуждому импульсу, чувствуя, что его произведение выше его и потому обладает над ним властью, которой он не силах перечить. Он не тождествен процессу образотворчества; он сознает, что стоит ниже своего произведения или, самое большее, рядом с ним — словно подчиненная личность, попавшая в поле притяжения чужой воли.

Говоря о психологии художественного произведения, мы должны прежде всего иметь в виду эти две совершенно различные возможности его возникновения, потому что многие очень важные для психологического анализа вещи зависят от описанного различия. Уже Шиллером та же противоположность ощущалась, и он пытался зафиксировать ее в известных понятиях сентиментального и наивного. Выбор таких выражений продиктован, надо думать, тем обстоятельством, что у него перед глазами была в первую очередь поэтическая деятельность. На языке психологии первый тип мы называем интровертивным, а второй — экстравертивным. Для интровертивной установки характерно утверждение субъекта с его осознанными намерениями и целями в противовес притязаниям объекта; экстравертивная установка отмечена, наоборот, покорностью субъекта перед требованиями объекта. Драмы Шиллера, равно как и основная масса его стихов, на мой взгляд, дают неплохое представление об интровертивном подходе к материалу. Поэт целенаправленно овладевает материалом. Хорошей иллюстрацией противоположной установки служит «Фауст», 2-я часть. Здесь заметна упрямая непокорность материалу. А еще более удачным примером будет, пожалуй, «Заратустра» Ницше, где, как выразился сам автор, одно стало двумя [\[137\]](#).

Наверное, сам характер моего изложения дает почувствовать, как сместились акценты нашего психологического анализа, как только я взялся говорить уже не о художнике как личности, а о творческом процессе. Весь интерес сосредоточился на этом последнем, тогда как первый входит в рассмотрение, если можно так выразиться, лишь на правах реагирующего объекта. Там, где сознание автора уже не тождественно творческому процессу, это ясно само собой, но в первом из описанных нами случаев на первый взгляд имеет место противоположное: автор, по-видимому, есть вместе с тем и создатель, строящий свое произведение из свободно отбираемого материала без малейшего насилия со стороны. Он, возможно,

сам убежден в своей полной свободе, и вряд ли захочет признаться, что его творчество не совпадает с его волей, не коренится исключительно в ней и в его способностях.

Здесь мы сталкиваемся с вопросом, на который вряд ли сможем ответить, положившись лишь на то, что сами поэты и художники говорят нам о природе своего творчества, ибо речь идет о проблеме научного свойства, на которую нам способна дать ответ только психология. В самом деле, вовсе не исключено (как, впрочем, я немножко уже и намекал), что даже тот художник, который творит, по всей видимости, сознательно, свободно распоряжаясь своими способностями и создавая то, что хочет, при всей кажущейся сознательности своих действий настолько захвачен творческим импульсом, что просто не в силах представить себя желающим чего-то иного, — совершенно наподобие того, как художник противоположного типа не в состоянии непосредственно ощутить свою же собственную волю в том, что предстает ему в виде пришедшего извне вдохновения, хотя с ним явственно говорит здесь его собственная самость. Тем самым убеждение в абсолютной свободе своего творчества, скорее всего, просто иллюзия сознания: человеку кажется, что он плывет, тогда как его уносит невидимое течение.

Наша догадка вовсе не взята с потолка, она продиктована опытом аналитической психологии, в своих исследованиях обнаружившей множество возможностей для бессознательного не только влиять на сознание, но даже управлять им. Поэтому догадка наша оправдана. Где же, однако, мы почерпнем доказательства того, что и сознательно творящий художник тоже может находиться в плену у своего создания? Доказательства здесь могут быть прямого или косвенного свойства. К прямым доказательствам следовало бы причислить случаи, когда художник, намереваясь сказать нечто, более или менее явственно говорит больше, чем сам осознает; подобные случаи вовсе не редкость. Косвенными доказательствами можно считать случаи, когда над кажущейся свободой художественного сознания возвышается неумолимое «должно», властно заявляющее о своих требованиях при любом произвольном воздержании художника от творческой деятельности, или когда за невольным прекращением такой деятельности сразу же следуют тяжелые психические осложнения.

Практический анализ психики художников снова и снова показывает, как силен прорывающийся из бессознательного импульс художественного творчества, и в то же время — насколько он своенравен и своеволен. Сколько биографий великих художников говорят о таком порыве к

творчеству, который подчиняет себе все человеческое и ставит его на службу своему созданию даже за счет здоровья и обычного житейского счастья! Неродившееся произведение в душе художника — это стихийная сила, которая прокладывает себе путь либо тиранически и насильственно, либо с той неподражаемой хитростью, с какой умеет достигать своих целей природа, не заботясь о личном благе или горе человека — носителя творческого начала. Творческое живет и произрастает в человеке, как дерево в почве, из которой оно забирает нужные ему соки. Нам поэтому неплохо было бы представлять себе процесс творческого созидания наподобие некоего произрастающего в душе человека живого существа. Аналитическая психология называет это явление автономным комплексом, который в качестве обособившейся части души ведет свою самостоятельную, изъятую из иерархии сознания психическую жизнь и, сообразно своему энергетическому уровню, своей силе, либо проявляется в виде нарушения произвольных направленных операций сознания, либо, в иных случаях, на правах вышестоящей инстанции мобилизует Я на службу себе. Соответственно художник, отождествляющий себя с творческим процессом, как бы заранее говорит «да» при первой же угрозе со стороны бессознательного «должно». А другой, кому творческое начало предстает чуть ли не посторонним насилием, не в состоянии по тем или другим причинам сказать «да», и потому императив захватывает его врасплох.

Следовало бы ожидать, что неоднородность процесса создания должна сказываться на произведении. В одном случае речь идет о преднамеренном, сознательном и направленном творчестве, обдуманном по форме и рассчитанном на определенное желаемое воздействие. В противоположном случае дело идет, наоборот, о порождении бессознательной природы, которое является на свет без участия человеческого сознания, иногда даже наперекор ему, своенравно навязывает ему свои собственные форму и воздействие. В первом случае следовало бы соответственно ожидать, что произведение нигде не переходит границ своего сознательного понимания, что оно более или менее исчерпывается пределами своего замысла и говорит ничуть не больше того, что было заложено в него автором. Во втором случае вроде бы следует ориентироваться на что-то сверхличностное, настолько же выступающее за силовое поле сознательно вложенного в него понимания, насколько авторское сознание отстранено от саморазвития произведения. Здесь естественно было бы ожидать странных образов и форм, ускользающей мысли, многозначности языка, выражения которого приобретают весомость подлинных символов, поскольку наилучшим возможным образом обозначают еще неведомые вещи и служат

мостами, переброшенными к невидимым берегам. Так оно в общем и целом и получается. Всякий раз, когда идет речь о заведомо сознательной работе над расчетливо отбираемым материалом, есть возможность наблюдать свойства одного из двух вышеназванных типов; то же надо сказать и о втором случае. Уже знакомые нам примеры шиллеровских драм, с одной стороны, и второй части «Фауста» или, еще лучше, «Заратустры», с другой, могли бы послужить иллюстрацией к сказанному. Впрочем, сам я не стал бы сразу настаивать на зачислении произведений неизвестного мне художника в тот или другой класс без предварительного и крайне основательного изучения личного отношения художника к своему созданию. Даже зная, что художник принадлежит к интровертивному или экстравертивному психическому типу, еще недостаточно, потому что для обоих типов есть возможность вставать то в экстравертивное, то в интровертивное отношение к своему творчеству. У Шиллера это особенно проявляется в отличии его поэтической продукции от философской, у Гёте — в различии между легкостью, с какой дается ему совершенная форма его стихотворений, и его борьбой за придание художественного образа содержанию второй части «Фауста», у Ницше — в отличии его афоризмов от слитного потока «Заратустры». Один и тот же художник может занимать разные позиции по отношению к разным своим произведениям, и критерии анализа надо ставить в зависимость от конкретно занятой позиции.

Проблема, как мы видим, бесконечно сложна. Но сложность еще возрастет, если мы привлечем в круг нашего рассмотрения разбивавшиеся выше соображения о том случае, когда художник отождествляет себя с творческим началом. Ведь если дело обстоит так, что сознательное и целенаправленное творчество всей своей целенаправленностью и сознательностью обязано просто субъективной иллюзии творца, то произведение последнего наверняка тоже должно обладать символизмом, уходящим в неразличимую глубь и недоступным сознанию современности. Разве что символизм здесь будет более прикровенным, менее заметным, потому что и читатель тоже ведь не выходит из очерченных духом своего времени границ авторского замысла: и он движется внутри пределов современного ему сознания и не имеет никакой возможности опереться вне своего мира на какую-то Архимедову точку опоры, благодаря которой он получил бы возможность перевернуть свое продиктованное эпохой сознание, иными словами, опознать символизм в произведении вышеназванного характера. Ведь символом следовало бы считать возможность какого-то еще более широкого, более высокого смысла за пределами нашей сиюминутной способности восприятия, и намек на такой

смысл. Вопрос этот, как я уже сказал, очень тонкий. Я, собственно, ставлю его единственно с той целью, чтобы не ограничивать своей типизацией смысловые возможности художественного произведения — даже в том случае, когда оно на первый взгляд не представляет и не говорит ничего, кроме того, что оно представляет и говорит для непосредственного наблюдателя. Мы по собственному опыту знаем, что давно известного поэта иногда вдруг открываешь заново. Это происходит тогда, когда в своем развитии наше сознание взбирается на новую ступень, с высоты которой мы неожиданно начинаем слышать нечто новое в его словах. Все с самого начала уже было заложено в его произведении, но оставалось потаенным символом, прочесть который нам позволяет лишь обновление духа времени. Нужны другие, новые глаза, потому что старые могли видеть только то, что приучились видеть. Опыт подобного рода должен прибавить нам наблюдательности: он оправдывает развитую мной выше идею. Заведомо символическое произведение не требует такой же тонкости, уже самой многозначительностью своего языка оно взывает к нам: «Я намерен сказать больше, чем реально говорю; мой смысл выше меня». Здесь мы в состоянии указать на символ пальцем, даже если удовлетворительная разгадка его нам не дается. Символ высится постоянным укором перед нашей способностью осмысления и чувствования. Отсюда, конечно, берет начало и тот факт, что символическое произведение больше возбуждает нас, так сказать, глубже бурავит нас и потому редко дает нам чисто эстетическое удовольствие, тогда как заведомо несимволическое произведение в гораздо более чистом виде обращено к нашему эстетическому чувству, являя воочию гармоническую картину совершенства.

Но все-таки, спросит кто-нибудь, что же приблизит аналитическую психологию к центральной проблеме художественного создания, к тайне творчества? В конце концов, ничто из до сих пор сказанного не выходит за рамки психической феноменологии. Поскольку «в тайники природы дух сотворенный ни один» не проникнет, то и нам от нашей психологии тоже нечего ожидать невозможного, а именно адекватного разъяснения той великой тайны жизни, которую мы непосредственно ощущаем, сталкиваясь с реальностью творчества. Подобно всякой науке, психология тоже предлагает от себя лишь скромный вклад в дело более совершенного и глубокого познания жизненных феноменов, но она так же далека от абсолютного знания, как и ее сестры.

Мы так много говорили о «смысле и значении художественного произведения», что всякого, наверное, уже подмывает усомниться: а

действительно ли искусство что-то «означает»? Может быть, искусство вообще ничего и не «означает», не имеет никакого «смысла» — по крайней мере в том аспекте, в каком мы здесь говорим о смысле. Может быть, оно — как природа, которая просто есть и ничего не «обозначает». Не является ли всякое «значение» просто истолкованием, которое хочет обязательно навязать вещам жаждущая смысла рассудочность? Можно было бы сказать, что искусство есть красота, в красоте обретает свою полноту и самодостаточность. Оно не нуждается ни в каком «смысле». Вопрос о «смысле» не имеет с искусством ничего общего. Когда я смотрю на искусство изнутри, я волей-неволей должен подчиниться правде этого закона. Когда мы, напротив, говорим об отношении психологии к художественному произведению, мы стоим уже вне искусства, и тогда ничего другого нам не остается: приходится размышлять, приходится заниматься истолкованием, чтобы вещи обрели значение, — иначе мы ведь вообще не можем о них думать. Мы обязаны разлагать самодовлеющую жизнь, самоценные события на образы, смыслы, понятия, сознательно отдаляясь при этом от живой тайны. Пока мы сами погружены в стихию творческого, мы ничего не видим и ничего не познаем, мы даже не смеем познавать, потому что нет вещи вредней и опасней для непосредственного переживания, чем познание. Но находясь вовне творческого процесса, мы обязаны прибегнуть к его познанию, взглянуть на него со стороны — и лишь тогда он станет образом, который говорит что-то своими «значениями». Вот когда мы не просто сможем, а будем обязаны повести речь о смысле. И соответственно то, что было раньше чистым феноменом, станет явлением, означающим нечто в ряду смежных явлений, — станет вещью, играющей определенную роль, служащей известным целям, оказывающей осмысленное воздействие. А когда мы сможем все это разглядеть, в нас проснется ощущение, что мы сумели что-то познать, что-то объяснить. Проснется тем самым потребность в научном постижении.

Говоря выше о художественном произведении как о дереве, растущем из своей питательной почвы, мы могли бы, конечно, с не меньшим успехом привлечь более привычное сравнение с ребенком в материнской утробе. Поскольку, однако, все сравнения хромают, то попробуем вместо метафор воспользоваться более точной научной терминологией. Я, помнится, уже называл произведение, находящееся в состоянии возникновения, автономным комплексом. Этим термином обозначают просто всякие психические образования, которые первоначально развиваются совершенно неосознанно и вторгаются в сознание, лишь когда набирают достаточно силы, чтобы переступить его порог. Связь, в которую они вступают с

сознанием, имеет смысл не ассимиляции, а перцепции, и это означает, что автономный комплекс хотя и воспринимается, но сознательному управлению — будь то сдерживание или произвольное воспроизводство — подчинен быть не может. Комплекс проявляет свою автономность как раз в том, что возникает и пропадает тогда и так, когда и как это соответствует его внутренней тенденции; от сознательных желаний он не зависит. Это свойство разделяет со всеми другими автономными комплексами и творческий комплекс. И как раз здесь приоткрывается возможность аналогии с болезненными душевными явлениями, поскольку именно для этих последних характерно появление автономных комплексов. Сюда, прежде всего, относятся душевные расстройства. «Божественное неистовство художников» [\[138\]](#) имеет грозное реальное сходство с такими заболеваниями, не будучи, однако, тождественно им. Аналогия заключается в наличии того или иного автономного комплекса. Однако факт его наличия сам по себе еще не несет в себе ничего болезненного, потому что нормальные люди тоже временами и даже подолгу находятся под властью автономных комплексов: факт этот принадлежит просто к универсальным свойствам души, и нужна уж какая-то повышенная степень бессознательности, чтобы человек не заметил в себе существования какого-нибудь автономного комплекса. Итак, автономный комплекс сам по себе не есть нечто болезненное, лишь его учащающиеся и разрушительные проявления говорят о патологии и болезни.

Как же возникает автономный комплекс? По тому или иному поводу — более пристальное исследование завело бы нас здесь слишком далеко — какая-то ранее не осознававшаяся область психики приходит в движение; наполняясь жизнью, она развивается и разрастается за счет привлечения родственных ассоциаций. Потребная на все это энергия отнимается соответственно у сознания, если последнее не предпочтет само отождествить себя с комплексом. Если этого не происходит, наступает, по выражению Жана, «понижение умственного уровня». Интенсивность сознательных интересов и занятий постепенно гаснет, сменяясь или апатической бездеятельностью — столь частое у художников состояние, — или регрессивным развитием сознательных функций, то есть их сползанием на низшие инфантильные и архаические ступени, — словом, нечто вроде дегенерации. На поверхность прорываются элементарные слои психических функций: импульсивные влечения вместо нравственных норм, наивная инфантильность вместо зрелой обдуманности, неприспособленность вместо адаптации. Из жизни многих художников нам известно и это. На отнятой у сознательно—личностного поведения энергии

разрастается автономный комплекс.

Из чего состоит творческий автономный комплекс? Этого вообще невозможно знать заранее, пока завершённое произведение не позволит нам заглянуть в свою суть. Произведение являет нам разработанный образ в широчайшем смысле слова. Образ этот доступен анализу постольку, поскольку мы способны распознать в нем символ. Напротив, пока мы не в силах раскрыть его символическую значимость, мы констатируем тем самым, что, по крайней мере, для нас смысл произведения лишь в том, что оно явственным образом говорит, или, другими словами, оно для нас есть лишь то, чем оно кажется. Я говорю «кажется» — потому что, возможно, наша ограниченность просто не даёт нам пока заглянуть поглубже. Так или иначе в данном случае у нас нет ни повода, ни отправной точки для анализа. В первом случае, наоборот, мы сможем припомнить в качестве основополагающего тезис Герхарта Гауптмана: быть поэтом — значит позволить, чтобы за словами прозвучало Праслово. В переводе на язык психологии наш первейший вопрос соответственно должен гласить: к какому праобразу коллективного бессознательного можно возвести образ, развернутый в данном художественном произведении? Такая постановка вопроса во многих аспектах требует прояснения.

Я взял здесь, согласно вышесказанному, случай символического произведения искусства, притом такого, чей источник надо искать не в бессознательном авторской личности, а в той сфере бессознательной мифологии, образы которой являются всеобщим достоянием человечества. Я назвал эту сферу соответственно коллективным бессознательным [\[139\]](#), ограничив ее тем самым от личного бессознательного, под которым я имею в виду совокупность тех психических процессов и содержаний, которые сами по себе могут достичь сознания, — по большей части уже и достигли его, но из-за своей несовместимости с ним подверглись вытеснению, после чего упорно удерживаются ниже порога сознания. Из этой сферы в искусство тоже вливаются источники, но мутные, которые в случае своего преобладания делают художественное произведение не символическим, а симптоматическим. Этот род искусства мы, пожалуй, без особого ущерба и без сожаления препоручим фрейдовской методе психологического промывания.

В противоположность личному бессознательному, образующему более или менее поверхностный слой сразу же под порогом сознания, коллективное бессознательное при нормальных условиях не поддается осознанию, и потому никакая аналитическая техника не поможет его «вспомнить», ведь оно не было вытеснено и не было забыто. Само по себе

и для себя коллективное бессознательное тоже не существует, поскольку оно есть лишь возможность, а именно та возможность, которую мы с прадревних времен унаследовали в виде определенной формы мнемонических образов или, выражаясь анатомически, в структуре головного мозга. Это не врожденные представления, а врожденные возможности представления, ставящие известные границы уже самой смелой фантазии, — так сказать, категории деятельности воображения, в каком-то смысле априорные идеи, существование которых, впрочем, не может быть установлено иначе, как через опыт их восприятия. Они проявляются лишь в творчески оформленном материале в качестве регулирующих принципов его формирования, иначе говоря, мы способны реконструировать изначальную подоснову праобраза лишь путем обратного заключения от законченного произведения искусства к его истокам.

Праобраз, или архетип, есть фигура — будь то демона, человека или события, — повторяющаяся на протяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия. Соответственно, мы имеем здесь в первую очередь мифологическую фигуру. Подробнее исследовав эти образы, мы обнаружим, что в известном смысле они являются сформулированным итогом огромного типического опыта бесчисленного ряда предков: это, так сказать, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа. Усредненно отображая миллионы индивидуальных переживаний, они дают таким путем единый образ психической жизни, расчлененный и спроецированный на разные лики мифологического пандемониума. Впрочем, мифологические образы сами по себе тоже являются уже сложными продуктами творческой фантазии, и они туго поддаются переводу на язык понятий; в этом направлении сделаны лишь первые трудные шаги. Понятийный язык, который по большей части предстоит еще создать, смог бы способствовать абстрактному, научному освоению бессознательных процессов, залегающих в основе праобразов. В каждом из этих образов кристаллизировалась частица человеческой психики и человеческой судьбы, частица страдания и наслаждения — переживаний, несчетно повторявшихся у бесконечного ряда предков, и, в общем и целом, всегда принимавших один и тот же ход. Как если бы жизнь, которая ранее неуверенно и на ощупь растекалась по обширной, но рыхлой равнине, потекла вдруг мощным потоком по глубоко прорезавшемуся в душе руслу, — когда повторила ту специфическую сцепленность обстоятельств, которая с незапамятных времен способствовала формированию праобраза.

Момент возникновения мифологической ситуации всегда характеризуется особенной эмоциональной интенсивностью: словно в нас

затронуты никогда ранее не звеневшие струны, о существовании которых мы совершенно не подозревали. Борьба за адаптацию — мучительная задача, потому что на каждом шагу мы вынуждены иметь дело с индивидуальными, то есть нетипическими условиями. Так что неудивительно, если, встретив типическую ситуацию, мы внезапно или ощущаем совершенно исключительное освобождение, чувствуем себя как на крыльях, или нас захватывает неодолимая сила. В такие моменты мы уже не индивидуальные существа, мы — род, голос всего человечества просыпается в нас. Потому и не в состоянии отдельный индивид развернуть свои силы в полной мере, если одно из тех коллективных представлений, что зовутся идеалами, не придет ему на помощь и не развяжет в нем всю силу инстинкта, ключ к которой обычная сознательная воля одна найти не в состоянии. Все наиболее действенные идеалы всегда суть более или менее откровенные варианты архетипа, в чем легко можно убедиться по тому, как охотно люди аллегоризируют такие идеалы, — скажем, отечество в образе матери, где сама аллегория, разумеется, не располагает ни малейшей мотивирующей силой, которая вся целиком коренится в символической значимости идеи отечества. Этот архетип есть так называемая «мистическая причастность» первобытного в человеке к почве, на которой он обитает и в которой содержатся духи лишь его предков. Чужбина горька.

Любое отношение к архетипу, переживаемое или просто именуемое, «задевает» нас; оно действительно потому, что пробуждает в нас голос более громкий, чем наш собственный. Говорящий праобразами говорит как бы тысячью голосов, он пленяет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу вечносущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества, и таким путем высвобождает в нас все те спасительные силы, что извечно помогали человечеству избавляться от любых опасностей и преодолевать даже самую долгую ночь. Такова тайна воздействия искусства. Творческий процесс, насколько мы вообще в состоянии проследить его, складывается из бессознательного одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического оформления вплоть до завершенности произведения искусства. Художественное развертывание праобраза есть в определенном смысле его перевод на язык современности, после чего каждый получает возможность, так сказать, снова обрести доступ к глубочайшим источникам жизни, которые иначе остались бы для него за семью замками.

Здесь кроется социальная значимость искусства: оно неустанно работает над воспитанием духа времени, потому что дает жизнь тем

фигурам и образам, которых духу времени как раз всего больше не доставало. От неудовлетворенности современностью творческая тоска уводит художника вглубь, пока он не нащупает в своем бессознательном того праяобраза, который способен наиболее действенно компенсировать ущербность и однобокость современного духа. Он прилепляется к этому образу, и по мере своего извлечения из глубин бессознательного и приближения к сознанию образ изменяет и свой облик, пока не раскроется для восприятия человека современности. Вид художественного произведения позволяет нам делать выводы о характере эпохи его возникновения. Что значит реализм и натурализм для своей эпохи? Что значит романтизм? Что значит эллинизм? Это направления искусства, несшие с собой то, в чем всего больше нуждалась современная им духовная атмосфера. Художник как воспитатель своего века — об этом можно было бы сейчас еще очень долго говорить.

Как у отдельных индивидов, у народов и эпох есть свойственная им направленность духа, или жизненная установка. Само слово «установка» уже выдаст неизбежную односторонность, связанную с выбором определенной направленности. Где есть направленность, там есть и устранение отвергаемого. А устранение означает, что такие-то и такие-то области психики, которые тоже могли бы жить жизнью сознания, не могут жить ею, поскольку это не отвечает глобальной установке. Нормальный человек без ущерба способен подчиниться глобальной установке; человек окольных и обходных путей, не могущий идти рядом с нормальным по широким торным путям, скорее всего и окажется открывателем того, что лежит в стороне от столбовых дорог, ожидая своего включения в сознательную жизнь. Относительная неприспособленность художника есть по-настоящему его преимущество, она помогает ему держаться в стороне от протоптанного тракта, следовать душевному влечению и обретать то, чего другие были лишены, сами того не подозревая. И как у отдельного индивида односторонность его сознательной установки корректируется в порядке саморегулирования бессознательными реакциями, так искусство представляет процесс саморегулирования в жизни наций и эпох.

Я сознаю, что в рамках доклада мне удалось изложить лишь несколько общих соображений, да и то в сжатой и эскизной форме. Но я, пожалуй, вправе надеяться, что мои слушатели уже успели подумать о не сказанном мною, а именно о конкретном приложении всего этого к поэтико—художественному произведению, и тем самым наполнили плотью и кровью абстрактную скорлупу моей мысли.

notes

1

Jung C.G. *Memories, Dreams, Reflections*. L., 1963. P. 62—64.

Jung C.G. Bewusstsein und Unbewusstes. Olten, 1971. S.24.

Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 307

Jung C.G. Über die Psychologie des Unbewussten. Frankfurt a.M., 1975. S. 72-73

Jung C.G. Psychologiy and East. L., 1978. P. 99

7. Jung C.G. Symbole der Wandlung. Zurich, 1952. S. 23., 1978. P. 99

Jung C.G. *Psychology and Religion*. New Haven, L., 1938. P. 58

Jones H. The Gnostic Religion. Boston, 1963. P. 328

Jung C.G. Über die Psychologie des Unbewussten. S. 119

Юнг впервые использовал термин «*мистическое участие*», заимствовав его у антрополога Леви-Брюля, в 1912 г. для обозначения таких отношений между субъектами, при которых один человек стремится добиться влияния на другого. Мистическое участие, или проективная идентификация, представляет собой вид психологической защиты, в особенности в детском возрасте, но встречается также и во взрослой патологии. В повседневной жизни мистическое участие может проявляться в ситуации, когда, скажем, два человека могут предвосхищать желания друг друга, заканчивать начатую другим мысль и т.п.

Комплекс — важное понятие аналитической психологии, основанное на опровержении идеи о «многоликости» личности. По определению самого Юнга «комплексы суть психические фрагменты, выделившиеся в отдельные констелляции образов и идей в результате психических травм или каких-либо конфликтов, одновременно несовместимых друг с другом тенденций». Комплексы влияют на поведение человека, как правило, сопровождаются известным аффектом вне зависимости от того, сознает ли их присутствие в себе человек или нет. Наличие комплексов у человека — явление вполне естественное и сами по себе комплексы являются необходимыми составляющими психической жизни.

Питекантрон Дюбуа — представитель группы древнейших людей— архантропов, костные останки которого найдены на о. Ява. Впервые скелетные остатки питекантропа были открыты в 1890-1892 гг. голландским ученым Эженом Дюбуа.

В начале века в ряде районов Северной Германии (в частности, в местечке Блейкеллер) были обнаружены так называемые болотные трупы. Это были останки доисторических людей, либо утонувших в тамошних болотах, либо похороненных там. Местная болотная вода содержит гуминовую кислоту, растворившую кости и одновременно задубившую кожу, в результате чего кожа, а также волосы прекрасно сохранились. Произошел процесс естественной мумификации.

Экстраверт, интроверт — типы личности. Экстраверту присуще обращение интересов вовне, в окружающий его социальный и природный мир, к другим людям, в то время как интроверт в большей мере поглощен внутренними заботами, мыслями и чувствами собственного «Я».

Тень — термин введен Юнгом. Обозначает бессознательную противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в своем сознании; сумма всех личностных психических элементов в силу несовместимости с избранным сознательным отношением их носителя, не допущенная к жизненному проявлению. Тень всегда выступает компенсаторно по отношению к сознанию, следовательно, ее эффект может быть как негативным, так и позитивным.

Апокатастасис — всеобъемлющее просветление и возвращение к первоначальному состоянию благодати, окончательное восстановление всего и всех, несмотря на греховную природу происхождения и независимо от воли сотворенных существ.

Ориген (185-253) — античный философ и теолог, один из авторов учения об Апокатастасисе, окончательном «восстановлении» всякого творения в первоначальной чистоте, т.е., выражаясь церковным языком, его спасении.

Кватерность — один из архетипов, выделенных Юнгом. Образует логическую основу для любого сколь-нибудь целостного суждения, сводя ее к четырехкратности. К примеру, четыре времени года, четыре части света и т.д.

Коан — понятие из дзэн—буддистской практики. Означает краткий текст, содержащий неразрешимую проблему, который используется в беседе мастера с учеником в форме быстрых вопросов и ответов. Пример такого текста—коана. Мастер спрашивает ученика: «Если хлопнуть двумя руками, возникает звук. Каким будет звук, если хлопнуть одной ладонью?» Требуется быстрый ответ ученика.

Паттерн — функциональная единица, состоящая из различных частей, но действующая как единое целое. Термин заимствован из психологии.

Раймунд Луллий — философ, богослов, каталонский писатель. В тридцать лет оставил жизнь блистательного придворного и поэта, вступил в орден францисканцев, став миссионером. Проповедовал в Северной Африке, где, согласно легенде, претерпел мученическую смерть. Крупнейший знаток иудейской и мусульманской теологии, Луллий явился одним из родоначальников европейской арабистики.

Элевсинские мистерии — религиозные празднества в Аттике (Др. Греция) в честь богинь Деметры и ее дочери Персефоны (Коры), культ которых относится к числу древнейших аграрных культов.

Осирис в египетской мифологии — Бог производительных сил природы, царь загробного мира. *Гор* в египетской мифологии — Божество, воплощенное в соколе. Сын Исиды и Осириса.

Великая Мать — название общего архетипического образа, извлеченного из коллективного культурного опыта. Теория архетипов привела Юнга к гипотезе о том, что влияние, оказываемое матерью на своего ребенка, не обязательно исходит от нее самой как личности и от реальных черт ее характера. Младенец стремится организовать свой опыт ранней уязвимости и зависимости от матери вокруг позитивных и негативных полюсов. Позитивный полюс сводит воедино такие качества, как материнская забота и симпатия, магический женский авторитет, мудрость и др. Это все сводится к Хорошей Матери. На негативном полюсе сосредоточено все, что сводится к Плохой Матери.

Мана — меланезийское слово для обозначения сверхъбыденной силы, исходящей из человеческого бытия, либо из другого объекта (в частности, духов). Обозначает также здоровье, престиж, способность совершать волшебство и исцелять.

Индивидуация — понятие аналитической психологии. Юнг определяет индивидуацию как становление единого, гомогенного бытия; насколько «индивидуальность» охватывает нашу сокровенную, окончательную и неразрешимую неповторимость, настолько она включает также и становление Самости. Поэтому индивидуацию можно представить как «путь к себе», или «самореализацию».

Самость — центральный архетип, суммативность личности. Юнг пишет о самости, что она «включает не только сознательное, но и бессознательное психическое бытие... самость является центром суммативной целостности, подобно тому, как Эго есть центр сознательного разума... самость является нашей жизненной целью, так как она есть завершённое выражение той роковой комбинации, которую мы называем индивидуальностью».

В своих поздних работах Фрейд несколько изменил упомянутую здесь позицию: инстинктивную психику он назвал «Оно», а его термин «Сверх—Я» стал обозначать частью осознаваемое, частью бессознательное (вытесненное) коллективное сознание.

Для точности необходимо различать «архетип» и «архетипическое представление». Архетип сам по себе является гипотетическим, недоступным созерцанию образом, наподобие того, что в биологии называется «pattern of behavior». См. Theoretische Überlegungen zum Wesen des Psychischen // Von den Wurzeln des Bewusstseins. Zurich, 1954.

Аллегория есть парафраза сознательного содержания; *символ*, напротив, является наилучшим выражением лишь предчувствуемого, но еще не различимого бессознательного содержания.

Cp. Jung und Kerényi. Einführung in das Wesen der Mythologie. 1942.

Blanke Fr. Bruder Klaus von Flue. 1948. S. 92 f.

См.: Alban stikli P. Die Visionen des seligen Bruder Klaus. 1933.S.34.

См.: Lavaud M.B. *Vie Profonde de Nicolas de Flue*. 1942. Здесь прекрасно показана параллель с текстом Генриха Сеузе *Horologium Sapientiae*, в котором апокалиптический Христос является, в противоположность Иисусу Нагорной проповеди, яростным и гневным мстителем.

См.: Бланке Фр. Оп. Сит. С. 95 ff.

Cp. Gestaltung des Unbewussten. 1950.S.96. Taf.2.

Речь идет о получившей распространение в нацистской Германии пропаганде древнегерманских языческих культов, противопоставляемых «расово чуждому» христианству. Напомним, что первое издание статьи относится к 1934 г.

Имеется в виду стихотворение Гёте «Ученик чародея» — переработка сказки.

Бюфос — первый из 30 Эонов в гностической космологии Валентина — «бездна», нерожденная монада, беспредельный, невыразимый, трансцендентный Бог, ничего не знающий о мире и не вмешивающийся в его дела. *София* — последний, тридцатый Зон. Ее грех заключался в попытке проникнуть (из любопытства) в божественную «бездну». За это София наказывается падением. Хотя она и не выходит за пределы плеромы, но, соединившись с желанием, она порождает вожделение, бесформенную материю, изгнанную из плеромы. Для искупления греха и возвращения ее в плерому всеми Зонами порождается Спаситель—Христос, миссией которого является создание «кеномы», звездного царства — по образу и подобию высшего мира плеромы.

«Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью» (Иоанн, V, 4).

Термин «нуминозное» (от «пишем Божество») Юнг берет у Р. Отто, автора книги «Священное», в которой феноменологически описывается опыт «божественного» как ужасающего, всемогущего, подавляющего страхом, но в то же время величественного, дающего полноту бытия. Словом, у Отто речь идет о восприятии сверхъестественного в духе иудео—христианской традиции, причем в ее протестантско—лютеровском прочтении. Перед Богом человек чувствует, что он лишь «прах и пепел», но эта же сила поднимает его. Отто специально подчеркивает трансцендентность нуминозного, это опыт «иноного». У Юнга о трансцендентном Боге не говорится ничего, а описание опыта запредельного в большей мере напоминает то, что «философы жизни» писали о вызывающем ужас дионисийски—хтоническом (Ницше, Шпенглер).

См.: Augustin. Confess. Lib. XIII. Cap. XXI.

«Поднявшаяся из глубин» рыба, ихтос, еще в первые десятилетия существования христианства расшифровывалась как «Иисус Христос, Божий сын. Спаситель». Так как Рыба является знаком Зодиака, христианство еще в древности понималось как Эон, стоящий под этим знаком. Наметки поразительной астрологической теологии Юнга содержатся в публикуемой статье. Николай из Флюэ, Якоб Бёме, Ангелус Силезиус видят страшный апокалиптический лик, возвещающий конец христианского Эона. В книге «Ответ Иову» эти мысли были развиты. Бог не только милосерден — таковым он стал в ответ на вопрошание Иова: «Как может человек оправдаться перед Богом?» В процессе боговоплощения на место Отца приходит любящий Сын, но другим ликом Бога является Антихрист, Сатана. В конце Эона, который провиден в самом его начале в «Откровении Иоанна Богослова», Бог вновь обратил к человеку свой полный гнева и ярости лик. Весьма вольно толкуя Ветхий и Новый заветы, апокрифы, Юнг пытается представить свое эсхатологическое учение как осмысление 2,5-тысячелетней истории человечества. Его последние работы полны предупреждений о «дне гнева» (его символами являются даже НЛО).

Нет ничего удивительного в том, что мы вновь встречаемся со сновидением теолога, поскольку священник по самой своей профессии имеет дело с мотивом восхождения. Он должен настолько часто говорить о нем, что напрашивается вопрос о его собственном духовном восхождении.

Замок Святого Грааля — предание о Св. Граале средневековой европейской литературы представляет собой наследие древней религии кельтов, но легенда о чаше была переосмыслена в христианском духе (та чаша, что была на тайной вечере; или та, в которую Иосиф Ариматейский собрал стекавшую с распятого Христа кровь). В описываемом Юнгом сновидении присутствует волшебный замок Монтсальват, в котором хранится чаша. Этот замок был целью странствующих рыцарей, и сновидение действительно соответствует средневековым представлениям о замке (стоит на скале, отделен пропастью и глубокими водами). В аналитической психологии Юнга Св. Грааль символизирует вечные поиски человеком внутренней целостности, полноты существования, движение от Эго к Самости.

«Велюсна», или «Прорицание вельвы» — первая книга «Старшей Эдды». Юнг цитирует немецкий перевод, далекий от русского, в котором нет речи о кипящем источнике: «С черепом Мимира Один беседует. Трепещет Иггградсиль, яшень высокий, гудит древний ствол». (См. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. 288 М., 1975. С. 188). *Один* (Вотан) шепчется с вещим черепом Мимира перед последней битвой, грядущей «гибелью богов». «Кипящий источник» — это источник Урд в корнях мирового древа Иггградсиль. Под корнями мирового древа пребывают подземные воды, а в них обитают хтонические чудовища, вырывающиеся на волю перед наступлением конца света, гибелью богов (Рагнарёк).

См.: Rochefoucauld F. De La Pensees. LIV.

«Калокагатия» — греч. «прекрасное и доброе»; добродетель в античном ее понимании, т.е. без четкой границы между красотой и моральностью. Прекрасное лицо, например, могло считаться свидетельством прекрасной души. В новоевропейской философии калокагатия (или ее ренессансный аналог) противопоставлялась христианской морали, начиная с Ф. Ницше, который оказал значительное влияние на Юнга.

Cp. Linda Feirz — David. Der Liebestraum des Poliphilo 1947.

Bilder und Symbole aus E.T.A. Hoffmans Marchen // Gestaltung des Unbewusten. 1950. S.239 K.

Я ссылаюсь здесь только на общедоступные литературные примеры вместо клинического материала. Для наших целей литературных примеров вполне достаточно.

Имеется в виду вообще встреча с содержаниями бессознательного. Она представляет собой главную задачу процесса интеграции.

Хорошим примером может служить маленькая книжечка: Schmalz G. Ostliche Weisheit und westliche Psychotherapie. 1951.

«Изображения и лары». Имеются в виду восковые изображения предков, и лары — духи—хранители домашнего очага в Древнем Риме.

Cp. Zur Phanomenologie des Geistes im Marchen // Psychologie und Erziehung, 1946.

Ср. мотив «старого короля» в алхимии.

Видимо, имеется в виду притча о работниках на винограднике и их плате («Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома...»). Матфей, XX, 1.

«Поимандрес» — первый трактат корпуса герметических произведений, религиозно—философских сочинений I-III вв. н.э., приписываемых Гермесу Трисмегисту (античный аналог египетского бога Тота). В трактате рассматриваются вопросы о творении вселенной и человека, соединении духа с материей после грехопадения, о пути спасения с помощью гнозиса.

«Пастух» «апостолического отца» Гермы (Гермеса), относится к первой половине VI в. В первой части трактата приводятся видения Гермы, а в двух последующих частях излагаются основные принципы христианской этики. Райцшптайн понимает «Пастуха» Гермы как конкурирующий с «Поимандресом» христианский текст.

Имя «*Люцифер*», означающее на латыни «светоносный», «приноситель света», было эпитетом многих античных божеств, чаще всего Венеры — так называлась «утренняя звезда». Поскольку в латинском переводе Ветхого Завета данный эпитет применялся по отношению к вавилонскому царю, а в Евангелии от Луки говорится: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лука, X, 18), то имя Люцифер уже отцами церкви стало употребляться как синоним сатаны.

Avalon Arthur. The Serpent Power Being the Shat-Chakre-Nirupana and Paduka-Panchaka. 1919.

Roussele E. Seelische Führung im lebenden Taoismus // Eranos-Jahrbuch.
1933. S. 135 ff.

Таро — древнейшие гадальные карты (колода из 78 карт с символическими изображениями). Точное происхождение неизвестно (впервые были описаны в конце XVIII в.), но очевидно присутствие каббалистической и средневековой христианской символики. Существуют различные интерпретации Таро (астрологическая, алхимическая, магическая, мистическая). Юнг предложил свою интерпретацию, видя в Таро два аспекта борьбы человека против других и против самого себя: солнечный путь экстраверсии, рационального знания, действия; и лунный путь интроверсии, созерцания, интуиции. В изображениях карт Таро легко узнаются многие архетипы Юнга.

Bernoulli R. Zur Symbolik geometrischer Figuren und Zahlen // Eranos-Jahrbuch. 1934. S. 397 ff.

Альчерринга — «эра сновидений», стародавняя эпоха первотворения в мифологии австралийских племен Аранда.

Rulandus. *Lexicon Alchemiae*. 1612, s.v. meditatio.

Отсылаю к моим рассуждениям по этому вопросу в «Symbole der Wandlung», 1952.

Aion. 1951.

Psychologie und Alchemie. 2 Aufl., 1952.

Юнг перечисляет ближневосточные культы, которые в начале нашей эры выступали как соперники христианства. *Митраизм* — религия римских легионеров и ряда «иллирийских» императоров III в.н.э. — была преобразованным культом иранского бога Митры: *Аттис* и *Кибела* — фригийские божества, вошедшие в греческую мифологию, основные фигуры оргиастического культа Великой Матери; *Мани* (нач. III в.н.э. — 273 г.) — основатель манихейства, синкретической религии, соединявшей в себе элементы зороастризма, христианства и гностицизма; *Гермес Трисмегист* — божество позднеантичного герметизма (именуемого иногда «языческим гнозисом»). Он имеет ряд черт египетского бога Тота — изобретателя наук и искусств, которому приписывается авторство тайных книг по магии, астрологии и алхимии. Поскольку для Юнга бессознательное современного человека воспроизводит архетипические образы, встречаемые в трудах гностиков и алхимиков II-IV вв, то все подавленные в свое время христианством религии представляют для него особый интерес — становится понятным содержание бессознательного современности.

Греческое слово «гордыня», обозначающее дерзость, наглость, вызов, встречается в текстах греческих философов, и характеризует нарушение божественной меры, гармонии какой-то частью, которая несет за это наказание со стороны целого. *Гильгамеш* — герой шумеро—аккадского эпоса (возможно, реальное лицо 27-26 вв. до н.э.). Этот эпический герой стремится обрести бессмертие, недостижимое для человека, в этом его «гордыня».

Бухман Франк (1878-1961) — американский лютеранский священник, посетил Индию и Дальний Восток. Основал в Англии «Оксфордскую группу»; в 50-е годы движение получило широкое распространение в высших кругах Англии.

Юнг неоднократно обращался к дионисийству Ницше, который не только противопоставлял Диониса Христу, но в последних своих, уже полубезумных, письмах отождествлял себя с Дионисом. Вопреки общепринятому диагнозу Юнг считал, что безумие Ницше связано не с прогрессирующим параличом, а с подъемом из глубин бессознательного расового архетипа, олицетворяемого воинственным германским богом Вотаном. Увлеченный классической филологией, Ницше отождествлял Вотана с античным Дионисом. Германский нацизм, прославлявший арийское язычество, был, по мнению Юнга, также связан с воздействием этого архетипа — Ницше стал пророком этих перемен в сознании немцев первой половины нашего века, но заплатил за это безумием.

Неканоническая логия, упоминаемая в «Гомилиях» Оршена, входит в гностическое «Евангелие от Фомы», открытое вместе с другими рукописями из Наг-Хаммади в конце 1945 г. В этом варианте логия звучит так: «Иисус сказал: Тот, кто вблизи меня, вблизи огня, и кто вдали меня, вдали от царствия» (См. Апокрифы древних христиан. М.,1989.0.259).

Quaternarium, или четверица, имеет долгую историю. Она присутствует не только в христианской иконологии и мистической спекуляции, но играет, пожалуй, еще большую роль в гностической философии, и с тех времен проходит через Средние века вплоть до XVIII в.

В учении древнегреческого философа Эмпедокла (V в. до н.э.) Бог представляет собой как бы идеальное состояние космического бытия. Идеальная форма пифагорейцев — шар — выражает законченность и совершенство. Эмпедокл называет божество Сфайросом, идеально закругленной всеобъемлющей сферой, самождественной и равновеликой во всех своих точках. В диалоге Платона «Пир» говорится об андрогинах с «округлым телом» — «страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов», за что были разрезаны пополам Зевсом — так возникли мужчины и женщины, «половинки» прежнего целого, стремящиеся друг к другу.

Адам Кадмон — «Адам первоначальный», «изначальный человек». В иудаистской мистике первообраз духовного и материального мира. Как «небесный человек» он является образцом для творения «земного человека». Развитые в каббале представления об Адаме Кадмоне вошли в арабо-мусульманскую и христианскую алхимическую литературу.

По традиции авторы Евангелий изображались следующим образом: Марк — лев, Лука — агнец, Иоанн — орел, Матфей — человек.

Карпократ—гностик (II в. н.э.) — основатель гностической секты в Александрии.

«Соперником» там является не «телесный человек» (как в трактовке Юнга), а один из космических ангелов, который выводит падшие души из мира. Тело мыслилось Карпократом и его последователями как тюрьма. Вероятно, Юнг опирался на приводимый другим отцом церкви, Климентом Александрийским, отрывок из труда сына Карпократа, Эпифания, где телесным влечениям предоставлена полная свобода.

Апис, священный бык, символ плодородия, почитавшийся в Египте с древнейших времен вплоть до христианской эры. Мумии быков в саркофагах складывались в катакомбах мемфисского некрополя в *Саккара*.

Герон Александрийский (ок. I в.) — математик и инженер, изобретатель технических устройств, приводимых в движение нагретым или сжатым воздухом или паром. Эти механизмы употреблялись в основном в конструкциях механических игрушек.

«Гностическая церковь Франции» — одна из экзотических религиозных организаций начала века.

Кундалини — духовная энергия, частица божественного начала, которая потенциально присутствует в каждом человеке и может быть активизирована специальными упражнениями. Местом пребывания Кундалини считается чakra Муладхара, расположенная у основания спинного хребта. С помощью особой техники концентрации йога способствует пробуждению и подъему духовной энергии от чакры к чакре, пока, наконец, не наступает просветление и соединение с универсальным сознанием.

Культ Разума был введен во время французской революции эбертистами (левыми якобинцами, руководителями клуба кордельеров). По инициативе Шометта в Соборе Парижской Богородицы 20 брюмера (10 ноября) 1793 г. происходили празднества, которые должны были заменить христианское богослужение. Парижская актриса, изображавшая Богиню Разума, была возведена на трон. После разгрома эбертистов (март 1794 г.) культ Разума был отменен.

Священный дуб Вотана в Гисмаре, центре германского язычества, был срублен Св. Бонифацием из Кредитона (680-755 гг.), распространявшим христианство среди германских племен и принявшим мученическую смерть (его называют иногда «апостолом Германии»).

А. Г. Анкетиль дю Перрон (1731-1805) — французский востоковед, специалист по иранской религии. В 1755 г. отправился в Индию, где сохранилась община парсов—зороастрийцев; перевел на латинский язык, наряду с «Зенд Авестой», и несколько Упанишад. Этот первый европейский перевод был сделан не с санскрита, а с персидской версии XVII в., отсюда и название «Упнек-хат».

Блаватская, Елена Петровна (1831-1891) — основательница теософии, *Анни Безант* (1847-1933) — ее последовательница, долгое время возглавляла теософское общество.

Блаватская, Елена Петровна (1831-1891) — основательница теософии, *Анни Безант* (1847-1933) — ее последовательница, долгое время возглавляла теософское общество. *Рудольф Штайнер* (1861-1925) — начинал свою деятельность в теософском обществе, но разошелся с ним (прежде всего в трактовке Иисуса Христа); в 1913 г. был вместе со своими последователями исключен из теософского общества и создал свое собственное, антропософское.

Рамакришна (1836-1886) — индуистский жрец храма Кали в Дакшинешваре, признанный аватарой — воплощением Вишну. Выполнял исламские и христианские обряды, провозглашая Кришну, Будду, Христа и Магомета воплощениями одного и того же божественного начала, проповедовал единство всех вероисповеданий. Религиозная организация «Миссия Рамакришны» была основана в 1897 г. учеником Рамакришны — Вивеканандой.

«Христианская наука» — религиозная организация, основанная М. Бейкер Эдди (1821-1910). «Христианская наука» утверждает, что материальный мир иллюзорен, а единственной реальностью является сознание; страдания и смерть суть результат ложного мышления; исцеление от болезней происходит путем противопоставления иллюзиям правильного мышления — богопознание, осознание универсальной гармонии дают не только ясность мысли, но и телесное здоровье. «Христианская наука» получила широкое распространение в англоязычных странах; издаваемая в Бостоне газета «Христианской науки» является старейшей из общенациональных газет США.

Имеется в виду созданная в начале нашего века немецким врачом И. Г. Шульцем система аутотренинга и психотерапии; на основе наблюдений за методами йоги он предложил систему упражнений по расслаблению мышц, дыханию и самовнушению.

«Подвешенность» — другое выражение для «выжидания»; ср. преамбулу к настоящим примечаниям. В герметической традиции — символ обретения самости через смерть.

Достопримечательно, что один протестантский теолог в своем сочинении по гомилетике имел смелость требовать целостности личности проповедника — исходя из этической точки зрения — как раз со ссылкой на мою психологию.

Артефакт — искусственно созданная вещь.

Экхарт Иоганн (Майстер, «Учитель») (1260-1327) — крупный немецкий богослов неортодоксального толка, выдвигал учение об имманентности абсолюта душе.

Догма богоподобия столь же много значит при оценке человеческого фактора, не говоря уже о догме боговоплощения.

То, что и черт может владеть душой, ни в коем случае не уменьшает ее значения.

Поэтому с точки зрения психологии совершенно немыслимо, что Бог есть просто «совсем иное»; ибо «совсем иное» никогда не может быть кем-то сокровеннейше близким душе, кем Бог как раз и является. Психологически правильны только парадоксальные и антиномические высказывания об образе Бога.

«*Великое таинство*» — термин, связывающийся прежде всего с неофициальными традициями богопознания (от гностиков до Якоба Бёме).

Тертуллиан: «Душа от природы христианка».

Поскольку здесь речь идет о вопросах, затрагивающих тему человеческого усилия, я не рассматриваю акты благодати, которые находятся по ту сторону человеческого—значимого.

«Жених» и «невеста» — термины, используемые как христианством, так и алхимиками. В христианстве «жених» — Христос, «невеста» — с одной стороны, душа (особенно у мистиков), а с другой — церковь как совокупность верующих (но она же — мистически — земное тело Христа).

По-немецки «*богоборец*» также означает «штурмующий небеса».

Амплификация — усиление; здесь может означать «возвеличивание».

Пробабелизм — от лат. «вероятный». Пробабелизм был свойствен также античным скептикам, но в смысле оценки истинности суждений.

Цёклер дает такое определение: «Пробабилизмом называют, вообще говоря, образ мыслей, который в ответах на научные вопросы удовлетворяется большей или меньшей степенью вероятности. Рассматриваемый нами здесь моральный пробабилизм заключается в основном положении, согласно которому в актах нравственного самоопределения следует действовать не по совести, а в соответствии с вероятно правильным, т.е. по тому, что рекомендовано авторитетом жизни или учения». Иезуитский пробабилист Эскобар (ум. в 1669) придерживается, например, мнения, что если исповедующийся ссылается на пробабильное мнение как причину своего поступка, то исповедник вынужден отпустить грех, даже если он не разделяет этого убеждения. По вопросу о том, насколько часто в течение жизни нужно давать обет любви к Богу, Эскобар цитирует ряд иезуитских авторитетов. Согласно одному из мнений, достаточно одноразовой любви к Богу незадолго до смерти, согласно другому, — один раз в год или один раз в каждые три-четыре года. Сам он приходит к выводу, что достаточно любить Бога один раз — при первом пробуждении разума, а затем по разу в каждые пять лет и, наконец, один раз в смертный час. По его мнению, большое число различных моральных наставлений является главным доказательством в пользу благого провидения Божьего, ибо благодаря этому ноша Христа становится легче (1.с., 5.68). Ср. об этом у Гарнака.

Марии Пророчице («Пророчице»), или Марии Египетской (III в.), приписывается авторство некоторых алхимических текстов.

Философский *Меркурий* (в отличие от телесного Меркурия, т.е. ртути) — огненный водяной дух, воздушный мировой дух, меркуриальная вода, философское море, — у алхимиков всеобщая мировая субстанция, «первая материя металлов». В алхимическом процессе меркурий выполняет функцию посредничества между противоположностями духа и тела, т.е. функцию души. Сам Юнг пользуется этим символом («Правильный путь к целостности...» и т.д.).

«Первая материя» — первоначальный хаос, от которого алхимику предстоит пройти путь к духу, т.е. к «философскому камню».

Tehom (древнееврейск.) в русской Библии упоминается как те «воды», над которыми носился Дух Божий, творя мир. Позднейшей традицией было осмыслено как символ первой, бесформенной материи: в каббалистическом трактате «Сефер Иецира» — линия, извивающаяся вокруг мира.

Тиамат — в аккадской мифологии богиня, воплощавшая первоначальный хаос; ее образ связывался с морем и драконом.

«Макрокосмическим сыном» — т.е. меркурием (архетип младенца у Юнга). В качестве «матери» у алхимиков выступает первичный хаос, или первая материя.

«Великое дерево» — церковь как источник спасения. «Подвешены на излечении» — т.е. вынуждены идти по пути, предлагаемому психологией (и алхимией), чтобы достичь самости («твердой опоры») как спасения, ибо в религии они его уже не находят.

Contritio, «сокрушение», есть «совершенное» покаяние. *Attritio*, «раскаяние» — есть «несовершенное» покаяние (“*contritio imperfecta*”, к которому относится также “*contritio naturalis*”, «естественное сокрушение»). Первое рассматривает грех как противоположность высочайшего блага; последнее отвергает грех, потому что он зол и мерзок, и из страха перед наказанием.

Совершенно естественно, что ввиду трагичности судьбы, которая есть неумолимая часть целостности, пользуются религиозной терминологией как единственно адекватной в этом случае. «Моя неумолимая судьба» означает то же, что демоническая воля к именно этой судьбе, воля, которая не обязательно совпадает с моей «Я»—волей. Но если она противопоставлена этому «Я», то нельзя не ощутить в ней «силу», т.е. божественное или инфернальное. Покорность судьбе называется волей Божьей; бесперспективная и изнурительная борьба против predeterminedного увидит в ней скорее черта. Во всех случаях эта терминология общепринята и к тому же глубокомысленна.

Католичность — всемирность, вселенство.

“Imitatio” — «Только верой (спасется человек)», лозунг лютеранской Реформации, смысл которого в эмансипации религиозной автономности субъекта: для спасения, «оправдания» нужно не внешнее служение, а вера в искупление греха крестной смертью Христа. Эта позиция существовала в христианстве задолго до Лютера (Тертуллиан, Августин, Бернар Клервоский). Противоположная ей зафиксирована в Новом Завете (Иак. 2:14; 2:17). Она выражает точку зрения католицизма, так что Юнг в этом важном вопросе как бы более консервативен, чем протестантские теологи (его противники и пациенты). Но по смыслу этой формулы он выходит за рамки обеих конфессий.

Ляпис — лат. «камень», т.е. «философский камень» алхимиков. Поздний алхимик (XVIII в.) дает такое определение: «Камень мудрых есть небесная, духовная, всепроникающая устойчивая субстанция, которая делает совершенными все металлы, превращая их в чистое золото, и выдерживает (оно) любую пробу». Алхимия формулирует свою цель как совершенствование, исцеление, излечение несовершенных по природе (больных) субстанций (металлов), почему и называет себя часто медициной. Кстати, этот медицинский аспект алхимии яснее всего выражен в столь любимой Юнгом восточной традиции. У даосских алхимиков выплавление «золотой пилюли бессмертия» (аналога «философского камня») происходит непосредственно в теле человека. Цель этого процесса, как явствует из наименования пилюли, — полное одухотворение и приобретение бессмертия, т.е. приобщение к Богу.

Здесь важно отметить три момента. Первый — некоторая степень апофатизма в характеристике камня: он — камень и в то же время «не камень». Второй — то обстоятельство, что он, говоря словами того же алхимика, «есть в каждом человеке, и его можно найти в любое время и в любом месте». Третий — то, что, в отличие от ртути, который посредничает между противоположностями, камень является их актуальным совпадением, тождеством. У Юнга камень — архетип Самости.

Еще Парацельс говорил о «богах»; так же и сочинение Абрахама Элеамра, находившегося под влиянием Парацельса (XVIII век).

Часть алхимиков вообще настаивали на нерукотворности процесса.

«Краеугольный камень» — еще одно название абсолюта алхимиков.

«*Нигредо*» (лат. «чернота») — первая стадия на пути превращений алхимической субстанции, сублимации — диссолюция (растворение) тела, когда «грубое становится тонким». Этот процесс описывается как столкновение и последующее сочетание («химическая свадьба»), но также и как смерть (уничтожение, «гниение» тела), и по достижении субстанцией полной черноты постепенно идет к белизне, альбедо (одухотворению субстанции). Алхимики подчеркивают, что именно на стадии нигредо, как нигде, от адепта требуются мужество, терпение и выдержка, чтобы не прийти к сомнению и не погубить все дело, потому что процесс идет так же медленно, как наступление ночи. Для достижения полной темноты нужно сорок дней. Ср. «выжидание» у Юнга.

«Меланхолия» по-гречески «черная желчь» (см. гравюру А.Дюрера).

«Сошествие в преисподнюю» равнозначно не столько всему «деянию», сколько нигредо.

Следует добавить, что некоторые алхимики прямо заявляли, что алхимия — «благородное искусство познавать себя самого», и что причина неудач на этом пути — «извращенные аффекты».

Имеется в виду механистически—рационалистический позитивизм XIX в., ассоциирующийся с именами Л. Бюхнера и Я. Молешотта. Юнг относил к этой традиции также и Фрейда.

Сам Юнг, конечно, относится к «слишком человеческому» без чрезмерного благоговения, следуя в своей радикальной критике современного сознания за Ницше, философию которого он считал лучшей «подготовкой к современной психологии». Ницше в предисловии 1886 г. к книге «Человеческое, слишком человеческое» (1878) назвал свое философствование «специфически немецким способом заниматься тем же самым, что существует под названием психологии во Франции и в России».

Гете Фауст. М., 1975. 4.1. С. 74 (строки 2031-2032, пер. Б. Пастернака).

Нарциссизм был «открыт» психоаналитиками в 1911-1914 гг. Было обнаружено, что многие импульсы, исходящие на первый взгляд от «я», диктует либидо, которое направляется на саму личность, уподобляющуюся, таким образом, самовлюбленному Нарциссу. Поскольку в состоянии творчества художник остается наедине с самим собой, он ярко выраженный «нарцисс». С другой стороны, поскольку художник создает образы, выходящие по своему значению за пределы его личности, и способные к самостоятельному существованию, он уже не «нарцисс», а «пигмалион». Это противоречие в рамках психоанализа, по Юнгу, неразрешимо.

Книга «Так говорил Заратустра» (1883-1884) писалась Ницше уже во время болезни, ранние симптомы которой вынудили его уйти в отставку с кафедры классической филологии Базельского университета в 1879 г.

Подразумевается миф Платона о темной пещере, в которой томятся люди—пленники, не отваживаясь вырваться из чрева Земли к Солнцу (Государство, VII,514-517).

Концепция личности у Юнга двойственна. В данном контексте личность понимается как «личина» (персона), «маска», или «социальная кожа» человека, его поверхностная социальная роль. В других случаях Юнг называет личностью «самость», т.е. высшую полноту человеческого существа.

«Самость» автора и его сознание тут как бы ничего не знают друг о друге и действуют автономно. Однако это имеет место только у рядового человека, который из страха перед мощным голосом своей сокровенной природы силится подавить ее в себе, расплачиваясь за это психическими комплексами. Гений позволяет своей «самости», или, что для Юнга то же самое, своей подлинной личности, «прорасти» сквозь маску личности наносной. «Невроз есть защита, выставленная против объективной внутренней деятельности души, т.е. довольно-таки дорого оплаченная попытка заглушить в себе внутренние голоса с их диктатом. За всяким невротическим извращением кроется призвание, которому человек изменил, его судьба, становление его личности, осуществление врожденной индивидуальной жизненной воли. Человек без преданности своему року есть невротик; он упускает самого себя...»

Ницшевский отшельник говорит: «Вокруг меня всегда на одного человека больше, чем нужно... Ведь всегда один на один — это получается в конце концов два!»

«Божественное неистовство художников» — выражение из платоновского диалога «Ион», где собеседники замечают, что одержимые божественным вдохновением рапсоды «совсем не в своем рассудке».

Образами *коллективного бессознательного* Юнг называет универсальные архетипы, присущие национальной, расовой и, наконец, всечеловеческой психике. В силу своей *наиндивидуальной* природы архетипы не являются самонаблюдением и идентифицируются лишь задним числом из наблюдения повторяющихся символических структур.